

ISSN 0321 — 0677

Волна

10 1998

Волна

10

1998



Волга

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛ

Издаётся с января 1966 года
САРАТОВ



10

1998

Содержание

Владимир Яськов. Стихи	3
Майя Кучерская. ИСТОРИЯ ОДНОГО ЗНАКОМСТВА	14
Виталий Скородумов. Стихи	102
Наталья Проскурякова. Стихи	104
Василий Франк. РУССКИЙ МАЛЬЧИК В БЕРЛИНЕ. <i>Предисловие Гасана Гусейнова, Ксении Павловской.</i>	108
Вадим Кумаков. РАССКАЗЫ РЫБОЛОВА	169
Александр Суковник. ЧТО-ТО ВРОДЕ ПРЕДИСЛОВИЯ	192
Среди книг и журналов	
С. Боровиков, Роман Арбитман, Олег Рогов, А. Колобродов, Ольга Харитонова, Анна Сафронова, Алексей Слаповский. — <i>Андрей Немзер.</i> Литературное сегодня. О русской прозе. 90-е.	199
О НАШИХ АВТОРАХ	206

Владимир Яськов

Родился я 28 марта 1957 года в селе Гумённом под Винницей. Мать русская, отец украинец. Первым моим языком, по свидетельству родственников, был украинский: до пяти лет я не знал ни слова по-русски. В пятилетнем возрасте переехал с родителями в Россию — в Пермь, на родину матери. Первые книжки прочитал в девять лет: это были «Три мушкетёра», «Герой нашего времени» и «Таинственный остров» (в украинском переводе!).

Когда мне было десять, семья вернулась на Украину. Здесь я продолжил чтение: читал буквально всё, что попадало в руки, но в общем — мало: библиотеки в доме не было. В 1973-м окончил среднюю школу в городе Гайсине Винницкой области и поступил в Харьковский университет. В университете — вместо учения — начал читать по-настоящему: сначала прозу, а позже и поэзию. Сперва в областной библиотеке переписал от руки все дореволюционные издания Гумилёва и Северянина. Но первыми стихотворениями, которые прочитал осмысленно, были «Февраль. Достать чернил и плакать» Пастернака и «О небо, небо, ты мне будешь снится» Мандельштама. С этого всё, собственно, и началось. Затем последовали Цветаева, Ахматова, Есенин (по-настоящему, не так, как в школе, — я уж не говорю о Маяковском, Пушкине или Лермонтове), Хлебников, Блок, Бунин, Анненский, Баратынский, Тютчев, Батюшков, Державин... Так я дошёл до Ломоносова и остановился, точнее — вернулся назад и начал сначала: Кушнер, Ахмадулина, Шпаликов, Николай Рубцов, Арсений Тарковский, Павел Васильев, Багрицкий, Заболоцкий, Кедрин, Илья Сельвинский, Семён Кирсанов, Саша Чёрный, Случевский, Минаев, Апухтин (чья проза нравится мне намного больше поэзии), А. К. Толстой, Крылов, Вяземский, Денис Давыдов... Из поэтов-классиков до сегодняшнего дня остались вне сферы моих интересов Некрасов (может быть, напрасно) и Фет.

В конце 84-го или в начале 85-го один из моих ленинградских друзей дал мне для прочтения машинописный сборник Бродского, — что имело весьма своеобразные последствия: более или менее платонические восторги по поводу чужих текстов и столь же целомудренные попытки создания собственных — сменились острыми приступами наслаждения, которые я испытывал, впервые осязая свою прикосновенность к птичьему языку посвящённых — этому словесному наркотику социальных «фрустрантов» всех времён и народов.

Что ещё? После упоения Бродским, уже в «перестроечные» годы, пришли ко мне Бенедикт Лившиц, Николай Олейников, Хармс, Ходасевич, Георгий Иванов, Николай Глазков, Мария Петровых, волшебный Леонид Киселёв (одинаково талантливый и в своих русских, и в своих украинских стихах, что не укладывается у меня в голове) и Евгений Плужник — лучший, на мой вкус, украинский лирик двадцатого века, из современников — Бахыт Кенжеев, Лев Лосев, наконец — Борис Чичибабин... С Борисом Алексеевичем я был лично — и довольно близко — знаком семь лет. Он очень поддержал меня, прежде всего — примером своего жизненного и творческого подвига. Если Бродский извинял моё (в общем-то, никому не нужное) существование в мире, то

Одобрив текст для публикации, мы запрашивали автора о биографических данных для журнальной справки. Ответ Владимира Яськова нам показался достойным печати.

Чичибабин оправдывал моё самое ненужное в мире занятие. На сегодняшний день нет в живых не только Чичибабина и Бродского, но и — до известной степени — меня самого: столь малое отношение имею я к тому молодому человеку, который впервые в жизни читал когда-то с замиранием сердца: «Храмовой в малахите ли холен,/ Возлелеян в серебре ль косогор, —/ Многодольную голь колоколен/ Мелководный несёт мельхиор» (Пастернак) или «Он до-о-олго смотрел на надушенную бумагу.../ Казалось — слова на тонкую нитку нижет.../ Потом подходил к шкафу, вынимал ордена и шпагу —/ И становился Суворовым учебников и книжек» (Багрицкий) и тому подобное другое.

Обстоятельства сложились так, что на последнем курсе университета я меньше всего занимался химией: вместо этого как одержимый читал и писал стихи и — неожиданно для самого себя — оказался до некоторой степени вовлечённым в правозащитное движение: познакомился и подружился с семьёй одного из харьковских диссидентов — и возил в Москву для передачи на Запад его рукописи. Разумеется, я тут же «засветился», что имело вполне стандартные последствия: до ареста дело не дошло, но более десяти лет КГБ меня «курировал» (в последний раз мне — русскому! — инкриминировали создание «подпольной украинской националистической организации», — и было это летом 1991 г., за несколько месяцев до распада СССР, — это ли не ирония?). В этих условиях, разумеется, не могло быть и речи о каких бы то ни было публикациях. Хуже (и унизительнее) того: я сам вынужден был скрывать самый факт, что пишу стихи, — чтобы не лишиться их (а заодно и свободы: поэтов советская власть почему-то не любила едва ли не больше, чем диссидентов). Таким образом, я был лишён и той среды, в которой мог бы сформироваться как профессиональный поэт. И только с 1987-го года (с уже упоминавшегося знакомства с Борисом Алексеевичем Чичибабиным) я понемногу стал свои тексты показывать — поначалу, в силу введённой в плоть и кровь осторожности, самым проверенным, надёжным людям — тем, кому доверял. Вот так и вышло, что на сегодняшний день в моём «печатном активе» значатся лишь:

1) газетная заметка (треть полосы) от 9 ноября 1985 г., приуроченная к 100-летию Велимира Хлебникова и посвящённая 15-месячному пребыванию его в Харькове в 1919 — 20-м годах (опубликована, естественно, под псевдонимом);

2) газетный же очерк 1994 г. — заметки о национальном самосознании украинцев восточной Украины предвоенного периода (основан на хранящемся у меня любопытнейшем мемуаре простого крестьянина, жителя Сумской обл., погибшего в 1944г.);

3) стихотворение памяти Б. Чичибабина — тоже в местной газете и

4) статья о творчестве Бориса Алексеевича, опубликованная в сборнике «Борис Чичибабин в статьях и воспоминаниях» (Харьков: Фолио, 1998. 463 с. 5000 экз.).

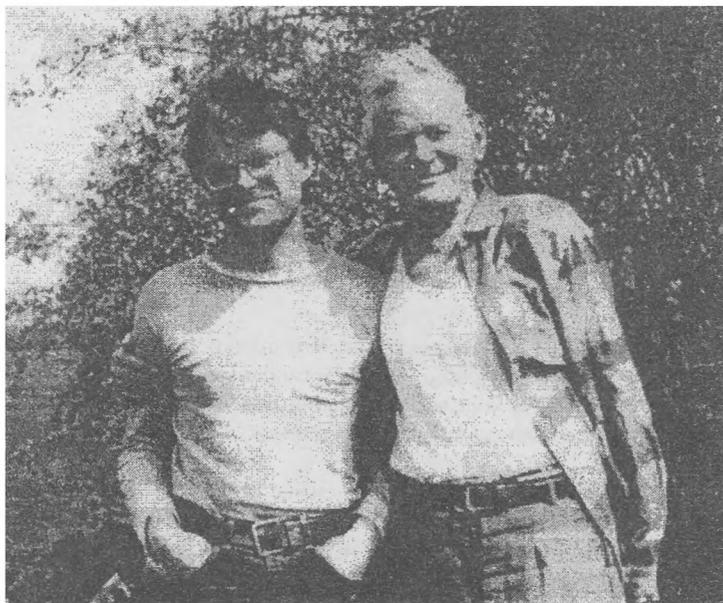
К этому можно добавить пять стихотворений, включённых в находящуюся уже в типографии (должна выйти из печати в сентябре) «Антологию современных русских поэтов Украины», в которую я попал, видимо, потому, что, не напечатав почти ничего, всё-таки «глухо известен в узких кругах» (если перефразировать известное выражение).

Как говорят французы — «милосердный Господь даёт штаны тому, у кого уже нет задницы» (ответственность за вольность выражения — на французах). Дело в том, что с 1991 г., когда я после описанного выше инцидента с «украинским национализмом» уволился с должности научного сотрудника Харьковского литературного музея (куда был принят благодаря благосклонной рекомендации Б. А. Чичибабина), я вот уже семь лет фактически безработный (перебиваюсь случайной подёнщиной — в основном корректурой). «Борьба за существование» отнимает слишком много сил. Вот почему в последние год-два я почти перестал писать стихи. Так что погавшие к Вам на стол тексты — из того последнего периода, когда у меня ещё были какие-то силы писать. Всего же за 18 лет — с 1978-го по 1996-й — я написал очень немного — менее 400 стихотворений, из которых около сотни уничтожил (настолько они меня не удовлетворяли), а ещё столько же — либо не отделал окончательно, либо публиковать не собираюсь (всё по той же причине: потому что не могу назвать их, так сказать, единственными и непреложными).

Вот из оставшихся-то полутора с небольшим сотен и были отбраны те, что послала в Ваш журнал И. Б. Захарова*.

Я искренне благодарен Вам за то доброжелательное внимание, которое вы обратили на мои тексты, — и хочу объяснить ещё только одно: почему они были посланы именно в Саратов. Когда Инна Борисовна сказала мне, что собирается послать стихи в какой-нибудь толстый журнал, я был смущён этим предложением. Дело в том, что я сам однажды (в конце 1980-х) посылал свою подборку — в «Юность». Тогдашний зав. отделом поэзии журнала г-н Ряшенцев корректно, но твёрдо отверг рукопись на основании «низкого художественного уровня предложенных текстов» (так, сколько мне помнится, и было написано в письме). Была и ещё одна попытка — уже не моя. В начале 90-х мой хороший знакомый, покойный ныне Владимир Львович Гершуни (известнейший в своё время московский правозащитник, отсидевший в тюрьмах, лагерях и психушках чуть ли не два десятка лет) сам предложил мои стихи в «Новый мир»: договорился с Олегом Чухонцевым, которого хорошо знал, что я принесу их в редакцию. Когда я явился в назначенное время, Олега Григорьевича на месте не было — и сотрудница отдела поэзии встретила меня словами: «Принесли килограмм стихов?». Думаю, излишним будет объяснять, почему я отказался тогда от возможной публикации и закаялся когда бы то ни было впредь пытаться напечататься: я довольно трезво (чтобы не сказать — скептически) оцениваю свои тексты, но некоторым самоуважением, увы, грешу. Но вот на предложение послать стихи именно в «Волгу» я возразить не смог: я до сих пор помню то отрадное впечатление, которое произвёл на меня Ваш журнал, когда я в «эпоху журнального бума» (и когда у меня были на это деньги) подписывался на него, — в 1988-м, 1989-м и 1990-м годах.

С уважением В. Яськов



Борис Чичибабин и Владимир Яськов. 2.05.1992 г. Фото автора

* Инна Борисовна Захарова — редактор харьковского издательства.

* * *

Вот и зима перевалила
за половину. Вот и снегов белила
потекли и стаяли, обнажив поля.
И лежит усталая в темноте земля.

От лесов остались одни опушки.
И продрогший закат в его меховой опушке,
сходный цветом с могильным лёссом,
отливает не розовым, но белёсым.

Так и кажется: отвернись, мигни —
не увидишь больше ни неба, ни
земли — только зиму, перевалившую за
половину. И заболят глаза.

Ибо если ты жив, — что-то должно болеть.
И горизонт в этом смысле — плеть,
приберегаемая про запас
Кем-то для слишком пытливых глаз.

Впрочем, для равнодушных тоже.
Вот откуда этот мороз по коже:
не от холода, но от страха очнуться в том
грядущем, где нет никаких «потом».

Лишь свобода от будущего
есть истинная свобода.
Вот и зима, нишее время года,
движется к эпилогу, не замедляя шага:
перо поскрипывает и шелестит бумага.

Январь — февраль 1991 г.

* * *

Осень. Сезон пейзажистов. Чем ярче пожар
бесчеловечный на синей холстине алеет,
тем на душе холоднее. Дыхания пар
тает беспечно в пустой перспективе аллеи.

Сдавшись на милость уже неизвестно кому, —
лишь бы избавиться от беспричинной тревоги, —
таешь бесследно и сам в этом бледном дыму,
прячешься, каркая, в дебрях осенней экологии.

Осень. Пора сожалений, дождей и порош,
скверных предчувствий, коричневых клетчатых пледов,
гулких безлюдий, бросающих путника в дрожь...
Необходимости что-то сказать напоследок.

Жизнь до весны замирает в пустых городках.
В лицах людей проступают черты человечьи.
Дети взрослеют. И всякая мысль коротка.
И не хватает стихам теплоты просторечья.

Осень. Больничные ночи. Отбросив со лба
прядь непослушную, глупой тряхнёшь голову:
что из того, что тебя отличала судьба,
если — в отместку за это — хорошее, злое

неразличимы в промозглой ноябрьской мгле —
точно за печкой чадит, но не светит лучина...
Может быть, кто-то и сох по тебе на Земле,—
это, дружок, для страданий ещё не причина.

Ибо проходит и это: любовь, то есть боль,
если она настоящая, длится не долго...
Нас убивают, как правило, мелочи — столь
неразличимые свыше, как Кама и Волга.

Неразличимость нам имя, и в этом вся соль.
Вот на каком раздорожье собака зарыта.
Сколько пейзаж этот взглядом в упор ни мусоль,
тайна его от тебя остаётся сокрыта.

И не надейся на чудо: как боль ни слаба,—
жизнь хуже смерти, а главное — дольше калечит.
И, разбирая на звуки людские слова,
дождь под сурдинку о тайной свободе лепечет.

Осень 1991 г.

* * *

лес обступив стеной вздыхает на ветру
раскачиваясь вплавь вздуваясь словно парус
без помощи извне нечаянно сотрут
бесцветным мулине вплетаясь в пёстрый гарус

останется сиять нездешним светом вдруг
подаренный затем чтоб снилось птицелову
и что с ним делать тут коль немоты недуг
зависит не от нас или как эхо к слову

сквозь фольги серебро звенящий шоколад
не в силах удержать в уме опричь помарок
для всех кто согрешил особая шкала
тем более потом и воздух как подарок

воздушный поцелуй картавый крик грачат
стерев с разбитых губ о чём они судачат

злословя за глаза признаться сгоряча
бессильный как «пусти» случайный как удача

любить кого-нибудь до слёз но не дано
отсюда навсегда твердить одно и то же
что музыка звучит и ей не надо нот
зане уже теперь стремительно итожит

и этот взгляд в упор и нет пути назад
как будто разговор заводит иностранец
и режет слух как плоть и лампа в сорок ватт
не требуя наград на мир наводит глянец

следить исподтишка как страсть свежует их
не шевельнув перстом за то и не приемлю
однажды не боюсь пускай и этот стих
когда-нибудь вернусь обратно в ту же землю

до хрипоты потом обуглясь от стыда
учиться с этим жить и собирать как стадо
слова из третьих рук и не смотреть туда
куда глаза глядят и лучшего не надо

19 октября 1993

* * *

сами собой уходят на слом
годы бессмысленной цели
прожитой жизни пустым ремеслом
мы овладеть не сумели

падает с неба доверчивый снег
дождь ли идёт виноватый
вместо любви наяву и во сне
близкой разлуки цитаты

жизни напраслина смерти тщета
тщательность цепких привычек
что оставляет помимо цитат
данту его беатриче

что отзывается в снах наяву
в комнату входит без стука
как я сегодня тебя назову
ласточка песня разлука

дни мои пахнут спешашей толпой
неторопливой изменой
тщетно черёмухи белый прибор
бьётся в бетонные стены

входит разруха в ветшающий дом
и поселяется скука
в тех вспоминаемых ныне с трудом
мыслях со скоростью звука

слово устав от земных передряг
тащится в тряском обозе
и не сдаётся кому-то варяг
в русской ухабистой прозе...

Декабрь 1993

* * *

В. С.

где две тени слонялись сто раз как солдаты
конвоируя в вечность отсюда закаты
там не рыщет теперь твоя тень у вокзала
и не вспомнить нева напоследок сказала

облезает блестя с куполов позолота
вот и нету ещё одного ланселота
разбавляя слезой жигулёвское пиво
отражаясь как солнце в бокале залива

ты уехал куда никому не известно
вычитанье слагаемых мучает место
с бесполезною зоркостью в прошлое глядя
опознать содержимое вспоротой глади

ничего не осталось от тех разговоров
never more над гудзоном грассирует ворон
и мосты разводя точно вены вскрывая
в серой марле дождя как гнойник нарываает

растворяюсь и я в твоих снах без остатка
бормоча уличая себя в опечатках
там где штопает небо рассвет с перепоею
заржавевшею адмиралтейской иглою

одиночество есть неподвижность и скука
мысль о вечности пристальна но близорука
и торчит на неприбранном поле сраженья
уцелевшая тень бесполезной мишенью

этот город в котором с тобой разлучиться
продолжает разграбленным прошлым кичиться
как утопленник в крюковом что ли канале
чтоб хотя бы по родинке опознали

Весна 1994

* * *

эти возгласы осени
голос эхо вдали за рекой
точно косточку бросили
нескудеющей с неба рукой

не понять одурачены
или просто в сошедшей на нет
жизни прожитой начерно
не осталось знакомых примет

и одним откровением
вдруг становится меньше в груди
видя внутренним зрением
та же тьма тебя ждёт впереди

тают осени возгласы
и автобус меняет маршрут
точно школьные глобусы
в синеве уменьшаясь плывут

Осень 1994

* * *

точно хлопает ветер полуоторванной ставней
и во рту междометье перекачивается одиноко
и в неприбранной памяти пусто и ни черта в ней
кроме странно картавых онтарио и ориноко

грязь под снегом не движется но пристаёт к подошвам
мысль скользит по поверхности птицы качают прутья
упразднённую ижицей жизнь моя вся ты в прошлом
и каменеет слово витязем на распутье

не предавайся горечи жизнь не терпи отсрочек
не тереби платочек не уповай на завтра
о не тверди о бренности речь превращайся в почерк
в это письмо без адреса в песню ихтиозавра

Март 1995

* * *

Сорви покрывало забвения: ты
ещё не ослеп, ты узнаешь черты,
которые вечность на нас высекала
при помощи — знаешь, какого — лекала.

Пускай иссякает кастальский родник,
к которому ты по ошибке приник,
и не утоляет мучительной жажды,
что бедное сердце настигла однажды,

но нежность — о, нежность не знает предела!
И льнёт что есть памяти дряхлое тело
к душе, избежавшей проказы старенья
в горячем оазисе стихотворенья.

Любовь — это память, и в этом вся суть.
Запомни ж умерших, живых не забудь,
чтоб где бы ты ни был, — в раю ли, в аду ли, —
тебя за беспамятство не упрекнули.

Сорви ж покрывало забвения: память
есть совесть, а совесть есть чудо. Стопами
легчайшими выбежит жизнь на ловца —
но смерть не узнает родного лица.

09.11.1988 — 07.05.1992

Аргонавт
(вступление в поэму)

Всё вобрало твоё ремесло —
сленг поэтов и лепет офеней,
а не хватит забористых слов —
есть заборные: ботай по фене!

* * *

Аргонавт говорит на арго —
беотийском жаргоне. В помине
нет ещё ни койне, ни латыни.
Но уже снаряжаем «Арго».

Для чего и куда — всё равно.
Лишь бы скрыться, исчезнуть из виду.
Плюс — себя испытать. И руно —
лишь предлог, чтобы съездить в Колхиду.

Просто манит, тревожит, зовёт
завораживающая взгляд твой
даль морская. Плюс связанность клятвой
на попятный пойти не даёт.

* * *

Берег тёмн. От редких огней
тьма ещё непроглядней и гуще.
На борт грузят оружие, свиней,
от испуга истошно оруших.

Чуть поскрипывает такелаж,
принайтовлено вёсел беремя...
Покидая загаженный пляж,
с мёртвой точки сдвигается Время.

Это точка отсчёта. Фальстарт
не грозит паладинам Эллады.
Нет ещё ни секстантов, ни карт,—
нет ещё ничего. И не надо.

* * *

Волны трутся о борт корабля.
Суета достигает предела.
Дата — надшатое фаргеля.
И на севере мгла поредела.

А на пляже редееет толпа.
Камни, палки, обрывки каната,
кости, шепки, яиц скорлупа,
кожура померанца, граната,

прочий мусор, оставшийся от
щедрой закуси и возлияний,
неподвижен. Лишь Время идёт
да кораблик скользит в окияне.

* * *

Это — точка отсчёта, нуля.
Сохрани ж её в сердце усталом,
наблюдая с кормы корабля
за тем местом, где Время стояло.

Внемля сердца прерывистый стук,
напоследок всплакни втихомолку:
всё, отныне тебе недосуг
тосковать по родному Иолку.

Ты вчера его проклял в сердцах —
и сегодня, под окрики чаек,

уменьшается он на глазах
и, как чувство обиды, мельчает.

* * *

Уменьшаешься, впрочем, и ты:
сокращенье — издержка ракурса.
Оторвись от последней черты —
и займись исчислением курса.

Нету карты надёжной? Ну, что ж.
Если сердце тревогой богато,
если дома сидеть невтерпёж, —
доплывёшь и без карты куда-то.

И не бойся: покуда твой взор
так беспомошно по морю шарит,
начинает слагаться узор
неоткрытых ещё полушарий.

Двуединный простор голубой
разворачивается, как свиток,
пред тобой — и бегут за кормой
строчки волн неразборчивой свитой.

* * *

Вот и чайки отстали. Один
беззаботный ещё и игривый
то всплывёт возле борта дельфин,
то зароется в пенные гривы.

Наконец исчезает и он.
Только я, притворившись звездой,
как лазутчик грядущих времён,
продолжаю следить за тобою.

Идиллична античная ночь,
но идиллия полнится кровью —
и никто нам не сможет помочь
разминуться со средневековьем.

Но пока ещё всё впереди.
Позади — только берег в тумане.
Только сердце ныряет в груди
да кораблик скользит в океане

Конец 1980-х — начало 1990-х гг.

Майя Кучерская

История одного знакомства

Часть первая

1. Некролог

*Когда погребают эпоху,
Надгробный псалом не звучит...*

А. Ахматова

Светлый сумрак заполнил день с самого утра. Горечь лилась по листьям, мутным потоком стекала по стволам кладбищенских берёз и осин, по чёрным узорчатым оградкам, беззвучным лавочкам, серым камням. Снег в сентябре — последний раз такое случилось за несколько лет до нашего рожденья; снежинки плавно текли по тяжёлому небу, крыли землю влажной, зыбкой пеленой. Умер Журавский. Он преподавал у нас античку и древние языки. Это был человек давно ушедшей, истаявшей, сладостно наивной эпохи, изысканного окружения, сформировавшего, воспитавшего, но не исчерпавшего его. Слишком долго он прожил и после. Юность и ранняя молодость навсегда остались годами раннего детства. Мать его была близкой родственницей поэта Якова Полонского, отец — кадровым офицером, сам он тоже успел несколько лет проучиться в кадетском корпусе, но без охоты. С юных лет Журавский увлекался поэзией, учил языки, участвовал в заседаниях каких-то эфемерных обществ, начинал даже печататься. Два-три собственных его, почти отроческих стихотворения, кем-то чудом обнаруженные в ветхих подшивках тогдашних журналов, распространялись среди студентов в списках. Пали капли дождевые / На иссохшие поля... Поговаривали и о позднем, большом «дальневосточном» цикле, но, возможно, то были одни домыслы — в общем, не слишком и важные, не, как любили выражаться у нас в Гуме, релевантные: как ни экзотично и притягательно выглядели детали его биографии, главным в Журавском было другое. Весь облик его дышал не знакомой более ни кому другому, немислимой для пережитых лет и обстоятельств свободой.

В некотором смысле он был юродивым, но не кокетливая профессорская чудаковатость, не оригинальничанье, не старческие странности, именно юродство то было — певучее, задевающее мудрое, выстраданное. Зимой он входил на лекцию в потертой шапке с опущенными ушами, в чёрном пальто, и так и читал лекцию одетым, ссутулясь, полутвернувшись от аудитории, без бумаг, цитируя по памяти непостижимо

длинные куски из Гесиода, Плутарха, обрывки Катулла, иногда спохватываясь и переводя, иногда просто комментируя. Не то, чтобы он не чувствовал аудитории, чувствовал крайне чутко, но как-то, скорее, забывал, что да, и филологи могут не только не понимать, но и попросту не знать ни греческого, ни латыни.

В середине лекции Журавский мог вдруг прервать себя и пуститься в длинные застенчивые объяснения. Беда в том, что со вчерашнего вечера его бьёт озноб, надежды поправиться по дороге на лекцию не оправдались, если только позволительно говорить о несбыточности каких бы то ни было надежд, а из каждого из этих окон сильно дует, он уже пытался отодвинуться, но ветер достигает его повсюду, озноб усиливается, и поэтому он просит, нет, умоляет почтеннейших слушателей простить и отпустить его душу на покаяние. Всё это тем же лекционным, протяжным тоном, обстоятельно и с неуловимой, едва угадываемой слушателями тихой улыбкой. Душу отпустили на покаяние, и неторопливо, в полной тишине он шёл.

Студенткам, писавшим у него курсовые работы, он целовал при встрече руки, а перед одной, оказавшей Журавскому какую-то мелкую услугу (кажется, она подняла рассыпанные профессором книги), он даже упал на колени, и затем бодро, по-юношески поднялся — эту историю почему-то особенно все любили.

Проходя мимо него по темноватому институтскому коридору, можно было слышать вдруг невнятное, но как будто ритмически и мелодически организованное мычание — редкие знатоки этих мелодий и ритмов узнавали псалмы Давидовы, щеголяя даже и номерами — профессор часто напевал их, направляясь в аудиторию. Но был ли он христианином? Был ли православным? То есть, наверное, конечно же, был, но и эти определения, уже тогда для некоторых столь исчерпывающие и информативные, рядом с ним вдруг выглядели бессодержательно, блекло. Был ли он православным? Он был человеком. Так и говорили старенькие институтские гардеробщицы, кроме него вряд ли кого ещё так хорошо знавшие из многочисленных преподавателей, а о Журавском жалели, по очереди ходили к главному выходу читать некролог, он у них раздевался, он с ними всегда со странной, трогавшей их сердечностью и вниманием здоровался, неподолгу говорил, и они причитали, качали головами: «какой человек был!».

Человеческая гениальность как бы одухотворяла и поясняла его гениальность как ученого. Свободное владение несколькими древними языками (включая арамейский и древнеегипетский), удивительная способность к проникновению в давно исчезнувшие культурные пространства и их реконструкции, кажется, были бы невозможны без его личной убеждённости, что ни культура, ни язык, ни люди не бывают мертвы, но — лишь забыты. «Надолго забыты?» — тягуче вопрошал он в одном из своих бесчисленных «публичных» разговоров (более напоминавших не обращение к слушающим, но сосредоточенное собеседование с самим собой, на таинство которого допускались студенты). — Всего лишь на время. Кем забыты? Всего лишь нами». Напрашивалось: нами, а не...?

Довершить ответ предоставлялось самой публике. Он же в качестве последнего доказательства и подсказки оставил образцовые художественные переводы античных авторов, неизменно отмеченные редкой естественностью ума и вкуса. Мысль, чуждая претенциозности, вкус, избегающий стилизации, — так просто.

Незаметно и, конечно, без всяких усилий с его стороны, он превратился в негласного учителя молодежи, голос его стал камертоном подлинности. И это при том, что никогда он не был окружён явными учениками, именно круга учеников не было —

возможно, для этого профессору не доставало уюта и домашности, при трогательной внимательности к людям, слишком много в нём было этой инаковости, неотмирности, делавшей близкое общение невозможным. Но не исключено, что в некотором смысле каждый, кто хотя бы однажды слышал и услышал его, делался его учеником, — его спокойный и трезвый взгляд обладал удивительной властью, раз поняв и прочувствовав его точку зрения, именно как точку, в которой он стоит и из которой ведёт наблюдение, её уже невозможно было не учитывать, она неслышно поселялась в тебя и соприступовала при всякой попытке размышления.

Отчего-то казалось: такой человек должен был угасать медленно и красиво. Он же умер с трагической резкостью — упал поздним вечером на улице от сердечного приступа.

Он был мне никто, он был наш университетский профессор, но после этой смерти оставалось одно: уехать из города, уехать и умереть. Была поставлена точка, закрыта книга, которая так жадно, несколько лет уже читалась и перечитывалась, назад и вперёд, кверху ногами и сбоку, но вот и она захлопнулась, уже исчерпанная, вдруг пустая. Не с одним Журавским я прощалась — в этот влажный день уходил, утопал целый мир. Филология, культура, поманившие, мерцнувшие ещё в отрочестве, и вот гаснущие, с шипом затухавшие на глазах. Да, всё было очень тривиально, но я и не претендовала на новизну, перед кем мне было рисоваться? Давно уже, несколько последних лет уже подбиравшееся к горлу ощущение полнейшей бессмысленности, безысходности моей идиотской жизни ещё на кладбище, ещё когда натужными рывками заиграл вдруг военный оркестр (в память ли о кадетском прошлом покойного?) нахлынуло и захватило наконец полностью, окунуло в себя с сердцем и головой. Больше сопротивляться я не могла. «Смотрите, смотрите, как они любили его», — шептались сзади, подслушав мои всхлипы. Да разве я о нём, с ним-то наверняка всё в порядке, просто покурачки всё.

2. Отъезд

Электричка отъехала от города. Пьяный дядька давно лежал лысоватой тяжёлой головой на моем плече и доверчиво спал. Я его не будила. Его серая кепка свалилась на пол, никто не хотел поднять, а я боялась пошевелиться.

Не такой уж он был и пьяный, просто очень устал, и это сближало — я устала тоже. Я б глядела на них всегда, истоптанный грязный пол электрички, мятая кепка, сырые листья, как они лежат на сырых платформах, как летят по низкому небу в редких лесах. Мокрые домики, бесконечные косые заборы, клумбы с астрами, яблони, картошка, запах сырости и гнили — пусть, пусть побудут ещё эта осень, этот запах и близкий дождь. Я б сама осталась тут наподольше. Только я не могла.

На городских станциях заходили всё новые, по-дачному тепло одетые люди — последние предзимние работы, пятница вечер. Вошла старушка в белой панаме, тулупе, с пятнистым догом на поводке, села неподалёку, дог послушно улегся у старушкиных ног, лакнул красную лужицу, натёкшую из чьей-то сумки. Старушка резко дёрнула его за ошейник. Вошёл бледный юноша в очках и тут же уткнулся в книжку, тряхнуло поезд, книжку повернуло обложкой вверх — батюшки, Бердяев! Вошла мать с мальчиком в зелёных рейтузах.

Никакой надежды у меня не было.

Конечно, можно б было и дома, не уезжать никуда, но всё же звучал и последний

отсвет, странная вопрошающая робость: возможно, там, в окончательном уединении и тишине, в стороне от суеты и людей всё и состоится? Может быть, в пустоте Ему легче будет найти меня, я стану заметней? И я ехала на дачу, зная накрепко, так жёстко, что ёжилась сама: в последний раз. Это последняя моя попытка. Другой не будет. Никогда. Такое я поставила условие.

Из тамбура тянуло дымом, и я жадно вдыхала его, не могла надыхаться, тоже очень хотелось покурить, но не взяла с собой, а стрелять было неохота. Мужички напротив шумно играли в дурачка, мальчик в рейтузах всё сбегал от мамы в проход, его ласкали чужие. Тихий мой алкоголик по-прежнему сладко спал, он стал мне как родной, он как бы провожал меня, до самого конца, как бы не хотел отпускать. Грел плечо, подсакивал головой, но ему было мягко, он негромко сопел. Тряпочная кепка по-прежнему валялась на полу, все аккуратно переступали через неё, никто не испачкал. Электричка отходила от станции «Каменная пустынь», следующая была моя. Я передвинула голову на деревянную спинку скамьи, подняла кепку, вложила её в синеватые сцепленные руки. Мужичок печально заскворчал что-то сквозь сон. Пока, браток!

Здесь небо было светлей, чем в городе, видно, дождь не шёл тут уже со вчерашнего вечера, идти от станции до дома было почти сухо.

На нашей Песчаной улице ещё никто не приехал: задернутые на окнах занавески, пустующие участки, значит, съедутся завтра. Только из трубы небольшой бревенчатой сторожки, стоящей чуть в стороне от ровных рядов участков, шёл дым. Там жил наш старенький сторож с женой. Две собаки, мать и дочка, прибежали оттуда, залаяли, но получив по овсяному печеню, стихли и, немного повилыв хвостами, убежали. Я давно знала их — Зорька и Альма.

Пока я дошла до нашего дома, стало совсем сумрачно. Ключи по общему договору хранились в целлофановом пакетике в глубине под крыльцом. Я нашарила их и сняла с двери большой замок. Здесь жили совсем недавно, каких-нибудь две-три недели назад дом принимал последних посетителей, и дух запустения ещё не нашёл сюда.

Дом был небольшой, отстроенный сразу после войны, давно уже его собирались достраивать, но никак не доходили руки — после тесной терраски, на которой стояли электрические плитки и хранилась посуда, следовала перегороженная шкафом большая комната, в первой части которой мы обедали, во второй — спали. В углу спальной приютилась маленькая кирпичная печка.

Я зажгла свет, затопила печку, поужинала чаем и шпротами, помочила из чайника тряпку, вытерла клеёнку на столе, почитала купленную на вокзале Литгазету, сходила на улицу и подложила ещё дров, чтобы они тлели всю ночь и грели комнату. Погасила свет. Я храбрилась как могла, но, полежав несколько минут в темноте, с последней безошибочной четкостью поняла: эту не пережить. Эту ночь не пережить мне.

Ни шороха, ни звука не раздавалось за окном, даже собаки не лаяли, даже шум поездов стих, даже лес не шелестел листьями, но то была оборотная сторона умиротворенья — стояла недобрая, ощерившаяся тишина. В городе в это время ещё так шумно, суета: огни фонарей, реклам и вывесок, мигающие, орущие машины, визг тормозов, живущие повсюду, за стенами, под полом и над потолком, сотни, тысячи уставившихся в телевизор, ненужных, неведомых, но живых людей оберегали меня. Здесь я была безоружна. Какое легкомыслие — обнажиться, открыться навстречу всей злоеющей Вселенной, подставить себя под удар! Ты ждала встречи с Ним? Забыла, что не Он

один правит миром? Ты ещё смела ставить условия! Что ж, получай за свою забывчивость, за свою глупость и гордость, сейчас от тебя не останется мокрого места!

Сама бездна спокойно дышала мне в лицо. Я увидела вдруг с кошмарной ясностью внутренним каким-то, вдруг раскрывшимся зрением: далёкий краешек неба пусть недосыгаемо, но неизменно, но всегда (оказывается, оказывается, а я и не замечала!) светивший над моей головою, теперь вдруг исчез вовсе — точно задвинули заслонку. И в ту же минуту я очутилась в чёрной яме, в этой крошечной тьме — совершенно одна. Это был и не страх, и не тоска, но нечто гораздо более тягостное, это было чувство полнейшей, уже без всяких поблажек и проблесков покинутости. Ну, кто, кто меня покинул? Я ведь и раньше бывала здесь одна, я ведь и раньше здесь ночевала? Мне бывало и одиноко тоже, но нет, то одиночество по сравнению с этим было уютным, тихим, не злым. Я попробовала приподняться, хотя бы зажечь свет, но какая-то враждебная сила и в самом деле точно навалилась на меня, точно холодную каменную плиту положили на грудь и нажали сверху. Похоже на приступ, но чего? Я абсолютно здорова, сроду не бывало у меня никаких приступов! Сейчас же я не могла даже пошевелиться, хотела вздохнуть, но плита сдавила и лёгкие.

Ужас, беспредельный, животный, залепил глаза, уши, горло, тисками сжал сердце: это смерть была. И некому помочь, некому спасти меня. Хоть бы кто-нибудь, хоть любой человек, хоть бы те две собачки, хотя бы жучки из бревенчатой стенки, просто кто-то живой... Ехала умирать, чего ж ты трусишь, ехала умирать — на. Нет, нет, у меня нету сил, как хотелось мне теперь жаловаться и слабо плакать, и, может быть, даже просить прощенья, но застыли в этом холоде слёзы, да и перед кем, у кого? Но разве знала я, что это так, что это — не небытие, не забвенье — бездна, мрак, холод, и никого рядом, раздавливает, как червяка, как лягушку, да разве я, но мысли путались, лед проникал и в мысли, невозможно было связать их, я не чувствовала больше собственного тела — да, я об этом читала, последним умирает мозг, и уже на грани исчезновения и утраты сознания, в страшном напряжении, с усилием вдохнув каплю воздуха в лёгкие, я выгорела наконец, еле-еле: «Боже мой!» Боже мой, помоги!

Наутро я проснулась с устойчивым ощущением, что что-то случилось вчера со мной, что-то сдвинулось, но не могла вспомнить что. Я приоткрыла занавеску, выглянула в окно: погода стояла пасмурная, видно, всю ночь шёл дождик, но недавно кончился. Чирикали какие-то ещё не улетевшие птички. За ночь комната выстыла, воздух был прохладный. Обернувшись в одеяло, я прошлепала в угол комнаты, обжигаясь о холод пола, прикоснулась к печке — печка была чуть тёплая. Тут же я залезла обратно в постель, может быть, ещё не так уж и поздно, и можно ещё поспать? Я взглянула на часы: половина первого! Что такое, видно, они остановились? Поднесла к уху: часы звонко тикали.

И тут я вспомнила.

Боже мой, помоги! Почти сразу после этих слов ужас и смерть начали стихать во мне, чудовищная тяжесть отступила, дышать стало легче, я снова почувствовала себя живой и горячей, и... не одной. Ушло одиночество, и ушла боль, ощущение глубокого, глубинного покоя и защищённости окружило, мягко обняло меня, я только почувствовала, что жутко устала, точно много дней подряд носила на себе тяжести, кирпичи или брёвна, ныла каждая косточка, и теперь до смерти хочу спать. И я тут же уснула.

В ту ночь я проспала не меньше 14 часов и дневной электричкой вернулась в город.

3. Иозеф

Я приехала и тут же позвонила Иозефу.

Мы знали друг друга ещё со школы. Тогда у Иозефа не было ни этих роскошных тёмных кудрей, повязанных пестрой тесемочкой, ни бороды — классная заставляла его стричься почти что наголо.

В наш литературный класс набирали с девятого, и все мы оказались новичками — сплошные девочки, Иозеф был нарасхват. Но в середине года вдруг выяснилось, что Иозеф верующий. Верит в бога.

Как-то на субботнике он низко склонился над ведром, отжимая тряпку, и из-под клетчатой рубашки вдруг свесился тонкий серебряный крестик. Все видели, включая классную, но Иозеф, как ни в чём не бывало, пошёл себе прочь от ведра, тёр что-то там дальше — не испугался ничего!

Тут как раз стали проходить Достоевского, и просвещённый наш, и всеми глубоко уважаемый Бахус заметил вскользь, что без знания священных текстов не существует культурного человека, — и хотя до этого мы не сказали друг другу ни слова, я бесстрашно подошла к Иозефу и попросила принести почитать Евангелие.

Как он оживился! Как загорелись чёрные глазки! Стало его даже жалко. Принес на следующий же день, у меня два, одно ещё бабушкино, другое недавно достали знакомые, читай, сколько хочешь. Но открыла в одном месте — ни слова по-человечьи, сплошные аллегории и намёки, открыла на другом — ещё хуже. Через две недели я возвратила книгу хозяину. Иозеф был явно разочарован, уговаривал почитать ещё, но я не далась. Правда, с тех пор мы иногда шли вместе до автобусной остановки, тебе восьмой, мне шестьдесят четвертый, добираться до нашей спец было непросто. Опять он робко пробовал обращаться ко мне, и, как ни наивно всё это выглядело, вера его меня удивляла: Иозеф не просто верил в бога, он верил, что всё, что написано в Евангелии, все эти хождения по воде и рождественские звёзды — правда.

Последняя попытка была предпринята на выпускном. Все уже ушли танцевать, но он тихо сказал — давай не пойдем — и я не пошла. Кудрявый, строгий, в белой рубашечке, галстук, синем пиджаке Иозеф стоял у раскрытого окна и смотрел в сторону неба. Небо было беззвездно.

— О чём ты сейчас думаешь, Иозеф?

— О тебе.

Я замерла.

— Я... — Иозеф замаялся, взглянул на меня, сердце у меня колотилось, — я думаю, что Он ждёт тебя, — опустил глаза.

Он — это бог, немедленно догадалась я, но что же дальше?

— Да-да, я жду тоже, только не знаю, как мне до Него добраться.

Фраза была роковой.

Иозеф уже не мог остановиться, он говорил и говорил: любовь, космос, Господь, грешники, бесконечная слабость человека, наши «немощи» (в смысле недостатки? — да, да, слабости), вера, святая соборная и апостольская Церковь, благодать Божия, спасение души. Изредка Иозеф возбуждённо взглядывал на меня, я послушно кивала.

Я думала с тоской: может, он говорит всё это так приподнято, потому что любит меня? А святая соборная и апостольская церковь тут ни при чём. Может быть, я ему просто нравлюсь, а любимая тема — только повод, только вступление? У меня, и в самом деле, было длинное белое платье, тонкое и воздушное, сшитое специально для

выпускного. Ночной июньский ветер скрипел рамой, мягко шевелил белые складки. Иозеф этого так и не заметил.

В Гуме мы попросились в одну группу, хотя общались всё реже, точнее, это я всё реже, исходящая от Иозефа требовательность (по какому, простите, праву?) стала давать. Он явно злился, когда я курила, принёс мне даже выписку из Флоренского про табачный дым («чертов ладан!»), демонстративно отворачивался, когда по сложившемуся здесь обычаю я стояла в обнимку с кем ни попадя на сачке, встал и молча вышел из аудитории, когда я при нём обронила вольное слово. А на собственном дне рождения вообще нагло подошёл ко мне: «Иоханна, ты слишком много пьёшь». Захотелось дать ему, наконец, в морду. Ты кто ваще? Ты, может быть, Иисус Христос? И — много матерных слов дальше. Больше зато не трогал.

Но как-то вышло, что, поссорившись с Иозефом, за весь первый курс я так ни с кем больше и не подружилась, только немного с Ольгой, но она зачем-то на всё лето уехала к бабушке, в солнечный Мариуполь. А мне было некуда деться, некуда поехать, на даче всё лето вечно кто-то торчал, тети, дяди, хором звали и меня — видала я их в гробу.

И проводила лето на балкончике нашей двухкомнатной квартиры, с сигаретой в зубах, наедине с шестью тополями; с книжкой на тринадцатой странице, в пустоте, глухоте, чёрном мешке. Жизнь моя не имела ни малейшего смысла. Жизнь моя на хрен никому не была нужна. На что я вообще надеялась? Зачем всё ещё жила? Пора было кончать этот затянувшийся праздник. И я назначила срок: осень. И пошла по обрыву, часто, почти с любопытством перегибаясь глубоко вниз через балконную решётку, свалюсь раньше — тоже не беда, но всё-таки отчего-то со странной уверенной твёрдостью я ощущала: и до этого надо дойти. И до самоубийства. Я ещё была не готова, и плохо ещё мне было не так, и я шла и шла, задыхаясь от внезапных накатов слепой, безадресной, комкающей внутренности злобы, неизменно сменявшейся приступами отчаянья и какого-то нездорового, бесслёзного, нервного плача, я шла, почти скалясь, с трудом дыша уже от пропитавшего лёгкие дыма, от сдавившей горло тоски, шла сквозь это, на редкость солнечное, сухое и душное лето — пока однажды к вечеру, во внезапной для шумного города наставшей тишине, в спящем огне августовского заката не стало вдруг так оглушительно ясно, в слетавшем на землю первом заморозке этого года, с ледяной прозрачностью, с пронзительной чистотой: теперь или никогда. И чуть только мягче: ничто кроме веры. Ничто кроме веры не спасет меня.

Да и давно уже я это знала, я ж ждала просто, я ж затаилась, Иозеф! но никогда прежде с такой ясностью, больной. И стонуше почти, сквозь зубы: да почему ж тогда никак мы не можем повстречаться, столкнуться на наших путях с твоим Господом, Ося? Может, просто я не гожусь Ему такая, но я такая, я не могу стать другой, не собой, и не могу, не могу больше ждать! Пуста моя жизнь. Прямо с этого балкончика и спрыгну. Прямо сейчас. И снова животом на перильца, снова уставясь в рваную тополиную листву, в истоптанную, усыпанную окурками землю. Но вроде б и жалко вдруг стало родителей. Скоро придут с работы, а под окном — трупик. И отложила, так и быть, дождусь сентября. Почему сентября, почему не марта. Потому что до него оставалась всего неделя. И начался второй курс. Всех отправили на картошку, а я откосила, единственная с нашего курса пришла на похороны Журавского, чуть не оглохнув от удара вдруг захлопнутой книги, чуть не задохнувшись в клубах покрывшей её пыли трёх последних лет. посвящённых всякой фигне.

Я вернулась домой. Мама сказала, что звонил Иозеф, очень просил перезвонить.

— Иозеф! Вы уже вернулись?

— Иоханна!

— Иозеф, нам надо поговорить. Не по телефону.

Через час мы встретились в институтской библиотеке. С того злополучного весеннего дня рождения мы так и не общались, Иозеф смотрел встревоженно.

— Куда ты исчезла? Все спрашивают меня, а я знаю не больше других. Целое лето! Ты не подходила к телефону?

— Нет.

— Иоханна, это безответственно.

За лето его тёмные кудри отросли ещё больше, он повязал их тесьмой, подросла, разлохматилась борода. Даже брови, которыми он любил шевелить в минуты раздумий, как будто стали гуще.

— Иозеф...

— Неужели ты думаешь, что я сержусь на тебя?

— Иозеф, я уезжала, чтобы найти твоего Господа. Иозеф, я Его нашла.

— Ты для этого меня сюда притащила?

— Иозеф, этого нельзя было сказать по телефону.

Он вдруг смягчился.

— Я рад. Это так хорошо. Я давно этого ждал.

— Знаю.

— Что же ты собираешься теперь делать?

— Знаешь, пока просто принеси мне что-нибудь почитать. Евангелие у меня теперь есть, подарили протестанты в прошлом году, принеси что-нибудь о б этом. Мне не хватает ещё и человеческого свидетельства, не апостолов, а такого же, как я, человека, как ты. Чтобы ещё и ещё мне все, все говорили, что это — правда. Чтобы убеждали меня.

— Да, я понимаю, я обязательно принесу. Есть замечательная книга. Пойдем прямо сейчас ко мне. Я тебе дам.

— Ты говорил, что торопишься?

— Иоханна...

Целый вечер мы проговорили с Иозефом. Усевшись на диван в его крошечной комнате, сплошь завешанной иконами и вырезанными из календарей фотографиями церквей и репродукциями, запершись от мамы и бабушки, мы обсудили всю произошедшую со мной дачную историю, а затем разные подробности церковного быта. Я расспрашивала его обо всём подряд, но он только веселел от этого любопытства и напора.

Я узнала, что день рождения Церкви случилось в Троицу, когда на апостолов слетел Дух Святой, под шум ангельских крыльев, что священник — только посредник, проводник; духовенство бывает чёрным и белым, монахи живут и в миру, а монашеский крест — пожизненный. Сначала человек послушник, а потом его постригают и дают ему другое имя. Имя меняется, потому что прежний человек у-ми-рает. Католики и православные — особенно близки друг к другу, но пока соединение вряд ли возможно. Нет на свете такого греха, которого не простил бы Бог. В году четыре длинных поста, плюс среда и пятница каждую неделю. Митрополиты — это тоже монахи, как и Патриарх. Крещение отменяет всю прежнюю твою жизнь, ты рождаешься заново, прошлого за спиной больше нет. Исповедь — второе крещение.

В конце разговора Иосиф вручил мне обещанную книжку, написанную архиман-

дритом Киприаном Урусовым. Книга была перепечатана на машинке и переплетена.

— Только в транспорте не читай, — предупредил Иозеф.

— А перестройка?

— До нас дело дойдёт не скоро, если вообще дойдёт, — серьёзно отвечал Иозеф.

«До кого это — до нас?» — замирая, подумала я и отправилась домой.

Сев в автобус, я немедленно раскрыла книгу. Оторваться было уже невозможно. Автор её откуда-то всё уже знал про меня, про мои сомнения и догадки, про всё бившееся и ещё не до конца сформулированное во мне — и про это написал свою книжку. Сам архимандрит Киприан, как сообщил Иозеф, был старинного княжеского рода Урусовых и вместе с родителями мальчиком покинул Россию. До шестнадцати лет он жил невером и нехристом, пока, по собственному его выражению, Бог не нашёл и не победил его. В рассуждениях архимандрита о вере, о Христе, о связи человека и Бога дышала непонятная мне сила, — может быть, это была власть посвящённого, а может, это была сила его веры, и именно она, вея над словами, тревожила и удивляла сердце, будила душу.

Но и сами слова были убийственно точные, пронзительно яркие. Особенно поразило меня то, что архимандрит Киприан говорил о человеке.

Помимо веры в Бога, — писал он, — существует и вера в человека, вера в его достоинство, в его, быть может, ещё не расцветшую глубину, о которой и сам он не всегда знает. Верить в человека, собственно, уже и означает любить его. Для этого же надо всего лишь его р а с с л ы ш а т ь — когда он говорит, рассказывает тебе что-то, не думать о своём, не готовиться к ответу, выбирая, на что можно возразить, с чем согласиться, но просто слушать. Слушать, чтобы услышать, вот и всё!

Но для того, чтобы услышать другого, надо научиться вслушиваться в себя, в голос своей совести, в голос той правды, которая присутствует в каждом, слушать и не бояться, не заслонять уши. Да, надо научиться слушать себя и себя узнавать, хотя если делать это всерьёз — это невыносимо. Это знают монахи, это знают одинокие люди. Вместо глубины и богатства человеку открывается его внутренняя бедность и пустота. Попробуйте посидеть в закрытой комнате, не выходя, лишив себя всех внешних впечатлений. Попробуйте побыть наедине с собой. Многие монахи выбегали из своих келий с криком — так тяжело это испытание — увидеть себя, люди в одиночных камерах часто сходили с ума, кончали жизнь самоубийством. Наша внутренняя пустота с т р а ш н а я, и ничем на земле её не заполнить, какие бы земные наслаждения и радости мы не бросали туда, всё исчезнет, как в чёрной скважине, бездонной воронке, один только Бог...

И я чуть не плача со всем соглашалась, как верно, как хорошо, чёрная скважина — это ж про меня точь-в-точь, как я была ночью на даче, и другое всё тоже про меня!

4. Лестница в небеса

Архимандрит сильно продвинул меня, я снова начала читать Евангелие (на этот раз дело пошло) и время от времени заглядывала в ближайшую к дому Покровскую церковь.

Вылазки в христианство свершались в глубочайшей тайне от родителей: я выходила из дому в неподозрительно привычное, утреннее время, но, сев на «институтский» трамвай, сходила на две остановки позже обычного и уже не пересаживалась на

автобус, а шла в противоположную от остановки сторону. Один блок по ходу трамвая, мимо булочной и пельменной, потом направо в подворотню, двором сквозь восьмиэтажный выстроенный в форме буквы «П» дом; и, вынырнув из второй его арки, я и оказывалась у ограды небольшого церковного дворика, которую надо было обогнуть слева и уже там отворить калитку и войти.

На моём православном счету было уже несколько панихид: на службы, начинавшиеся в восемь утра, я опаздывала — выходить из дому удавалось только около девяти. Но мне нравилось стоять и на панихидах, вслушиваться в щемящую интонацию зауспокойных песнопений, в постепенно проклёвывающийся смысл слов и перечисления имен — так близко в эти минуты придвигался далёкий небесный мир, зависал где-то совсем низко над головою, живой, бесконечный.

Однажды к панихидам прибавилось новое впечатление — как-то, видимо, в какой-то большой праздник, когда утренних служб было две, я пришла как раз к началу второй и попала на исповедь.

Это было наивно и, возможно, несколько механически, но вместе с тем, ни слова из того, что говорил священник, не было ложью, обманом и совершенно прямо касалось и меня. Не постимся, не молимся, редко приходим в церковь, редко причащаемся — ну, это я буду, если крещусь, но были там и вполне общечеловеческие вещи — никого по-настоящему не любим, ищем своего, не милостивы, не снисходительны, не терпеливы, осуждаем близких, а на себя не хотим посмотреть, обманываем, завидуем, обижаем других злыми, недобрыми словами, а к себе требуем уважения. Всё это было про меня. Но, наверное, и про всех?

После посещения исповеди я почувствовала себя спокойней. Торжественное представление о христианах как о людях высшего порядка, людях, которым открыта иная, неведомая мне грань бытия и которые ведут жизнь недоступную простым смертным, смягчилось: никакого «сверхчеловечества», оказывается, не было.

Наоборот, христианство как бы позволяло, признавало неизбежность человеческих слабостей и ошибок и даже нашло способ разрешать их из необратимой безысходности. Раньше одно лишь время представлялось мне целителем (впрочем, крайне ненадёжным) ран совести, но вот предлагалась и другая, такая простая и изящная возможность.

Вскоре мне стали сниться сны. Это были странные, очень похожие сны. Раз в две-три недели несколько смуглых джентльменов преследовали меня. В разных снах они были по-разному одеты — то в безупречных чёрных смокингах с белоснежными манжетами и воротничками, то, наоборот, в каких-то грязных потёртых джинсах, засаленных водолазках, то в обычных серых костюмах, в каких люди ходят на работу, — но всё это были, безусловно, одни и те же лица. Я сразу узнавала их по тяжёлому, какому-то шарящему взгляду и неизменно охватывающей при их появлении душевной тяжести.

Они преследовали меня постоянно, но так ни разу и не догнали. Я то убегала от них, то просто шла и шла по улицам города быстрым шагом, но несколько раз останавливалась вовсе, в бессилии и тоске: будь что будет! Но тогда и они замедляли шаги, никогда не приближаясь слишком близко, сохраняя дистанцию. Что же они хотели от меня? Похоже, в их целях не было ничего непристойного? Тем хуже: значит, они посягали на что-то ещё более серьёзное, чем моё физическое существование и права.

Но как ни противно мне было, никогда это не оборачивалось кошмаром: джентльмены всё же не были слишком навязчивы, в конце концов всегда удавалось от них

скрыться — то в книжном магазине, в котором, правда, на полках разложены были не обычные книги, а Библии и Евангелия (вещь по тем временам неслыханная), то в идущем к церкви трамвае, то в подъезде дома, на пятом этаже которого жил архимандрит Киприан, это я знала совершенно точно: мятая бумажка с адресом, данная Иозефом, лежала в кармане. Раза два я просто улетала от них, пружинисто оттолкнувшись от асфальта и скользя по воздуху довольно невысоко над землёй, метра три-четыре. Джентльмены всё также тяжело смотрели мне вслед, задрвав головы, но вскоре исчезали из виду.

Сны настораживали — и своей дурацкой периодичностью, и прозрачностью сюжетов. Раньше ничего, столь же легко поддающегося истолкованию, мне не снилось.

5. Не забудьте полотенце!

Иозеф собственноручно повел меня. Привел на всюнощную, на которой раньше я не была ни разу в жизни. Народу было не протолкнуться, я не чаяла дожидаться конца, с трудом дышала, стояла у самой двери и часто выходила погулять, размышляя о предстоящей встрече. Стоял ноябрьский вечер, воздух был оглушитель, сыр, я часто закуривала, но не закурила ни одной.

Иозеф обещал представить меня некоему иеромонаху Антонию. Сам он не так уж и хорошо знал отца Антония, видел его всего несколько раз мельком, зато слышал о нём от общих знакомых.

Как человек свой, отец Антоний не должен был никуда меня записывать, и, таким образом, уберегал известные организации от ненужной информации. Но эта сторона дела, понятно, занимала меня мало. Напряженно думала я о том, что же сказать ему. Опираясь на туманные обрывки не то фильмов, не то книг, не то просто чьих-то рассказов, а может быть, всего лишь фразу Иозефа «Батюшка с тобой поговорит», я воображала себе следующую картину: мы шагаем по этой вот, обсаженной кустами дорожке церковного дворика, тихо ступает батюшка в длинной рясе, спускающейся из-под короткого пальто — такого я видела однажды на остановке — задумчиво смотрит на меня, а рядом иду я и рассказываю ему про себя всё-всё-всё. С деревьев плавно слетают жёлтые листья.

Тут правда наступала заминка, потому что всё-всё я не знала. Да и как всё расскажешь?! И нужно ли это? Со священником, наверное, лучше говорить на сугубо духовные темы.

После мучительных припоминаний каких-нибудь знаменательных подробностей своей жизни я в конце концов решила рассказать иеромонаху Антонию про свои недавние сны — всё-таки хоть какая-то связь с религией.

Из двери их комнаты стали выходить какие-то бородатые люди — один, другой, третий.

— Это певчие, это чтец, это дьякон, — тихо комментировал Иозеф, — это здешний батюшка, отец Александр, но ещё не наш — вышел как раз седенький, которого я видела тогда на исповеди.

Отец Антония всё не было. Храм пустел. Только одна пожилая женщина в синем халате убирала с прилавка свечи. Раза два она уже зорко на нас поглядела.

— Мы отца Антония ждём, — поспешил сообщить Иозеф.

— Кстати, вот и он.

Я подняла голову.

Перед нами стоял человек — в синей курточке, брюках, с дипломатом, невысокого роста, с плохо растущей (какими-то неровными вялыми клоками) рыжеватой бородой и небольшой лысиной. Это что — этот?? С очень усталым лицом, очень бледный. Простые кругловатые черты его лица могли бы иметь совершенно простодушное выражение сельского батюшки, когда б не внимательный, умный, и даже — сложный взгляд сквозь очки.

— Здравствуйте, отец Антоний, мы к вам от отца Михаила Серова, это Иоханна, она хочет креститься, — быстро и отчётливо проговорил Иозеф, одновременно с этим с какой-то неуловимой ловкостью выставив горсточкой обе ладони, точно прося насыпать конфет или налить воду, но вместо этого отец Антоний, как само собой разумеющееся, вложил туда свою правую руку, которую Иозеф немедленно поцеловал.

Я онемела.

— Иоханна? Креститься? — и снова пристальный взгляд.

— Тогда я только Вас одну спрошу, — сказал он после краткой паузы и, словно бы отодвигая в сторону мнущегося рядом Иозефа, произнёс с вдохновенной и нервной какой-то интонацией:

— Вы верите, что Христос — Сын Божий?

Сердце у меня упало: вот что оказывается самое важное! Христос — Сын Божий. А я-то, сны, дорожка, религия... Листья!

— Верю, — вышел хриплый шёпот.

Отец Антоний точно бы вместе со мной перевёл дыхание.

— Я служу в среду, в четверг, потом в воскресенье. Вы когда можете?

— Всегда.

— В среду?

Я кивнула.

— Накануне хорошенько вымойтесь, наденьте всё чистое, лучше принести с собой полотенце. Приходите натошак, часам к десяти, крестины у нас после службы.

— Я хочу креститься только под одним своим именем.

— Каким же?

— Мария.

— А кто будет Ваша святая? Надо посмотреть по календарю, кто поближе к дню рождения.

— Я посмотрела. Мария Египетская. Кажется, это она жила в пустыне, и она же ходила по воде.

— Да-да, одно и то же лицо, — подобие улыбки скользнуло по лицу отца Антония. — Обязательно приходите.

Он поднял отставленный дипломат и направился к выходу.

До трамвая мы с Иозефом шли молча, к счастью, трамвай подошёл сразу же, Иозеф вышел через одну, ему нужно было пересаживаться, а я поехала дальше.

Ни о чём думать я не могла. Разговор с отцом Антонием поразил меня чрезвычайно. Только придя домой и перебрав в памяти всё заново, я поняла, чем же так удивила меня эта встреча.

Неожиданность. Он совсем не обрадовался, что я пришла креститься, даже ни разу по-человечески не улыбнулся, не сказал: ах, как хорошо, что Вы пришли! Ах, какое правильное Вы приняли решение! Вы на спасительном пути. Он не сказал — помо-

литесь накануне, почитайте Евангелие, сказал только: вымойтесь. Было во всём этом предвестие каких-то совершенно новых, неведомых отношений — нелюбезных и вместе с тем странно домашних.

Но ещё сильнее задело другое. То, с каким затаённым волнением и серьёзностью говорил отец Антоний, то, как остро и устало смотрел, выдавало, как показалось мне тогда, почти нечеловеческое напряжение внутренней жизни, в самой нервности почудилась неровность, послышался отголосок страшной именно в своей непреодолимой серьёзности борьбы, которую вёл внутри себя этот человек.

Впоследствии долго ещё я только тихо посмеивалась над собственной мнимой пронизательностью и озарением, настигшем меня в ту первую встречу. Бесчисленные факты стёрли и опровергли первое мимолётное впечатление, казалось бы, совершенно.

6. Полотенце пригодилось

Через четыре дня отец Антоний крестил меня. День стоял зябкий, переломный, наступала зима. Дул резкий ветер, сгонял тёмные снеговые тучи.

Вместе со мной крестили какую-то крошечную девочку с тем же именем. Машенька вела себя тихо, и только когда священник опустил её в воду, горько расплакалась.

Когда начали ходить со свечками вокруг чаши, в комнате вдруг стало светлее, наконец-то рассвело, подумала я, но тут же догадалась, что свет разросся не за окном, а во мне.

После крестин я ещё раз промокнула голову захваченным полотенцем. Отец Антоний проговорил несколько чудесных каких-то радостных фраз, и мне хотелось, чтобы он говорил ещё и ещё, — и, точно поняв это, он, уже простившись и выйдя, вдруг вернулся снова, что-то добавил, снова начал говорить, но опять прервал себя:

— Вы знаете, я сейчас Вам просто не могу ещё всего рассказать!

И я захнулась почти от восторга: я в самом начале, едва преступлен порог, и уже так хорошо, а сколько ждёт ещё впереди, сколько радостей и тайн и открытий жизни во Христе.

Облечённость во Христа, весёлая и прозрачная окружённость Им вдруг стала живой. Точно лёгкий светоносный покров накинули и плотно закутали им сердце.

Я вышла на улицу: всё было покрыто снегом.

7. Уста к устам

Лёгкий светлый дух, поселившийся в душе во время крещения, не оставлял меня. Всё, о чём я читала в Евангелии и у архимандрита Киприана и что так восхищало мою голову, вдруг наполнилось плотью и кровью, вдруг ожило, и живое жило в сердце.

Я жила совсем также — завтракала, ходила в институт, записывала лекции, покупала в магазине хлеб и овощи, но как-то медленно и тупо, сквозь странную воздушную заторможенность, еле-еле пробиваясь к самым обыденным вещам. Язык слушался плохо, с трудом я разбирала, что мне говорят, на время я стала бессловесной, никаких конкретных образов и мыслей не было в душе, никаких чувств — только безмолвное созерцание присутствия, присутствия, вот и всё. Иногда с весёлым замиранием я думала, что наверное, теперь уже никогда не смогу вернуться назад, на человеческую

землю, не смогу нормально существовать в прежнем трёхмерном мире.

Но через несколько дней таинственное состояние стало тихо покидать меня, сменяясь всё нарастающей и так хорошо знакомой пустотой. Прошёл день, за ним другой, третий, а я совсем ничего уже не ощущала и сколько не произносила сладчайшего имени, сколько не вскрикивала даже (Господи Иисусе Христе Сыне Божий, где Ты?) — всё оставалось по-прежнему тихо и пустынно во мне. В панике я бросилась в церковь. К счастью, отец Антоний был там. После службы он подошёл ко мне очень приветливо. От прежней серьёзности не было и следа.

— Здравствуйте, Мария! — он улыбнулся. — Как Ваши дела?

Я застыла: как так сразу? и как об этом расскажешь?

— Нормально.

— Может быть, у Вас есть какие-то вопросы?

— У меня есть, — я снова смолкла.

— Я Вас слушаю, — и снова прежняя невыносимая серьёзность и сосредоточенность.

Мне захотелось убежать. Опять мне показалось, что чтобы начать, надо преодолеть столько преград, такое бесконечное расстояние — никогда, ни с кем не говорила я о своей душе... Но отец Антоний помог снова, что-то спросил ещё, пошутил, вдруг как-то по-свойски хмыкнул, и незаметно, незаметно:

— Вы знаете, после крещения внутри было такое счастье, а теперь я чувствую, как оно уходит, ушло. И мне не хватает, не хватает... Не знаю чего.

— Да-да, — он опять заулыбался, кивнул, — это счастье, оно кончается. Коли бы мы были святы, мы сумели бы удержать, но мы просто не можем вместить. Господь милует, живёт с нами в первые дни, а потом эта сладость духовная, эта благодать просачивается, исчезает, ничего не поделаешь. Это грустно, но неизбежно. Господь уже требует веры в подлинном смысле, веры в то, чего не ощущаешь, не видишь в данный миг. Тут-то всё и начинается. Не хватает... — он опять едва заметно улыбнулся, — это голод. Наступает страшный духовный голод. Но его можно утолить. Я обязательно принесу Вам что-нибудь почитать, духовную литературу, и — почаще приходите в церковь. Даже когда всё хорошо и полно, надо учиться и благодарить тоже. Главное, не отворачивайтесь сами, как вспомните, обращайтесь хотя бы мысленно к горнему, к нашему Спасителю...

Он говорил, и послекрещенское состояние опять медленно возвращалось ко мне, слабей, бледнее, и всё же. Я вспоминала о нашем разговоре ещё несколько дней, и в институте, и дома, и странно — черпала в нём силу. И едва у меня появилась возможность, пошла в Покровскую за добавкой.

И снова у отца Антония нашлось для меня немного времени, снова:

— Вам бы надо ещё раз причаститься, исповедоваться. Вы ведь никогда ещё не исповедовались?

— Никогда.

— Это будет теперь необходимо. Потому что существует диссонанс греха, и счастье (он снова улыбнулся), счастье благодати Божией от этого тоже отходит, мы сами виноваты. Мы отгоняем его от себя собственными грехами. Крещение отменяет всё, что было позади, Господь уже никогда Вас не спросит о Вашем прошлом и прежнего не помянет, но за всё, что случилось уже после, надо будет дать ответ. Сразу после крещения человек, как младенец, безгрешен, чист, но он очень быстро «взрослеет», к сожалению, потому что не грешить не может. Нет на земле человека без греха —

и снова, снова какая убийственная убежденность! — Вот почему надо неустанно себя обличать. Только так мы сможем остаться с Богом. Я вообще думаю, что муки ада не в шипящих сковородках, как рисуют иногда, а — в богооставленности, — последнюю фразу отец Антоний произнес уже не так же отчётливо и ровно, в голосе ясно послышалось волнение. На мгновение он смолк. Я слушала его, опустив голову.

— Нет ничего мучительней для человека, — продолжал отец Антоний — чем остаться одному, без Бога. На земле это невозможно в полной мере, на земле до последней минуты Господь рядом. Господь надеется и ждёт, что человек всё же обратится к Нему, всё же взглянет на небо, но в вечности, в вечности — иные законы. Хотя, конечно, и в этом мире вспыхивают иногда страшные отблески, вдруг приоткрывается завеса, и бывает, что человек может ненадолго, просто как предупреждение или, может быть, как трудный урок, испытать свою Голгофу, когда оставляет даже Отец... — он смолк.

Я стояла не двигаясь, балкончик, та дачная ночь мелькнули острым воспоминанием, всё это было мне так знакомо. И вот, судя по тому, как он говорит об этом, — ему тоже.

— Простите, я увлекся, а мне ещё крестить, люди ждут. Конечно, нам нужно обязательно поговорить ещё. Приходите, приходите как можно чаще.

Я приходила. Но разговаривали мы совсем понемногу — я робела и не знала, как мне быть, как говорить. Он был так не похож на всех моих прежних знакомых! Подтянутый, стремительный, лёгкий, весь какой-то иной, диковинный, из другого мира — и говорил-то он странно, почти не глядя на собеседника, напрочь лишая беседу столь привычных полуулыбок, взглядов-мостиков, поддакиваний, игры словами и интонацией — как бы снимая с разговора всю обволакивающую, скрадывающую его неизбежные угловатости одежду — невыносимо прямо, жёстко, голо, слишком о том, о чём в эту минуту говорил. Даже самые обычные слова приобретали в его устах пронизывающий и высокий смысл.

— Как Ваши дела, Мария?

А как будто бы всё прежнее своё: «Вы веруете, что Христос — Сын Божий?». Как ваши дела, Мария?

И я умирала: ну, как мои дела? Уровень, задаваемый им уровень разговора, был таким, что язык уже не поворачивался ответить обычное: «нормально», «пишу курсовую работу», «выучила наизусть “Верую”», «прочитала Феофана Затворника» — казалось: здесь меньше, чем «вчера мне было видение», прозвучит кощунственно. И я молчала. И злилась на себя.

Я начала обдумывать речь, которую произнесу перед отцом Антонием. Родители уходили утром на работу, я просыпалась обычно как раз в начале первой пары, стремиться на неё было уже бесполезно, а до второй ещё оставалось время; умывшись и прочитав коротенькое правило Серафима Саровского, я шла на кухню, готовила завтрак и репетировала.

— Отец Антоний, пожалуйста, поговорите сегодня со мной подольше. Мне хочется сказать вам что-то необычайно важное, — произносила я с серьёзным и грустным лицом, быстро взглянув на себя в стеклянную створку шкафчика, доставая сковородку и нож.

Отец Антоний легко соглашался меня послушать.

— Отец Антоний, дело в том, что я не только прихожу в церковь, молюсь и причащаюсь, — продолжала я, вынимая из холодильника молоко и яйца, — я ведь ещё учусь в Гуманитарном институте. На филологическом факультете, в шестой немецкой группе. И после службы ещё прекрасно успеваю к третьей, а то и ко второй паре.

Я выливала перемешанные с молоком яйца на скворчащую сковородку, приподнимала вилкой схватившиеся куски. Отец Антоний слушал меня очень внимательно.

— Отец Антоний, объяснить это трудно, но всё острее я ощущаю внутренний разлад. С каждым днём жить с ним всё тяжелее. Вот уже почти что четыре месяца я хожу в церковь, исповедуюсь и причащаюсь, молюсь, читаю Евангелие, делаю то, чего никогда прежде не делала, и всё это доставляет мне огромную духовную радость, — яичница готова, наливаю себе чай и делаю бутерброд с сыром.

— Отец Антоний, несмотря на это, так часто я выхожу из храма с чувством облегчения; стянув с головы платок, я складываю его в сумку. Вы понимаете, мне это страшно нравится — наконец снять, запихнуть его подальше, потряхнуть головой: всё. На улице всё теплее, тает снег, сугробы чернеют и оседают прямо на глазах. Трясаясь и грохая, подходит трамвай, я сажусь около окошка, незаметно нюхая воздух — из оконных щелей тянет сыростью и скорой весной.

Отец Антоний, уже до самой моей остановки я не могу оторваться, смотрю сквозь стекло на вдруг заморосивший первый весенний дождик, первые чистые лужи, разлившиеся на тротуаре, голые мокнущие деревья, тёмные ветки с крупными острыми почками. Я смотрю на входящих людей с россыпью брызг на одежде, женщины в светлых демисезонных пальто, беретах, старушки в шерстяных платках, с ещё зимними меховыми воротниками, худенькие мальчики в лёгких куртках, без шапок — все они поводят плечами, двигают лопатками, стряхивают воду, приглаживают намокшие волосы, складывают зонты... Отец Антоний, я люблю, люблю этих мальчиков, эти зонты, воротники и почки, я люблю этот первый мартовский дождь, эту тёплую и хмурую погоду. И я вся её, это мои родители, дети, этот город, оттепель, эта сладкая весенняя хмарь, и они мне дороже, они в тысячу раз мне ближе, родней свечек, тёмных икон, неясных слов хора, службы, такой длинной — простите! Наверное, всё это страшный грех.

Я схожу с трамвая, и уже от самой остановки знакомые-незнакомые люди попадают мне навстречу. Они возвращаются из института.

Распахнув стеклянную дверь, снимаю куртку, вручаю её гардеробщице, получаю номерок, и, едва успеваю взбежать по небольшой лесенке, как уже слышу, слышу своё имя:

— Иоханна! Иоханна! Иошка! Иоханночка!

Звук его подобен божественной музыке — к нему нельзя привыкнуть, и неизменно, всегда мне приятно, мне сладко — меня здесь все знают, меня окликнули несколько раз.

На просторной площадке между лифтами — множество народу. Это место называется у нас «сачок». Длинные низкие батареи, используемые как сиденья, расположены вдоль всей прозрачной стены-окна, и в это дневное срединное время они всегда забиты. Я подхожу к кучке знакомых, получаю несколько чмоканий в щёку (так принято у нас здороваться), кто-то теснится, втискиваюсь на свой кусочек батареи, закуриваю, опустив сигарету пониже (курить здесь категорически запрещается, но дым стелется), стряхиваю пепел за батарею, слушаю, болтаю, смеюсь.

Это — целый космос, «сачок», великая Тусовка изо дня в день вершится в этом прокуренном пространстве, здесь обсуждаются последние политические и культур-

ные новости, здесь можно услышать очередной анекдот общесоветского, но и местного фольклора, вполне в хармсовском духе, из жизни удивительной супружеской пары — Дёмки и Сёмки, например. Дёмкина преподаёт у нас старослав, Сёмкин — историю коммунистической партии. Но ещё чаще здесь не обсуждается ничего и ничего особенного тут нельзя услышать — потому как не в этом дело и не в том суть.

Пролетают двадцать минут перемены, звенит звонок, можно пойти на лекцию, можно не пойти — сачок немного пустеет.

В день степухи прямо сюда приносят нехитрое угощение — пивко: на радость нашим врагам — бабусям в красных повязках, проверяющим при входе студенческие:

«Хамы! Ни стыда нет, ни совести. Алкоголики. И девки с ними. И курют. Да какие ж вы девушки!». Кто сказал тебе, что мы девушки, бабаня? Иногда ещё и дедок с одесским акцентом и обязательным орденом на лацкане, стуча костью, откуда-то припрыгивает им на подмогу: «Мы воевали». «Ты, отец, лучше скажи, где орден купил?» — беззлобно интересуется кто-то. К всеобщему восторгу, дед немедленно начинает материться.

Стронутые с места с пивом идем в буфет, радующее многолетним постоянством меню — кофе, сосиски, яичница. Лица меняются, кто-то уходит, кто-то приходит, кто-то возвращается, кто-то что-то провалил, кого-то выгнали, кого-то восстановили, кто-то от кого-то ждёт ребёнка, а кто-то от кого-то (подлеца) уже ничего не ждёт. Так можно провести день, месяц, годы. Здесь есть несколько постоянных людей, как бы невидимый костяк, кажется, они тоже учились или всё ещё учатся в институте, но давно уже не добираются выше первого этажа и приходят только сюда.

Здесь не бывает скучно, здесь царят лёгкие и нетребовательные отношения, здесь, разумеется, и не пахнет студенческим братством, какое там братство, какие узы: хочешь, оставайся, хочешь, иди, но это-то и прекрасно — беззлобное, раскрытое во все стороны, раздаривающее себя пространство. Этот внутренний буддистский настрой и ритм общения, возможно, сами того не ведая, задали хипы, которых, впрочем, здесь всегда не так уж и много, однако сачок быстро перенял их весёлый птичий язык и привычку сидеть на полу. С пола, однако, тоже гонят.

Но отче, отче! Я выхожу из института с тяжёлой головой. Лишь по дороге домой я вспоминаю, что сегодняшний день начался с храма, со службы, что, вообще-то, ранним утром я исповедовалась. Ещё в начале первого курса мой проницательный друг Иозеф (с которым Вы виделись однажды) предупреждал меня, что сачок — это обычное человеческое болото, пижонство и лишь иллюзия свободы. Сам он всякий раз проskalьзывает мимо с невероятной скоростью, а если кто-то окликает его, он только кивает. Но он максималист, ваш Иозеф, к тому же он и не привыкал к этому, от чего ему отказываться, а я, я, отец Антоний, совсем недавно проводила здесь половину своего институтского времени, но, честно говоря, даже и больше, да-да, часами бессмысленно сидела на сачке, и сколько раз он спасал меня от одиночества, растворяя все сложности и надломы в плавных колечках дыма, в легкомысленной болтовне.

И когда я крестилась, я вовсе от него не отшатнулась. В самое первое время наоборот даже, наоборот — всё это было очень мне по душе! Там одна жизнь, здесь другая. На то он и институт, чтоб в ём курить, празднословить и крепить чувство собственного достоинства. На то и церковь, чтобы молиться и думать о высоком.

И мне нравилась моя широта, могу и так, могу и эдак, с плачущими плачу, со смеющимися, натурально, смеюсь. В институте никто, кроме Иозефа, и понятия не

имеет, что я крестилась. Даже Ольке, моей лучшей подруге, я не сказала ничего.

Но отец Антоний, конечно же, теперь я всё яснее вижу: никакой широты и свободы тут нет и в помине, видите ли, вся эта духовная жизнь — она ведь или— или. Всю службу мне лезет в голову неизвестно что, то хочется пойти покурить, то всплывёт недавно услышанное солёное словечко, интонация и человек, его произнёсший, то вспоминаются истории про Дёмкусёмку — и как я могу не улыбаться, но тут же мне кажется, что все люди в храме недоумевающе покашиваются на меня. Мы тут благоговейно воспеваем «Верую», а она криво улыбается. Я не над «Верую» улыбаюсь, просто у нас в институте есть длинная, как палка, Дёмкина и толстый, коротенький её муж, по фамилии, знаете какой, Сёмкин! Отец Антоний, не выходит у меня сопрягать.

Я замечаю, что давно уже позавтракала и сижу на кухне перед пустой тарелкой, говоря сама с собой. Посуду я мою молча. Но после краткой передышки беседа продолжается, даже на улице я замечаю, что люди оглядываются на меня, — это они услышали, как я бормочу.

Пробеседовав так около недели и сочтя, наконец, мою речь совершенно готовой и отточенной, уже по дороге в церковь, уже нырнув в знакомую подворотню и проходя через двор, я вдруг понимаю: ответ совершенно очевиден, спрашивать больше не о чем.

8. Религиозный минимализм

В тот же день я вместо полпачки выкурила две сигареты. И вскоре совсем бросила курить. Подавленность, которой так пугали меня, продлилась, ну, может быть, дня четыре — но после утешений отца Антония исчезла совсем. Всё реже я стала появляться и на сачке, и ходила уже совсем не на все дни рождения и празднества, на которые меня звали. С некоторыми пришлось из-за этого раззнакомиться, но я не слишком жалела: Христа ради, ради Христа, Маша!

Триумфальное шествие моей веры свершилось на одном сейшене, они тогда как раз набирали силу, даже в наше захолустье приехал вдруг Юра Наумов, на затёртых плёнках мы его слушали, а тут — живой, высокий, с тёмными косматыми волосами до самых плеч. С бледным изломанным жизнью лицом.

Как было не пойти? И на Пашкиной квартире решили собраться. Своим бесплатно, кто подальше — по трёшке, с чужих — по пятёрке с носа. Я пошла за трёшку. Набилось тыща народу, сидели на полу, коромыслом стоял дым. И нервные, нестройные эти песни, и тонкое недоброе его лицо, поползший запах анаши, значит, кто-то тоже принёс, и так, почти нечувствительно вдруг в середине песни про халдеев (не знаешь, кто это? — послышался тихий шепот) начавшая касаться меня чья-то нежная рука. И так захотелось поглубже вдохнуть анаши, ведь не пробовала ж никогда, и обернуться, и поближе, потесней захотелось к руке, к плечу. Но как-то тут же я и встала, прям посреди песни.

Спотыкаясь, перешагивая через ноги, тела, через хриловатый матерок, Юра тоже остановился, оборвал на полуслове, глядя куда-то в пустоту, сказал почти раздражённо: «Ребят, так нельзя. Тут же всё такое... хрупкое!». И кто-то потянул меня за руку вниз: куда ты, дослушай, подожди... Но, сгорая от стыда: не могу, плохо мне, на улице надо. И меня отпустили, куртка моя свалилась из вороха, лежала на полу, слава Богу, я бросилась вон.

После Юры приехала новая звезда хипповского небосклона, аж из Питера, Леонарда, тоже сочиняла песни, тоже сейшена, но никогда никуда уже я не пошла. А и не хотелось. Телик я тоже перестала смотреть. Про посты рассказала маме, с железной четкостью, отвергая все компромиссы, и мама покорила, стала готовить два ужина — себе с папой, и — отдельно — мне.

И гордо мне было, и радостно, я ждала заслуженных результатов. Но, увы: никаких результатов.

Всё шло так же, как прежде, и по-прежнему негармоничнейшее чувство недостаточности накала, отсутствия в моем существовании настоящей духовной жизни скребло и скребло совесть. Сачок, курение, сейшена — это были просто самые яркие, самые бросающиеся в глаза вещи, заслонявшие тысячи других, теперь открывшихся, более мелких, менее заметных, но таких же засасывающих и приятных.

Конца этому видно не было.

И речи мои возобновились.

Я написала ему письмо. В жизни мне б было не сказать этого всего устно, вечная спешка, крестить, отпевать, венчать, и однажды сырым мартовским вечером я пришла из института домой, закрыла дверь и достала тетрадку. Вышло шесть страничек. В субботу, после всенощной я вручила письмо отцу Антонию.

В четверг отец Антоний спросил меня, буду ли я в храме в воскресенье, и сообщил, что ответ почти готов. В воскресенье после литургии он вышел ко мне и протянул белый конверт:

— Вот Вам ответ, Мария.

Я выскочила на улицу и здесь же, в церковном дворике, уже не слишком хорошо владея собой, опустила на лавочку, конверт был незаклеен — я достала три сложенных белых листа, плотно исписанных каким-то непостижимым каллиграфическим почерком с завитушками. Начиналось письмо с маленького крестика, нарисованного посередине. Страницы были пронумерованы.

Глаза бегали по строчкам, но смысл ускользал. Контакт? Есть контакт! Так и хотелось мне заорать это громко-громко. И ещё раз, уже чуть ленивей: контакт? Да ланна, есть контакт! Но читать было невозможно. Я взглянула на церковь, из дверей выходили люди с вербами в руках, знакомые лица, местные старушки. Они громко переговаривались, обсуждались пенсии. Кому-то куда-то перевели пенсию, а кому-то — пришла, а мы на вас не получали, идите, бабушка, в райсобес. Мне, славу Богу, восьмой десяток, райсобес автобус с двумя пересадками, я им буду ходить.

— Что ж, так и не пошла?

— Что сделаешь — пошла.

Старушки удалялись, и, открыв чугунную, витую калитку, вышли на улицу. Дворик был чист, земля оголена, деревья вот-вот должны были развернуть листья. Через неделю ожидалась Пасха.

Несколько успокоившись, я снова углубилась в письмо.

«Перечитал твоё письмо, — писал отец Антоний, опуская обращение, — и постараюсь в меру своих возможностей как-то ответить на очень важные и такие непрос-тые твои вопросы. Первое и самое главное — о жизни «не во Христе». Вопрос вопро-сов! Одно то уже хорошо, что с этого ты начала и что тебя это мучает. Не мучает эта

проблема либо вовсе духовно мертвых (= фарисейски самоуспокоенных) людей, либо уж святых (хотя я думаю, что святых эта проблема мучает особенно, только в качественно ином, нам неведомом, измерении). Христос действительно поддерживает, спасает нас от отчаяния, от тоски, от самих себя; спасает благодатно Своею, которая всегда побуждает нас к большему, чем то, что мы делаем в ответ на зов Господень. Религиозный минимализм — вот наше обычное состояние. Молитвослова, как обязательного свода ежедневных религиозных повинностей, нам, как правило, более, чем достаточно. Это необходимо, безусловно, как костыли необходимы человеку со слабыми ногами. Но если мы желаем предпринять дальний путь (= путь к Вечному), одних костылей так мало! Понимаешь ли, к чему я привел эту нескладную аналогию с костылями? К тому лишь, чтобы напомнить главное о духовной жизни (в т.ч. и о молитве) — как об этом Ап. Павел где-то говорит: «Ревнуйте о дарованиях больших...»

Теперь о том, что ты верно, по-моему, называешь, концентрированно душевным своим состоянием. Мне оно тоже знакомо. И характерно, что, например, земля, дождь, деревья или там летнее закатное солнце (у каждого — своё что-то, но общее — тварный мир, природа) — всё это способно с наибольшей силой питать нашу душевность. Это очень близко к языческому мироощущению, которое всегда ограничивается творением, забывая Творца или всецело растворяя Его в творении, наделяя творение совершенно независимыми от Творца, либо прямо божественными свойствами.

В таком видении мира всё становится, как в чудном сновидении, зыбким, неясно очерченным, порой призрачным, часто волнующим и неизъяснимо притягательным. И когда в сферу этих грез включается (произвольно или нет) другой человек, люди (тоже творение) — они также становятся объектом нашей душевности. И в таком состоянии хуже всего то, что оно отрывает нас от подлинной реальности, лишает необходимой трезвости — как состояния ума и чувств, противоположного состоянию опьянения. Результат такой душевной «безбрежности» — упоение человеком, тут же сменяющееся злобой и нетерпимостью.

Много я тут понаписал неясного, должно быть, — прости. Попытаюсь подвести какой-то итог более понятными словами. Мы должны (как это ни неприятно для ветхой нашей натуры) учиться ограничивать океан наших чувств, эмоциональности (= душевности) нашей. Только тогда откроется доступ в нашу душу благодатной духовности.

В связи с последней частью твоего письма уместно поразмыслить об отношениях с духовником. Для чего он? Вопрос не такой простой, как иногда представляется. Я думаю так: 1) для того, чтобы иметь возможность наиболее полной доверительной исповеди. Тут психология наша немало значит. Чтобы по-настоящему «открыть» сердце и «очистить» душу, — необходим другой человек, который выслушает тебя («точию свидетель»). Духовное возрастание предполагает потребность в более полной и глубокой исповеди (посмотри жития святых!). Легче (по-человечески легче!) таким свидетелем моей души иметь одного всегда человека, который, естественно, уже знаком с моей жизнью, с моими проблемами, с моей личностью. Повторяю, ведь исповедь — это почти всегда снятие печатей с самого сокровенного, к которому как-то противоестественно допускать многих. Есть исключения. Одно из них — известная древней Церкви исповедь перед всей общиной (или как бывало на общей исповеди у св. Иоанна Кронштадского). Но это — исключение (как в древности, так и теперь), ибо

это — особый благодатный акт, катарсис, который не может быть обычным состоянием в нашей обычности; 2) не всякий духовник = старцу, т.е. носителю особой харизмы, которая делает старца и пророком, и прозорливцем, и чудотворцем даже. Но послушание избранному духовнику, его слову, если оно не противоречит слову Божию, — послушание это само по себе ценно в очах Господних. Горе духовнику и его «послушникам», если он мнит себя старцем, а всякое его слово «послушники» объявляют вещанием Духа Святого. Сегодня есть немало трагических примеров такой обоюдной духовной нетрезвости.

Духовник должен трезво и осторожно вести ко Христу, а не заслонять собой Христа.

Прочего мы уже отчасти коснулись прежде, да и ещё не раз, конечно же, коснемся. Здесь я пытался поговорить о наиболее важном для тебя теперь. Написал я премного (не умею кратко и по существу!), но, быть может, так и не сумел ответить правильно. Если так, то вернемся к этим проблемам ещё столько раз, сколько понадобится.

Ещё раз скажу: не унывай, не смущайся сердцем от того, что не дается духовная жизнь, просто так и должно быть. Старайся воспитывать в себе усердие, молись больше умом и сердцем (а не только глазами и устами), заповеди Божии имей пред собою всегда.

Знай, что Христос никогда не покинет, даже если кажется, что нет Его рядом с тобой. Он с нами до скончания века. Аминь.

И.А.»

Странное дело, даже не вникнув ещё в прямое значение полученного ответа, сквозь, улавливалось свечение другого, потаённого смысла, не облечённого в физическое слово, пробивающегося через фантастическую опрятность почерка, интонацию, сквозь всю эту истовую старательность, какое-то ученическое почти усердие, каким дышал весь ответ. В конце концов в самой скорости, почти поспешности отклика слышалось всё то же: то, о чём я написала, было самое важное, жить не во Христе не возьмю, поэтому так быстро, поэтому так подробно он ответил. Не просто жить не во Христе, но и жить с мыслью, что жить не в Нём можно (потому что неизбежно) — уже падение. Вот какой религиозный максимализм прочёлся в письме, вот что не давало двинуться с места.

Однако и тем не кончилось дело. Прошло несколько дней, я снова увиделась с отцом Антонием. Он не дал мне и слова молвить.

— Ты знаешь, я написал тебе длинное и премудрое письмо, — он улыбнулся, — ты его прочитала?

— Да.

— Ответил я на твои вопросы?

— О, да!

— Так вот теперь ты его положи куда-нибудь подальше, потому что, понимаешь ли, — он немного замаялся, — это всё очень хорошо — во Христе, не во Христе, я об этом долго вчера думал, но это всё-таки немножко, ну, может быть, на самый кончик, — он показал кончик мизинца, — красивые мечтания, тщеславие, понимаешь? Во Христе

— не во Христе, это от большого ума. Не надо. Ты будь поглупее. Ты вот всё думаешь-думаешь, мне уже 18 лет, привыкла, не привыкла... Ты не обижайся, но ты ещё такая маленькая, — он засмеялся, — да мы все, все мы — в духовной жизни младенцы. Живи как живешь, выполняй заповеди, ходи на исповедь, молись. И всё. У тебя молитвослов-то есть?

— Есть.

— Утреннее-вечернее правило читаешь?

— Не всегда.

— Ну вот. О чём тут можно говорить? Вот тебе и не во Христе, прости Господи, — он перекрестился. И пошёл.

Точно в сказке, после этого наставленья клубок изъевших меня мыслей вдруг откатился, внутри проклёвывалось что-то совершенное новое, чистое, неразумное. Последним соображением, пришедшим мне, было то, что, в сущности, вся эта преждевременная дряхлость и старение души, все эти лермонтовские двадцатипятилетние старички — дело тьмы, заведующей смертью, свет не знает старости, в свете все вечно молоды.

Душа проснулась. И оказалась дитёй. Жмурилась от солнышка, легко радовалась и легко грустила, утирала слёзы, улыбалась, когда всё было хорошо, поводила глазами с удивленьем, доверчиво жалась к вчера ещё незнакомому ей бородатому дядьке. Сначала я глядела на неё почти взглядом постороннего, это ведь не я была, себя я знала — я была сложней, злей, осторожней, а эта — дура душой. Дурочка такая, но иногда вдруг она умела заговорить с Богом, как не сумела бы я, обращалась к Нему запросто, с почти родственной простотой, и я смотрела, боясь шевельнуться, немея и глохня, на это чудо рождения, Господи Боже мой!

Но она всё чаще стала толкать меня, неповоротливую, в бок: пиши, пиши про меня! Про мою таинственную младенческую жизнь. Давным-давно уже бросила я вести дневники, хотя вела когда-то, но почти в детстве, в отрочестве, лет до пятнадцати, а в последнее время всё страннее мне казалось объективизировать свои чувства, описывать прошедшие события — остановись мгновенье, ты прекрасно? Возможно, и не стало у меня больше таких мгновений.

Но тут и сопротивляться было невозможно, я послушно купила в канцелярском отделе нашего институтского книжного толстую чёрную тетрадь и стала писать чуть не под диктовку, изо всех сил стараясь не мешать.

Часть вторая. ВОЛШЕБСТВО ПРАВОСЛАВИЯ

1. Муки рождения

14 января. Была в храме. Причастилась Святых Христовых Таин. После литургии батюшка благословил меня и подарил просфорку. Долго шла домой, смотрела, как падает снег, ловила его лицом, потом пошла прокладывать заметённую тропинку в парке, всё время молилась и не знала, что мне сделать ещё от этого невыносимого счастья.

16 января. После службы говорили с о.Антонием несколько минут. Он благо-

словил молиться по чёткам (Иозеф подарил к церковному новолетию), когда выдастся свободная минутка. Сказал, что чётки нужны просто для удобства, чтобы не отвлекаться, и пока что достаточно проходить их один раз, больше не надо (в чётках 50 узелков).

18 января. Рассказала сегодня Оле, что недавно крестилась и хожу теперь в церковь, и звала её с собой. Она удивилась и сказала, что ей это совсем не нужно пока. Что это ведь для тех, кто слабый. Но я её уговаривала, и она согласилась как-нибудь вместе сходить.

19 января. Освящали воду, было очень много народу, все толкались, бабки, и я так расстроилась, что даже не причастилась. И не взяла воды.

20 января. Исповедовалась в осуждении бабушек в церкви. Они злые! Отец Антоний ответил мне, что в церкви такие же грешные люди, как и повсюду, которые росли в той же стране, и этих бабушек с банками не нужно осуждать: они прошли через всё, и многие только в этот день, раз в году приходят в храм, взять святой водички.

— Тихон, патриарх Московский, знаете, как говорил, — «платочки Русь спасли».

25 января. Олька приходила ко мне в гости и жаловалась на свою жизнь. У неё несчастная любовь. Я её утешала, чувствовала себя странно взрослой и уверенной. Снова звала её в церковь. Она говорила: «Надо, конечно», но так и не договорились пока.

1 февраля. Пожаловалась отцу Антонию на Олю. Что хотя она и близкая моя подружка, но в церковь со мной не хочет идти. Ей только нравится, когда я её выслушиваю и утешаю. И некоторым другим моим знакомым тоже это очень приятно.

Отец Антоний даже рассердился:

— Займитесь своей душой! Поле деятельности огромное. Ваше утешение, мудрость могут оказаться плотскими, душевными, а человек, возможно, нуждается в утешении духовном. Такое утешение может дать только очищенный сосуд, чистая душа. И то, если Бог позволит, не всякому святому это дается. Бывает, что человек свят, а не искусен. До последнего момента надо отказываться, и только, если уж поставят — со страхом Божиим, с трепетом. А думать, что можешь кому-то помочь, это гордо, Мария! Спасись сам, и тысячи вокруг тебя спасутся! По слову преподобного Серафима.

7 февраля. По-прежнему чувствую себя несколько чужой в церкви, немного неловко прикладываться к иконам, ставить свечи, целовать крест. Кроме того, я ещё не знаю хорошо всех правил, когда креститься, когда вставать на колени — это тоже меня сильно смущает.

Поделилась своей скорбью с Батюшкой.

Он ответил мне, что это преодолеется постепенно.

— Сами не заметите, как привыкнете. Просто для всего нужно время. Сначала этого не понимаешь, хочется всё побыстрее, всех переделать, всех спасти и самому за неделю стать святым. И только теперь я вижу: должны пройти годы. Жизнь христианская — это именно возрастание, вращение в святость, к которой каждый призван,

— но медленно, медленно. Ведь все благодатные перемены в человеке — не по его делам, а по действию в нём Духа Святого. А Дух дышит, где хочет, когда хочет, — нужно большое смирение, чтобы не мешать Ему своей нетерпеливостью, спешкой. Бог и так знает про нас в сё.

Как вести себя в церкви? Как все. Куда все, туда и ты, не задумывайся слишком. Все встают на колени, и ты вставай, все крестятся, и ты крестись. За бабушками всё и повторяй.

15 февраля. Сегодня великий праздник. Сретение Господне. Симеон и Анна встретилась с Младенцем Христом. По Голосу Америки прочитали стихи Иосифа Бродского. Батюшка произнес проповедь, что к встрече с Богом нужно готовиться, как пророчица Анна и старец Симеон, целую жизнь, и, может быть, только в самом конце... Но и то — если готовился.

Поговорить, к сожалению, совсем не удалось. Кажется, что иногда батюшка нарочно не хочет ни о чём разговаривать, убегает. А у меня вопросы. Я так многого не понимаю. Но вечно надо подстергать и ловить. Бывает очень обидно.

24 февраля.

— Отец Антоний, я всех в институте осуждаю. Они живут так плохо, особенно в области личной жизни.

Отец Антоний очень встревожился.

— Ни в коем случае! Это так опасно. Сегодня осудишь, а завтра сам согресишь ещё горше! Им же просто не объяснили... — взгляд у него сделался печальным. — Но у них тоже свои скорби, и они столько несут. Особенно девушки, женщины. Ты ведь не знаешь.

9 марта. Как я устала от служб и однообразия духовной жизни. Всё одно и то же.

Правда, начался Великий пост, первый в моей жизни. Покаянный канон мне очень понравился, но сейчас опять какая-то сплошная проза.

11 марта. Я целовалась с Алёшей. Неделю мы просто болтали, а сегодня он пошёл проводить меня до подъезда, и всё произошло. Я так давно этого ждала, но почему-то сейчас немного разочарована.

И ещё мне как-то плохо внутри, что всё-таки придётся это сказать в церкви. Даже если это не грех. Но это, конечно, грех. Тем более сейчас Великий пост. И мне не хочется пока никуда идти, по крайней мере завтра. Пусть ещё чуть-чуть.

12 марта. Что сегодня было. Плачу. Напишу потом.

13 марта. Вчера я не пошла на исповедь, но всё-таки пришла в церковь и стояла на службе. Всю службу я думала про Алёшу. Он мне не позвонил ни разу за весь день. Из-за этого я даже пошла на службу и молилась, чтоб он всё-таки позвонил. Я хотела уйти, не дожидаясь отца Антония. Но он сам вдруг подошёл ко мне, сразу после часов, спросил, как мои дела. И я во всём призналась, как-то даже немного назло.

Он слушал, смотрел очень спокойным взглядом, но я уже не знала, куда деваться от стыда, и, выслушав всё, батюшка сказал, что раз так, надо за Алёшу выходить замуж. Я так растерялась, что даже не успела ничего возразить. А он уже быстро ушёл. Но я

не люблю пока Алёшу. Мне просто с ним приятно быть, как же сразу замуж? К тому же, он мне так и не позвонил.

25 марта. Уже две недели я даже не подходила к бабушке. Всё никак не могла расстаться с Алёшей. Но мне было всё хуже и хуже, и сегодня, наконец, я не выдержала и сказала Алёше, что вообще-то сейчас Великий пост, и не могу я с ним больше целоваться. Вместо сочувствия он начал снова ко мне приставать. Я сказала ему, что если это всё, что его интересует, то вообще не нужно встречаться. И мы поссорились. Зато теперь я могу нормально ходить опять к отцу Антонию. Но на душе всё равно тяжело и как-то пусто.

26 марта. Сегодня и была, быть может, первая настоящая в моей жизни исповедь. Я рассказала не только про Алёшу, но и про всё, что было со мной до крещения. О чём никогда никому ещё не рассказывала. И до сих пор я в каком-то благоговейном ужасе и вдруг наставшей после исповеди глубине: как важно всё, что происходит. Как каждое мгновение происходит что-то. Доброе или злое. И надо будет дать ответ. Как страшно мне было сегодня. Но я всё-таки сказала. И как тут же переменялся отец Антоний, и вдруг весь раскрылся навстречу, не стал удаляться от меня, такой грешной, а наоборот — и это тепло обожгло. И Господь был совсем рядом.

28 марта. Попросила благословения у бабушки на ежедневное чтение Псалтыри. Всё-таки Великий пост. Бабушка не благословил.

— Сосредоточься пока на утреннем и вечернем правиле, чтобы постигать каждое слово, ничего не упустить.

Я спросила:

— Как же, Вы всё время говорите мне поменьше молиться, а у апостола Павла сказано: «Непрестанно молитесь».

— Ты не дочитала, там ещё сказано про мягкую и твёрдую пищу. Тише едешь, дальше будешь. Шаг вперёд, два шага назад. Там же сказано.

— Это не там!

— Там, там, — отец Антоний прячет в усы улыбку.

31 марта. Алёша пришёл ко мне сегодня вечером, немного пьяный, просил прощения, сказал, что, правда, очень любит меня и что в этом мире у него нет никого дороже. Я слушала его спокойно, как сестра, утешала. Но он был нежный и мягкий, и нам было хорошо. В конце встречи Алёша даже заплакал и попросил обнять меня на прощанье. Я разрешила. А он опять не сдержался. И я тоже. И опять мы сидели у меня в комнате, обнявшись, наверное, целый час, пока родители не пришли с работы.

2 апреля. Бабушка наложил на меня е-пи-ти-мью. Первый раз в жизни. И в первый раз был со мной очень жёстким. Он сказал мне, что это — блуд. Что блудники Царства Божия не наследуют и что причащаться мне пока нельзя. И чтоб каждый день по земному поклону утром и вечером со словами «прости Господи!» До самой Пасхи. И даже на меня не смотрел и прям дышал весь строгостью и, по-моему, даже неприязнью.

Но почему-то сквозь печаль прорывается и радость, что отец Антоний так заботится обо мне. Наказание — это ведь тоже любовь.

19 апреля. Великий Четверг. Сегодня я причастилась первый раз после того, как не причащалась почти три недели. И сердце согрелось. И отец Антоний наконец-то был снова хороший, любил меня, и как будто вообще ничего не произошло. Удивительно, что и в Алёше я разочаровалась за эти дни до конца, я, как и посоветовал мне батюшка, сказала ему, что нам всё-таки нельзя встречаться. И сначала он вообще не приходил в институт целую неделю, я даже начала волноваться, а потом пришёл и тут же на моих глазах стал с кем-то любезничать, наверное, нарочно, и от этого меня вообще чуть не стошнило, я совсем его разлюбила, до конца. Только очень редко вспоминаю.

Через неделю уже Пасха.

22 апреля. Ходила ночью на Пасхальную службу. Она прошла так быстро и легко. После службы батюшка подарил мне яичко с голубыми цветами. Было светло и тихо на улице, когда я шла пешком домой. И такой родной теперь в этом смысл: Христос воскрес!

24 апреля. Алёша совсем ушёл из моего сердца, и вдруг я догадалась, почему же так быстро. И спросила батюшку:

— Отец Антоний, а Вы молились, чтобы у меня всё кончилось с Алёшей?

— Маша... — и посмотрел на меня с какой-то мукой почти. — Да.

1 мая. Родители зовут меня на выходные на дачу, там надо работать — но ведь в субботу и воскресенье службы. Попыталась отказаться, но они тут же обиделись. Поделилась этим с Батюшкой. Он ответил, что любовь выше всего. Надо обязательно поехать, помочь и утешить их.

10 мая. Сегодня вспомнила своё давнее увлечение, повторявшееся и после крещения, и призналась в нём Батюшке.

— Курила? — неподдельное изумление.

— Да разве это грех?

— А разве добродетель? Ты что ж спрятаться хотела от Творца Вселенной?

— Как это?

— Укрыться в клубах дыма?

Удивительно, что что бы не говорил Батюшка, как бы не ужасался, тревожился, всегда, всецело он за тебя, на твоей стороне, против грехов, но за тебя, за твою душу. И хорошо, что часто сквозь серьёзность проступает весёлость, он любит пошутить.

14 мая. Сегодня я вошла в храм возбуждённая, с шумной весенней улицы, довольная своим чудесным настроением.

— Отец Антоний, я сейчас так радуюсь!! — и жду поощрения. Но натыкаюсь на тихий взгляд.

— И очень хорошо, что радуешься. Только — это ведь... не та радость.

Или ещё, не так давно:

— Что-то я всё время веселюсь.

— Ну и замечательно.

— А как же «многими скорбями»...

— А ты думаешь, все твои скорби кончились? — глаза у него смеются.

1 июня. Перед экзаменом по исторической грамматике заехала в церковь, просила Батюшку помолиться об удачной сдаче экзамена. Он благословил меня и сказал, что будет молиться.

Сейчас я вернулась домой. Экзамен сдала на пятерку. Теперь, если с зарубежкой всё будет хорошо, получу повышенную стипендию. После экзамена мы собрались всей группой и пошли в кафе. Почти все сдали хорошо.

4 июня. Спросила отца Антония, пересдавать ли мне немецкий (сдала экзамен на 4, и будет меньше стипендия).

— А ты знаешь на 5?

— Нет.

— Тогда о чём разговор?

9 июня. Батюшка сказал, что сразу после Троицы уходит в отпуск и целый месяц его не будет в городе. Я не показала виду, что расстроилась, но после церкви, признаюсь, немного поплакала.

14 июня. Батюшка в отпуске, и это очень печально. Чувствую себя сиротой.

18 июня. Сессия кончилась.

Через неделю едем в фольклорную экспедицию — в Кировскую область, собирать фольклор.

22 июля. Вернулись, в экспедиции было замечательно, новый и совсем другой мир русской деревни. Наши бабушки терпели столько! Мы работали вместе с Олей в паре и подружались ещё больше.

25 июля. Оля зовёт плыть на байдарках — с ней и ещё с тремя её старыми друзьями, физиками из университета, они сейчас на пятом курсе. И ещё с одной девочкой с французского отделения. Всё выяснилось совершенно неожиданно, ребята вчера позвали её и сказали, чтобы она тоже пригласила каких-нибудь своих подружек. Оля решила позвать меня и Ленку. Но я как-то очень волнуюсь от всего этого. Я же совсем никого там не знаю. И будет идти Петровский пост.

27 июля. Мучат сомнения, может, и не стоит ехать? Я же ещё совсем не твердая в вере. А там, конечно, с христианством будут проблемы.

28 июля. Спросила отца Антония про поход, ехать или остаться. Он узнал у меня, кто собирается ехать, сколько человек, и потом спросил: «А тебе самой хочется?». Я пожалала плечами — хотя про себя мне и хотелось, но всё-таки не ужасно.

А он вдруг сказал:

— Ну, и не надо, не езжай.

Я кивнула и пошла домой. Но уже по дороге мне так захотелось поехать, что просто не могу, и не знаю, что с собой делать. Никогда ещё я не плавала на байдарках, а тут лето — в Москве! А у них там будет жизнь — на природе, с костром, с зелёной речной водой.

Но идти к батюшке и опять переспрашивать — неудобно уже.

(вечером) Весь вечер промучилась и совершенно обозлилась, что у этих православных вообще ничего нельзя, а я вообще-то никаких никому не давала обетов! Всё мне позволено. Но тут, как обычно, уже к ночи, позвонил Иозеф, и мы проговорили целый час. Иозеф сказал, что это особенность благословения — его всегда хочется нарушить. У него был похожий случай, он спросил, идти ли ему в одни гости, духовник сказал: нет, а он всё-таки не смог отказаться, сходил, а после этого болел две недели гриппом.

Но я бы поболела и гриппом, а перед этим съездила бы в поход.

3 августа. Спросила батюшку, можно ли будет в Успенский пост есть рыбу. Мама очень этого хочет.

Батюшка ответил:

— Нужно! И как можно больше.

19 августа. Уже почти осень. Но на улице солнечно и тихо. Две недели я жила вместе со всеми на даче, а к празднику приехала в Москву. Всё это время было уныние, что так никуда я и не поехала. Сегодня исповедовалась во всём батюшке, а он посмеивался, называл меня «Машенька» и сказал, что Царство Божие нудится, но видя, что всё равно я безутешна, вдруг посмотрел на меня очень внимательно и строго и сказал: Слава Богу, что не поехала. Слава Богу, что не поехала.

Как будто он знал что-то, чего не знала я. Как будто отчетливо различал ту ускользающую от меня невидимую цель, к которой ведёт меня. И после этих слов вдруг точно кто-то убрал ладонь с глаз, свет хлынул потоком, я замерла.

2. Правило Веры

Взят в руки целый мир, как яблоко простое.

Мандельштам

Хлынул свет, ангелы запели. Истекал тот переходный год, кончались муки рождения, и делалось всё светлей. Чудовищная прозрачность сжимала в тиски, суть предметов лежала на ладони, предметы светились насквозь. Мне хотелось орать от восторга, петь и кричать на всю улицу стихиры и церковные песнопенья. Яко Ты еси источник живота. Во свете Твоем узрим Свет! Я всё поняла, я знала, как жить, как думать, куда идти. На все, все случаи жизни был ответ. Это было великое сокровище, но свят Господь Бог наш! оно запросто помещалось в кулаке. И как же хотелось мне поделиться, разжать ладонь пред тысячью, миллионом исстрадавшихся, горящих тоской и жадной счастья глаз, — смотрите, смотрите, скорее!

Утром и вечером нужно читать молитвы, утренние и вечерние. Нужно читать их всегда, даже если вечер поздний, слипаются глаза и подкашиваются ноги. Так угодно нашему Господу.

Обязательно читать каждый день и Новый Завет, одну главу из Евангелия, две из Посланий святых Апостолов.

В субботу надо приходить на всенощную, в воскресенье — на литургию. Также поступать в двенадцатые праздники. На исповеди от всей души каяться в грехах, а

очистившись в таинстве покаяния, с благоговением, со страхом Божиим принимать Святые Тайны. Если покался от души, больше не согрешишь, но если снова впал в тот же грех — покайся снова! Иди неустанно, шагай вперёд.

После Причастия руку священнику не целуют, и то, что с косточками, не едят. Если всё же пришлось, косточки выплёвывать и сжигать в костре. Если нет костра, можно сжигать прямо дома, пользуясь пепельницей и спичками. Зубы в день Причастия вечером не чисть.

Благочестие не в высоких мыслях, а вот в этих обыденных мелочах, которые на самом деле совсем не мелочи. Потому что ты принял Тело и Кровь Господа нашего. Иисуса Христа.

Достойных принять их нет, но Бог милостив.

Бог милостив, но справедлив. Он любит праведников и кающихся грешников, а забывших Его отторгает, их посмертная участь ужасна. Не пройдёт и сорока дней, они попадают в ад и слышат там скрежет зубовой.

Мы не они, мы стараемся, хотя, конечно, и мы тоже грешные люди.

Мы люди, но мы православные христиане, мы исповедуем единственную в мире истинную веру, самую, по сравнению с другими конфессиями, чистую и правильную — за это ежедневно! надо благодарить Бога.

А если всё равно что-то всё-таки непонятно, встань у иконы, закрой глаза, воздохни от сердца, и Господь откроет. Господь обязательно поможет. Господь помогает всегда! Может, не сразу, но и ты будь упорен. В духовной жизни свои законы. Согрешил, жди богооставленности, Бог гордым противится. Сделал доброе дело — жди искушенья. Настали неприятности — смиряйся.

Однако и из неприятностей ушла их горькая едкость, это были не неприятности! Это были искушения. Это моему спасению препятствовал сам дьявол. Навязчивые мысли были не мысли — помыслы. Тоска была не тоска — душевность! Эти новые имена для старых состояний странно облегчали дело.

Целая жизнь вдруг поджалась, втянула иглы, колючки, неровности, целая жизнь вдруг сделалась шаром и плавно закачалась в надёжном гамаке, в крепкой сетке ясной терминологии, новых, таких понятных причинно-следственных связей. Согрешил — покайся. Не покаешься — заболеешь. Не заболеешь — получишь воздаяние на Страшном Суде.

Но если, если всё же что-то оставалось нерешённым, смутным, надо только узнать расписание, в нужный день дожидаться конца службы и подойти к батюшке. Он обязательно скажет. Он знает всё. У него благодать священства и громадный опыт.

После первых притирок и недоумений отношения наши с отцом Антонием зазвенели всё той же прозрачной ясностью и простотой. Он был моим духовным отцом, я звалась его духовной дочкой. Слава Тебе, показавшему нам Свет!

3. Петра

Тут-то и появилась Петра.

Собственно, появилась она гораздо раньше, почти сразу — спустя несколько недель после дня моего крещения. Её свежее, раскрасневшееся с мороза лицо, с большими, тёмными, прекрасными глазами неожиданно приблизилось ко мне в середине литургии. Я сразу же узнала её, с ней мы тоже вместе учились в нашей спецшколе, но Петра была чуть постарше, года на два-три. Петра уже оканчивала десятый класс в

том году, когда мы заметили и отметили друг друга. Точнее, это Петра отметила меня, и я с трепетом это почувствовала, мы даже поговорили несколько раз на переменах, но потом Петра поступила в университет (в нашем Гуме не было итальянского отделения, а Петра в то время сильно увлеклась сонетом) и только изредка заходила в школу навестить нашего учителя по литературе. Она по-прежнему здоровалась со мной, но заметно замкнулась и больше молчала. Вскоре я тоже окончила школу, поступила в другое место, и мы вовсе перестали встречаться. Мы не виделись уже два года.

— Поздравляю! — проговорила Петра и расцеловала меня в обе щеки.

— С чем?

— Ты же крестилась! — напомнила Петра и улыбнулась.

Откуда-то ей это было известно. Глаза у неё сияли, косынка сбилась, из-под косынки торчала чёрная расчёпанная коса. И от этого чужого веселья обо мне сердце у меня сжалось.

— Вот мой телефон, — протягивала Петра бумажку, — обязательно позвони! А я сейчас спешу на крестины, сюда только на минутку.

После этого Петра поцеловала висящую рядом икону и растворилась в толпе.

Конечно, я не позвонила ей. Но мы часто стали видеться. Петра тоже любила приходить сюда, и в ту раннюю пору знакомства всякая наша встреча была для меня только той же радостью, тем же светлым весельем и вдохновением веры, что и в первый раз.

Однако медленно, медленно шло наше сближение, Петра нравилась мне очень, но была слишком уж пугающе прекрасной и далёкой. Мы поздравляли друг друга с праздником, узнавали расписание отца Антония, вместе поджидали его после службы, и ещё почти год дальше дело не шло. Потом Петра подарила мне книжку, выпущенную самиздатом. Это была беседа Серафима Саровского с Мотовиловым и его краткие наставления. Потом снова дала телефон (пришлось соврать, что ту бумажку я потеряла) и наказала позвонить строго-настрою.

На этот раз я позвонила. Петра звала в гости.

Ещё гуще, чем у Иозефа, квартира её была завешана иконами, лампадами, фотографиями известных и неизвестных мне лиц, все лампадки теплились, над дверью в кухне висело деревянное распятие; в больших мрачноватых комнатах (Петра жила на первом этаже) было душно, тихо — я почувствовала себя несколько одуревшей.

Петра угостила меня чаем. Разговаривать с ней оказалось трудно, слишком много в ней было молчания, закрытости, тайны. В нескольких словах Петра рассказала, что год назад вышла замуж и бросила университет.

— Почему?

— Батюшка благословил.

— Но ты его попросила?

— Я ему объяснила, он согласился со мной и благословил.

— А почему?

— Разве непонятно?

— Нет.

Петра молчала.

— Может быть, мне тоже уйти?

— Уходи.

— А что я тогда буду делать?

— Чтобы откуда-то уйти, надо, чтобы было куда прийти.

— А ты куда пришла?

— Сюда, — Петра показала на комнату. Или на иконы? Улыбнулась.

— Хочешь ещё чаю?

Мы пили чай, молча. Но казалось, Петру наше молчание совсем не тяготило.

— Обязательно приходи ещё! И звони мне, — опять засияла она глазами, прощаясь со мной. — Я так тебе всегда рада.

Не поверить было невозможно. Но я возвращалась домой в недоумении. Почему она молчит? Она что ли всё время про себя молится, ей не до разговоров? На правой руке у неё я подглядела небольшие, светлые четки.

Мы стали встречаться немного чаще и звонить друг другу. Я ещё несколько раз побывала у неё и начала кое-что понимать.

Была и Петра человеком иным, из другого мира, смотрела и она на этот мир не прямо, а чуть искоса, чуть не отсюда. И удивительную вела жизнь.

То было существование подпольное, потаённое, для непосвящённого взора неясно-сумеречное и страдальческое. С прежними университетскими и школьными знакомыми (неверующими) Петра порвала, от них скрывалась, по вечерам звонить ей лучше было с прозвоном, через два положить трубку и снова набрать номер. Она нигде не работала, только несколько раз в неделю гуляла по утрам с соседским мальчиком и получала за это 40 рублей в месяц. Муж её редко бывал дома, видимо, он возвращался только поздно вечером. «Из библиотеки», — объясняла Петра и никогда лишней раз не вспоминала о нём. Я видела его два раза в нашей церкви — с быстрыми карими глазами, светлородый, подвижный, несколько нервный, при этом очень светский и элегантный (даже в церкви это было заметно) — он совсем не походил на медлительную, молчаливую Петру в платочке. Его звали Костя. Они познакомились в университете. Костя был аспирантом и преподавал у первокурсницы Петры итальянскую грамматику. Ко второму курсу они поженились, а на третьем Петра бросила университет.

Больше она не совершенствовала свой итальянский, не изучала синтаксис Петрарки, зато: посещала все-все службы, не ела мяса, не вкушала пищи до двенадцати часов, читала одни православные книги на чисто русском языке и подолгу молилась в уединении — иначе я не могла объяснить её игнорирование телефонных звонков, с прозвоном и без, даже когда я доподлинно знала, что сейчас она находится дома! Всё было отдано Церкви, всё поставлено на карту — не истинный ли подвиг вершился перед глазами?

И всё-таки больше всего удивило меня другое: то, как Петра разговаривала с отцом Антонием.

— Отче, ты не знаешь, когда лучше... — подслушала я однажды, но дальше уже не могла слушать: «Ты!» ОТЧЕ, ТЫ! Я не верила ушам, вслушалась снова, и снова:

— «ТЫ» посмотри на другой странице.

И отец Антоний — ничего, хоть бы что, стоял, слушал, спокойно отвечал ей, точно это было так естественно назвать его на т ы.

В другой раз придя на службу, я встретила только Петру, отца Антония, несмотря на расписание, не было.

— Он заболел, по телефону сказал, что горло болит, не может давать возгласы. Я снова застыла: по телефону! Болит горло. Петра звонит ему по телефону. И он гово-

рит ей не о спасении души, а о том, что у него болит горло! Значит, и это можно??

Но о чём же говорить с ним по телефону? Он, конечно, дал и мне свой номер, после первого же нашего разговора, сказал, если что понадобится — звоните. Но единственная ситуация, которую я сумела придумать, это — моё предсмертное состояние, слабеющим голосом я прошу маму найти в книжке телефон отца Антония и сообщить ему, что я, Иоханна Мария, при смерти, и молю, умоляю его приехать для последней исповеди. Больше ничего выдумать я не могла.

— А ты разговариваешь с ним по телефону?

Петра кивнула.

— О чём же вы разговариваете? — пробормотала я, настолько диким и невозможным казалось мне всё это.

Петра замялась.

— Обычно что-нибудь по делу. Вчера я звонила ему по поводу одной книжки...

Я благоговейно замолчала, но долго ещё думала об этом с искренним ужасом: позвонить ему самой по телефону и что-то говорить! Всё во мне ёжилось и недоверчиво улыбалось.

Петра была авторитетом. В Петре была сила. В Петре была отречённость и жертвенность. Петра всё оставила ради Христа. Жила в бедности, бросила удобный университет, молилась и была допущена в мир иной, в мир «ты» и телефонных разговоров. Исполволь я стала у неё учиться.

Ученье было плодотворно: незаметно она вставляла то щепочку, то проволочку, то подкладывала шарик, и все эти мелкие, почти неприметные предметы испускали таинственное излучение, делая знакомый трёхмерный мир двоящимся, разбегающимся, плывущим — новые, неприятно задевающие плоскости и объёмы манили дальше, за новый поворот, на новую ступеньку. Голова у меня шла кругом.

4. Накануне Россия Успенья

Как-то ранней осенью Петра созвала в гости сразу несколько человек, всех своих новых недавно появившихся православных знакомых.

Там были: Петрин светлородый муж Костя, сутуловатый печальный Феодор с сильно отросшими кудрявыми волосами, уже подёрнутыми первой проседью, — программист, его сестра Анна, живостью и подвижностью своего характера являвшая полную противоположность заторможенности и всегдашней внутренней сосредоточенности брата, выпуклоглазый, бородатый, с волосами, забранными в косичку, Георг.

К столу поданы были картошка в мундире и чай, не без грусти я вспомнила, что мяса в Петрином доме не едят.

Общество обсуждало паломнические поездки.

Федя с сестрой побывали в Пюхтицах и Риге, у него там много было искушений, каких он, правда, не рассказал, но отметил со строгостью: «Там я по-настоящему понял: мы на войне. Ясно стало, почему люди всё крестят — и стул, и еду, и воду перед умываньем — всё заполнено бывает врагом! Кусок лишний боишься съесть». Петра с Костей проехали по грузинским монастырям, Георг посетил Оптину. Всем было, что рассказать. Все многое обрели в этих поездках, многому научились.

— Ну, а ты где была? — обратилась ко мне Анна.

— А я, я в фольклорной экспедиции, на практике.

После второго курса всех обязательно посылали туда, мы работали в паре с

Олькой, с которой, как только она вернулась из байдарочного похода, мы тут же помирились. Когда бабушка пела песни или частушки, Олька записывала нечётные строчки, а я чётные. Мир русской северной деревни оказался полон глубокого очарования и достоинства, это было второе удивительное открытие этого лета... Но сейчас, кажется, речь шла о другом?

— С бабушками? — попыталась помочь мне Петра, посвящённая в путешествие.

— Да, в деревне, они тоже все там верующие, — с трудом выдавила я и осеклась. Я вспомнила разрушенные церкви без куполов, в каждой, даже небольшой деревне была такая церковь, однажды какой-то, уже не слишком трезвый мужчина лет пятидесяти, в грязных обвисших штанах остановил нас с Ольгой посреди дороги и начал жаловаться.

— Церковь была б, не пил бы! Порушили всё, а какая церковь была. Мама моя туда в детстве ходила. Отец. А теперь что — клуб, всё современное, танцы! — он издевательски начал изображать, как теперь танцуют, но покачнулся. — Так я уже старый. Соберёмся с мужиками после работы, и в магазин. А что делать? А была бы церковь, пошли бы на службу. Вот тебе крест, не пил! — бормотал он и перекрестился в неправильную сторону.

Что ж душеполезного в такой истории? И я сказала:

— Бабушки ещё столько всего помнят: песни, колыбельные, сказки, былички.

— Это что такое? — спросила Анна.

— Это истории, которые как будто бы случались на самом деле, о русалках, домовых, леших.

— Господи помилуй! — перекрестился Феодор. За ним тут же, три раза, мелко перекрестилась сестра. Я смолкла, но про себя рассердилась. Разве я сказала что-то нехорошее? Но с тех пор я старалась побольше молчать на этих собраниях.

Осуществить это было нетрудно, наши православные посиделки вскоре выродились в пространные монологи Георга. Специально для того и стали все приходиться — послушать Георга. Он доставал где-то редкие запрещённые книжки. От него я впервые услышала имена Нилуса и православного американца Серафима Зоура.

Георг зачитывал отрывки из этих и других книг и подробно, но мутновато комментировал, комментарии его, как ни напрягалась я, пестрели какими-то неясными (и, видимо, от этого казавшимися несколько зловещими) аллюзиями, Георг точно всё время на что-то намекал, что-то умалчивал, о чём и упоминать вслух не стоило — все и так понимали. И все, кроме меня, понимали. Часто употреблялись слова «монархия», «кровь», «последний» (-я / -ее), «мы», изредка, но совершенно с особенной, шипящей какой-то интонацией произносилось слово «он», «его число», «печать», «блудница», «рога» и т.д. и т.п. Однажды Георг даже прочитал свои стихи, ещё менее внятные, построенные на тех же словах и интонациях, из всего прочитанного мне врезалась в память единственная относительно понятая мною фраза: «Накануне Россия Успенья...».

Все слушали Георга серьёзно, с суровыми напряжёнными лицами. Никто никогда не задавал вопросов. Затем также немногословно, напутствуя друг друга выражениями «С Богом! Ангела Хранителя в дорогу!», расходились.

Я возвращалась с тяжёлым сердцем. Всё, что происходило у Петры, казалось недостижимо высоко и далеко. Люди, которых я видела, представлялись почти небожителями: они не только понимали и сочувствовали тому, что говорил Георг, не только (в отличие от меня) ясно ощущали приближение Второго пришествия — они жили по-христиански! По углубленности Петры, Феодора, Георга сразу было заметно, что

они непрерывно молятся. Костя в чём-то был поближе, понестрашней, но и он тоже был с ними. А я...

— Батюшка, я была у Петры. Там все такие настоящие христиане, живут духовной жизнью, постоянно молятся, а летом все, оказывается, ездили в паломнические поездки. Одна я не была!

— Ну, и поезжай тоже, слава Богу, много всего открывают сейчас. Поезжай, я тебя благословляю.

И я поехала.

5. Святая земля

Только-только вернули Оптину, пообещали Дивеево, нашу пригородную детскую колонию переселили и населили в неё нового монашеского народа — туда, в Тихвинский, мы и поехали с Иозефом, ближе всего было от нас, три часа езды. Мы были в монастыре всего два дня, переночевали, одна послушница, Иозефова давняя знакомая, подарила по ватке, которой отёрли миро со здешней иконы — икона замироточила через неделю после открытия монастыря. На дверях были ещё глазки, на окнах не успели снимать решетки, не топили, послушницы (одна моложе другой) в холодные осенние дни спали под двумя матрасами — но радость сияла на юных лицах, всё было внове, всё в охотку, всё ради Христа! Мы вернулись в город — и показалось, не были здесь вечность, там, в монастыре был другой мир, другое время, там было счастье и свет.

Остановиться было уже невозможно: еле вытерпев месяц, я ещё раз съездила в Тихвинскую, на этот раз с Петрой, вдруг она согласилась, и съездили не хуже прежнего. Ещё через две недели, при первом же просвете, я бросилась в Оптину, уже никто не смог, ни Иозеф, ни Петра, поехала одна, без страха, без сомнений — всё могу в укрепляющем меня Иисусе!

И в самом деле все поезда, все автобусы подходили в ту самую минуту, когда я поднималась на платформу, приближалась к остановке, нигде не пришлось ждать, везде доставался последний билет, всё точно нарочно подгадывалось, складывалось, соединялось одно к одному. Мне казалось уже: иначе и быть не может. Через два дня я была в Козельске, бодро шла по снежному сосновому лесу и сразу попала на тихую монашескую служебку, народу было мало, запах стружки и мокрого песка, но тот же, тот же восторг и свежесть начала, то же неземное выражение на лицах. Здесь я пожила подольше, несколько дней, к престольному празднику съехались паломники, в основном из Москвы. За полночь длилась исповедь, и удивительный достался мне священник, точно в плотное густое облако я попала, едва подошла к нему, и почти уже не могла говорить. Он помог, сказал всё за меня, назвал главные мои грехи, дал краткие советы, отпустил. В голове у меня мутилось — что это было, как? Ангел ли стоял рядом? Откуда он всё сам узнал, этот батюшка? И звали-то его как-то диковинно, Иоанникий. Никогда ещё не было мне так хорошо.

Службы длились по 5 часов, но откуда-то брались и силы — оттого ли, что здесь некуда было спешить? Чудно, небесно пели монахи, после службы был ещё ужин, и только тут вспоминалось: ах, да, полдня ж уже не ели! А наутро, ещё до рассвета снова чисто и глубоко ударял колокол. Ночью мы спали на раскладушках в одной простор-

ной комнате, на том же этаже рядом располагалась иконописная мастерская. Утром в неё, опустив глаза, громко топая, быстро проходили послушники в накинутых на плечи тулупах. Всё было ещё так неустроенно и прекрасно. Я знакомилась со всеми подряд, какие-то чудные девочки из Москвы, ещё младше меня, первокурсницы, какие-то местные бабульки с рассказами о небывало урожайном в этом году малинным лете, два калужских художника в бородах, видно, тоже со временем собирались тут остаться — все казались мне ангелами, всех я любила, за каждого положила бы душу...

Вместе мы работали на послушаниях; не чувствуя холода сгребали строительный мусор, на носилках выносили из какого-то полуразвалившегося домика колотую плитку, мыли посуду, терли в храме полы, хором молились перед едой и после. Все говорили друг другу «Спаси Господи» и часто кланялись.

Пять дней пролетели как миг, нужно было ехать домой, вот-вот начиналась сессия, да и обещала зачем-то маме, ещё боялась, что надоеет, нарочно сказала: неделя, неделя максимум! Но как же так быстро? И вот уже последняя служба, и опять поют, как поют они!

Почему все ещё не здесь, почему весь мир не пришёл сюда это слушать, на это смотреть?

Я плакала навзрыд, я уже никого не любила, только завидовала всем, монахам, паломникам, соснам, молчаливому зимнему лесу — они останутся здесь ещё, наподольше, навсегда, а я, я опять туда, где не хочу больше быть. И в долгой дороге домой, глядя на мелкую суету едущих в душном поезде людей, яички, холодная курица (Рождественский пост!), хнычущие, непослушные дети, ненасытно вспоминая и вспоминая Оптину, я поняла вдруг так ясно: чего ж ещё? Что мне ещё нужно? Отец Антоний! Ухожу в монастырь.

Я едва дожидая до субботы, всенощной. Но отчего-то в тот день он был особенно уставшим, осунувшимся, мы говорили после службы, он был одет уже для города, в толстой коричневой зимней куртке, держал дипломат и смотрел внимательно, но почти печально, будто и не слыша, что я ему говорю. А мне хотелось кричать, я едва сдерживалась, хотелось, чтоб и он, и он немедленно туда поехал, даже остался там, на родине старчества, в душистом сосновом лесу, монах же он, в конце концов, а я, я тоже туда приеду, буду работать поварихой... И я не знала, как сделать, чтоб он всё это тоже почувствовал прямо сейчас, чтобы понял, как это спасительно и хорошо.

Батюшка! Там было чудно. Я привезла вам воды из источника. Он весь оледенел! Я привезла вам просфорку! Я прикладывала её к мощам Батюшки Амвросия. Там благодать! Невозможно дышать, невозможно даже говорить иногда. Там за два дня до моего приезда мироточили иконы. И я, я... хочу обратно. Но он как будто не понимал ни моей радости, ни готовности послужить Богу.

— Там мужской монастырь, Маша.

— Я видела, там работают женщины. На кухне, и убирают.

— Уже пора, закрывают храм. Заговорились, — он улыбается едва-едва.

Храм и, правда, опустел, все вышли, только мы вдвоем стояли в предбанничке, а бабка-уборщица громко громыхала ведром.

Что ж, у него просто плохое настроение, я и сама чуть не расстроилась: почему он совсем за меня не порадовался? Почему так грустно всё слушал? Но всё-таки и расстраиваться было невозможно пока, я вся ещё была там, на послушаниях, на ангельских оптинских службах... Может быть, ему не понравилось, что я была такая восторженная, что чуть не орала на него? Может быть, он думает, нельзя так сразу, вот и во всех

житиях сначала был срок испытаний, когда человек проверял себя?

Через несколько дней я снова спросила его, нельзя ли мне начать думать о монастыре, нельзя ли взять академ и прямо сейчас снова поехать в Оптину, пожить там подольше — приглядеться, присмотреться, поработать немного. И снова ещё безжалостней и равнодушной: не стоит. Учишься, и учишься. Зачем академ? Есть ещё время, успеешь определиться, а пока — учишься.

Это подрубало меня. Он, что, не хочет моего спасенья? Сам-то, между прочим, монах. А другим? Называется, между прочим: собака на сене.

Но я надеялась — передумает! Найду слова, чтоб убедить его. Однако, когда мы увиделись снова, была исповедь, опять нужно было каяться, и я сказала:

— Батюшка, мне обидно, что Вы не пустили меня снова в Оптину, и вообще. Я злюсь.

— Машенька, прости меня, — и строгий, спокойный взгляд. Не передумал! Значит, учиться дальше. Да видеть я не могла эти противные зелёные стены, эти аудитории, этот провонявший куревом и разворотом сачок. Слышать не могла этот шипящий немецкий язык. Герман Гессе! Штоп ему. Безбожник.

Начался новый семестр, в институте я почти не появлялась. Ранним утром шла на службу в также совсем недавно открытый на окраине города монастырь, здешнее пение хоть немного напоминало мне Оптину. Потом приходила домой, обедала, читала святых отцов, Добротолюбие, с чётками молилась, клала поклоны, и всё было так легко, так на удивленье светло и не затруднительно — монашеское призвание явно давало себя знать.

В самиздате вышла Дивеевская летопись; без отрыва в три дня я прочла её и окончательно поняла, куда пойду. Вот где моё место. В Оптиной всё-таки и, правда, мужской, так уж и быть. Изредка мы говорили по телефону с Петрой, я осторожно делилась с ней своими планами, и она всегда со мной соглашалась: в монастыре спасительней. Раз даже проронила, что и сама ничего не желала б себе лучшего, но мужа вот разве бросишь...

И падалось на колени — Господи! А я-то, я свободна. Только бы поскорей. Всё я видела наперёд, всё знала, всё было открыто внутреннему взору.

Бревенчатая избушка, клонятся к крыше снежные лапы вековых елей, в чистом воздухе стоит золотистый смоляной запах — чёрный подрясник, чётки, платок на самые глаза. Позвякивает ведрышко, надобно набрать воды из чудесного источника, исцеляющего и телесные и душевные недуги, скрипит под валенками белый снежок, торопиться некуда — чай, не в шумном городе, а в монастырской тишине время течет медленно, густо, насквозь просвеченное любовным и внимательным взглядом Сотворившего вся, окутанное благодатным облаком Фаворского света.

Тихо разрасталась, из книг и поездок, из рассказов и встреч на глазах ткалась большая, растянутая во все стороны подвижная, живая икона.

Время остановилось, время ушло, тысяча лет, неделя, миг, день — всё одно: преподобный Серафим кормил хлебушком бурого мишку, рвал петрушку на своём огороде, смотрел живыми глазами, сидел у окна Феофан Затворник и писал одно за одним письма — витиеватым, чуть старомодным, энергичным стилем, сдобренным вдруг просторечием — о духовной жизни, о том, что надобно, матушка, постараться и скорби претерпеть чуточку! Огненный Игнатий призывал к покаянию и ревности, пополающей греховную скверну, — а вот и быстрая фигурка Алексея Мечова, вот оглянулся,

посмотрел готовыми к слезам глазками, вновь ожигая душу плещущей через край любовью, вот и великая княгиня Елисавета Федоровна в белых одеждах с лицом святым, пред которым невольно опускались глаза, блаженная Ксения в зелёном дырявом платке, Иоанн Кронштадский, окружённый выкрикивающей что-то, плачущей, тоскующей единой жадной прощения толпой, а вот и Амвросий Оптинский с прибауточками и рассыпчатым смешком, а там чуть подалее сонмы мучеников — с ясными, кроткими глазами, в венцах и славе, безымянные отцы в пустынях, в сумраке пещер, заживо похоронившие себя, уже при жизни подобные ангелам, а вот и... нынешние старушки, в белых платочках, согнутые, с убогой сумкой, а в сумке — отмытая банка для святой воды. Вон и улыбчивый архимандрит Киприан, и кругленький седой человек — отец Иоанн Крестышкин, а вот и знакомое дорогое лицо, в клобуке, в мантии, смотрит с улыбкой, мягкой и как всегда будто беззащитной немного — отец Антоний, вы сегодня служите?

— Да нет, исповедую.

6. Несвидетель

Одно меня останавливало в моём стремлении в монастырь: как же я буду без отца Антония? Как ни расстраивали меня иногда его запреты, он делался всё ближе, уже и без всяких усилий и писем, на глазах роднел, и это были, конечно, одни исповеди, без них ничего бы, никогда, но исповеди именно, оказывается, сближали непоправимей всего. И новая какая-то устанавливалась, незримая меж нами связь.

Ручаюсь и теперь: так, как он, меня не исповедовал никто.

Христос невидимо стоял, видимо ж стоял человек, боком, чуть опираясь на аналой, с рыжеватой бородой, со слегка просвечивающей лысинкой, в очках, чёрной рясе, золотистой епитрахили.

Так исповедовал, как он, — никто. И к тому времени уже, и потом разных, разных я видела священников — в том числе и в тысячу раз более одаренных, глубоких, прозорливых, святых, у него и даров-то никаких не было — проповедовал, служил, как все, ничем не выделяясь, когда-то удачней, когда-то слабей — но так исповедовал, как он, никто.

Он брал на руки. Только что и я стояла в очереди, с тяжёлой от недосыпа головой, глядя на чужую, склонившуюся к нему женскую фигуру, лениво вскидываясь иногда: ну, о чём можно так долго разговаривать?? Откуда столько грехов? Только что. Но подходила очередь.

И надо было сделать шаг. И хоть бы раз в жизни мне в тот же миг, в те же доли секунды не делалось так катастрофически страшно, и мгновенным откликом на этот ужас — предстать и сказать — ложилась наивная надежда: а может, выйдет поскорее, быстренько перечислю, и все. Не выходило.

Никогда он не давал быстренько — изымал. Я подходила, мне было неловко, иногда стыдновато, иногда нет — мне искалось слов помягче, в обход, бочком, понезаметней — он изымал. Он брал на руки и тихо нес — бережно, как ребёнка, перекрученную, изувеченную этой вечной, длящейся сложной ложью себе и другим душу, и маленькая, кривая — она вдруг начинала жмуриться, жаться: куда мы? страшно, страшно мне, батюшка, не надо! Я не знала, не думала, я забыла, что это серьёзно т а к.

В первое время меня особенно поражало ощущение, что это и не я вовсе стою тут исповедуюсь, это не я, это кто-то другой страдает, со мной так быть не может, я на

такую серьёзность и глубину не способна, но это я была, я, только какая-то другая, только в другом мире, в который внезапно восхищал Господь чрез руки и сердце своего служителя. Позднее всё переменялось на чувство обратное — только здесь я и встречаюсь с собой, только здесь я — это я, блаженное чувство полноты и подлинности охватывало меня.

Не знаю, как у него это получалось, но всегда (всегда!) происходила эта встреча, в невозможной простоте, высоте — Господи, прости! Каждую исповедь он превращал в предстояние перед Богом — и оказывалось так просто: ты не человеку солгала, ты не кого-то там до смерти обидела, поранила, ты не сама по себе отчаялась, унывала — ты не кого-то, не себя, ты вот Кого, посмотри. И всякая, даже и забытая мелочь, дерзкое язвительное слово, недобрая мысль, обман, раздражение, злость, испытанная зависть вдруг восставали — из небытия, и загорались такой крошечной болью, кошмаром, срамом, стыдом — Господи, прости! Боже мой, прости меня.

И я бы не выдержала, я бы не вынесла этого суда, этой голой правды, последней, но он был рядом. Он стоял, внутренне преображённый, обнажённый тебе навстречу, под твоими словами, под чёрными, пропитанными тьмой грехами, тихий — с опущенными глазами, без-защит-ный (вот когда впервые в нём это открылось), и вес их складывал в своё сердце. Может быть, потом он и отправлял их куда-то, в вечность или куда ещё, но сначала, слушая, он просто складывал их в своё сердце.

Уже гораздо позже я не раз думала с печалью — может быть, он исповедует неправильно, нельзя же так не беречься, должен же выработаться профессионализм! Но вот профессионалом-то он и не был. Так и не научился. Не успел. Это ведь всегда чуть-чуть механизация — профессионализм; отточенность слов и жестов, блестящее владение собой, публикой — он не умел так, он никогда заранее не знал своей роли, он мог только по-настоящему, всегда в первый раз, всегда не крашенная вода — кровь.

И нет, не свидетельство то было — участие. Вместе со мной снова он проходил этот путь, вместе со мной падал и горько поражался падению, болел о нём и плакал — но только с неведомой мне глубиной, с незнакомой мне силой страдания; он шёл этим трагическим путем так, как нужно было идти мне, и как я им не шла, но сейчас я иду похоже, сейчас я иду правильно, потому что ступаю след в след ему.

Вместе со мной он также, в трепете, стыде предстоял Богу, выпрашивая прощения за моё, как за своё, и мне делалось легче, свободней, уже и не я, он сам, один нёс этот крест, крест моего зла и слабости, и с этой ношей на плечах, только взвалив её на себя всю, начинал говорить.

Говорил он всегда недолго, но без промаха, всегда самое то, что так необходимо было сейчас растерянному, истерзанному собственной низостью и оторванностью от неба сердцу. Каждое слово я жду, ловлю и впитываю, но очень скоро и слова тоже вдруг оказываются неважными, их чудный смысл начинает плавиться, растворяться в опускающейся на меня той же, я уже узнаю её, той самой сияющей крещенской радости.

Я оказываюсь в шалашике под епитрахилью, сверху раздаются слова молитвы. Крест, Евангелие. Ноги у меня подкашиваются. Как вынести, как благодарить?

7. Старец святой

Тем легче, тем легче было отождествить этого реального человека с идеальным,

вычитанным в книжках образом Старца, такого же живого, сокрушающегося о чужих бедах, такого же мудрого и простого. Тем проще было со временем вовсе отказаться от монастырской идеи, как-то она постепенно растворилась, рассосалась совсем — зачем, если у меня такой батюшка!

В конце октября Иозефа забрали в армию, он не захотел косить, как другие наши ребята, и его записали в радиосвязь. Без волос и бороды он опять оказался совсем мальчиком, с тонкой шеей, с печальными, испуганными глазами. На проводах он крепко сжал мне руку.

— Пиши мне, Иоханна!

— Иозеф, конечно.

— Пиши побольше про церковь. Там совсем этого не будет.

— Я напишу обязательно, про всё, что ты захочешь, ты только возвращайся поскорей!

Иозеф отвернулся от меня. Я не знала, как его утешить.

— Иозеф, но Бог туда тоже с тобой поедет. Бог везде.

— Я знаю, знаю, Иоханна, в Нём я уверен. И не за Него боюсь. Ты ... вспоминай меня почаще.

После отъезда Иозефа круг моих православных знакомых снова уменьшился на треть. Оставался батюшка, оставалась Петра.

Но теперь никогда уже не вспомнить, сколько ни напрягай памяти, не нащупать того родничка, того шершавого узелка, с которого начала плестись верёвочка. Всё, что осталось от той поры, — всё та же, та же чёрная, клеёнчатая тетрадка, исписанная за два года насквозь, исписанная одной единственной, омегой и альфой, Гогой, Магогой, первой и последней фразой: Виделись с Батюшкой. Говорили с Батюшкой. Он мне сказал.

И снова — теперь перечитывать эти записи мне неизменно странно, как-то фантастично, не верю своим глазам: ни одного слова о другом, ни единого уклона в сторону, точно бы всё, что происходило в жизни помимо э т о г о, стало плоско, неважно, блекло. Ведь были же у меня и друзья, кроме Иозефа, Петры существовали и другие хорошие знакомые, подружки, Олька, и мои родные, со всеми нами непрестанно происходили мелкие и крупные, трагические и забавные события — болезни, ссоры, две смерти (Иозефовой бабушки и Олькиного отца), которые мы переживали все вместе. Влюблённости, разрывы, одна долгожданная свадьба (наша третья немецкая группа породнилась с восьмой), блистательные прожекты, наполовину собранный номер рукописного журнала «Европеец», в том числе и с моей статьёй, осмысленная и бессмысленная суета — ни слова.

Принимая во всём вершившемся вокруг меня самое активное внешнее участие, сердцем я жила в те годы точно бы на другой планете, втайне ничему, никому более не принадлежа.

Исповедовавшись или просто поговорив с отцом Антонием, даже если то был разговор минутный, исповедь самая краткая, с благоговением я помещала их в себя как величайшую драгоценность. Суеверно страшась проронить хотя бы крупичку, я немедленно (в тот же день, вечер) записывала в мою тетрадь каждое его слово, и уже затем, чуть расслабившись, много раз заново проживала всё произнесённое и почувствованное в те минуты, погружаясь, не обдумывая, а именно снова и снова эмоционально, душевно, по уши погружаясь и растворяясь в происходящем в тот миг. Это было подобно упоительнейшему наркотику, пока наконец срок его действия не исте-

кал, пока все те слова и чувства не выдыхались — и тогда я шла в храм, за новой дозой, новым болезненным и сладким уколом подлинности.

Помню только, что и тогда уже мне делалось всё более одиноко. Островок наших встреч с батюшкой не только не уберегал от этого нарастающего чувства одиночества, но лишь обострял его. По благословию батюшки, я начала заниматься Иисусовой молитвой. Ни на что я не претендовала, просто брала чётки и молилась перед иконами час, и расплзающаяся пустота жизни вдруг наполнялась, озарялась этим часом.

И всё же в своих поздних поисках истока, бесчисленных попытках уловить, нащупать вслепую зёрна всего происшедшего после я всё чаще натывалась в моей тетради на один и тот же эпизод, выглядевший на общем фоне просветом и исключением, потому что, хотя и он был связан с отцом Антонием, но в нём хотя бы зазвучали голоса чужие, в нём приняли участие другие лица.

Среди бесконечных исповедей и уже так мало значащих спустя столько времени сообщений об испрошенном и полученном благословении на сдачу экзамена и поход в гости во время Великого поста, на чтение покаянного канона и 7-часовой сон, среди частых жалоб и послушных ответов на них, среди пересказов таких простых, совсем естественных (отчего же тогда они казались мне так пронизательно-глубоки?) советов отца Антония по самым разным поводам я неизменно добираюсь до истории с Костей и вновь задерживаюсь на ней подолгу — не тогда ли, не там ли?

Это было в конце третьего курса.

30 апреля. Хожу в церковь почти без всякого чувства, чтобы только отметить, покупая себе спокойствие, чтобы не переживать, что не ходила. Сказала об этом отцу Антонию.

— Что ж, мы по-другому пока не умеем. Наши отношения с Богом всегда немного коммерческие, потому что нет к Нему любви. Но хотя бы так. Пока хотя бы так. Господь нисходит к нам и до такого уровня, Он ждёт.

— Унываю от однообразия жизни. Люди всё те же.

— Да, одиночество... А представляешь, как люди жили — в пустыне, каждый день одно и то же, те же три куста, пещерка, финик... Им вообще нечего было ждать, ничего нового ни-когда. И они не ждали, только молились в тишине. И не скучали, пещера делалась обителью райской, потому что Бог был с ними. Вот как, Мария, скука, потому что Бог от нас так далеко.

11 мая. — Отец Антоний, иногда мне кажется, что я прихожу сюда не помолиться, а для того, чтобы встретить человека... Вас.

Отец Антоний помолчал немного, а потом как-то не глядя на меня, ответил.

— Это ещё не плохо, хотя нельзя слишком уж верить в человека, ставить его во главу угла. Но это и важно очень — встретить человека. И всё, всё даст Господь, и человека близкого, всё ещё придёт, всё ещё будет, — и повторил снова: — Всё Бог даст.

И старческая какая-то, почти мученическая просветлённость послышалась в этих словах Батюшки, и бесконечное не смирение даже, а примирение, покой и мягкость — такая умная ласковость.

Я пришла домой и всё думала, о чём это он, о каком человеке. Я сначала думала — о духовнике, а потом поняла. И заплакала — всё мне стало ясно, и интонация его, и слова, и радость.

17 мая. В нашем институте началась конференция по межлитературным связям. Пригласили разных знаменитостей. Во второй половине дня начались доклады, среди выступавших появилось и неожиданное лицо — Константин Голодков, Петрин муж. В конце конференции Костя подошёл ко мне, прямо после своего доклада, в галстук, пиджаке, оживлённый и радостный. Предложил погулять. Мы немного погуляли в окрестностях Гума. Вместе дошли до остановки. Костя был очень милым. Но всё время намекал, что живётся ему нелегко. Чувствовалось, что ему хочется пожаловаться на Петру, но я переводила разговор на другую тему.

18 мая. Мне позвонил Костыка и спросил, нет ли у меня расписания докладов на завтрашний день. У меня не было. Тогда он спросил, приду ли я завтра. Я сказала, что да, хотя, честно сказать, даже не собиралась.

19 мая. Сегодня узнала про отца Антония, и сшибло с ног. Сразу стало так больно, так жалко его. Костя так хорошо о нём рассказал.

Отец Антоний был в молодости артистом. Жил среди артистов и много чего навиделся. «Монашество было единственным путём, чтобы выжить». Он работал в известном Московском театре и потом со всеми порвал. Окончил семинарию в Загорске и уехал по распределению сюда, даже не захотел оставаться в Москве, чтобы ни с кем там уже не встречаться.

Ещё Костя сказал, что чувствует в отце Антонии внутренний надлом, что это человек самоломанный и что перестал ходить к нему после того, как однажды узнал о нём такое!

— Что?

— Этого я пока не могу рассказать.

Разговор этот, как камень, лег на сердце.

Вот откуда эта фанатическая сосредоточенность, самодисциплина — ни полвзгляда в сторону. Непостижимо — от сколького пришлось отказаться! Предположить заливчатского творческого прошлого невозможно. Какой путь проделан, какие раны — незаживающие. И то, как он служит, — со скрытыми слезами, с восторгом самоотречения — тоже понятно теперь. «Только Ты, Господи, больше никто, ничто, только Ты». Мотающий головой, закрывающий глаза, затыкающий уши человек:

«Ничего больше не хочу, только Ты!».

Отчего же мне так тяжело?

21 мая. Опять виделись с Костей, у меня дома оказалась одна редкая книжка, которая ему очень нужна. Я принесла книгу на станцию метро, а он снова предложил погулять. Мы сидели на лавочке недалеко от моего дома и разговаривали.

Костя оказался очень образованным человеком, он рассказывал, как пришёл в православие (под сильным влиянием Петры), как стал его изучать. Цитировал Евангелие, Псалтырь — у него поразительная память. Мы много говорили о церкви, христианстве, Костя говорил, что победу коммунистической идеологии в России легко объяснить: коммунисты — это христиане без Бога. Почему-то мне не очень понравилась эта мысль, но я не могла возразить. Мне вообще многое не нравилось из того, что он говорил, но как-то неуловимо. Как будто бы так: о Боге без Бога. Не знаю.

И опять ему хотелось обсудить свою жизнь с Петрой, и у меня уже почти не было сил ему мешать. Он называет её: «жена». И как-то противно у него это выходит:

«моя жена». А она не жена, она — Петра.

29 мая. На грани помешательства. Рука не поднимается писать. Поимели двухчасовую беседу с Костей. Нет, потом.

2 июня. Уже три дня лежу головой на столе и не могу ничего делать. Даже плакать.

Костя сказал мне, что отец Антоний любит Петру и сам ему об этом сказал. Костя пришёл однажды домой, Петра, как обычно, сидела, запершись у себя в комнате, — она ведь ко мне не выходит, знаешь? Я не знала.

Тишина показалась Косте подозрительной, он постучал. Петра не открывала. Тогда он стал колотить изо всех сил. Петра открыла. В комнате сидел отец Антоний, они с Петрой пили пиво. У ног их выстроилась целая батарея бутылок. Отец Антоний был совершенно пьян.

— Костенька, я люблю твою жену. Между нами ничего не было, но могло бы быть.

Костя прогнал его. Это было три месяца назад.

3 июня. Головой больше не лежу, а только сижу, уставясь в одну точку. Прочитала в Патерике, что дьявол готов на всё, чтобы опорочить авву, унижить его в глазах послушника. Хоть бы, хоть бы этот Костык всё наврал?

Только как же мне это узнать? Петра ведь и, правда, ходит в наш храм всё реже, говорит, ходит теперь и в другой, и на исповеди к батюшке не помню, когда я в последний раз её видела. Как-то раньше я даже вниманья на это не обращала.

4 июня. Сегодня первый раз в жизни позвонила отцу Антонию. Формальный повод был, что он сейчас в двухнедельном отпуске, а у меня срочный вопрос. Но, на самом деле, я просто не знала уже, куда мне деться и решила позвонить. Набирала номер, и руки у меня тряслись: ну, что я скажу ему?

Батюшка почему-то совсем не удивился, быстро ответил мне на мой придуманный почти на ходу вопрос, был строгий и четкий. Я сказала ему:

— Кстати, мы сейчас иногда общаемся с Костей.

Батюшка на это промолчал, будто ждал, что я скажу дальше.

А я не знала, что ещё можно добавить, и скомкала разговор. Мы попросились.

Но его спокойствие и строгость как-то вдруг очень утешили меня. Мало ли что бывает. К тому же, возможно, это и неправда, по Косте видно, что часто он сильно привирает.

7 июня. Поговорили с Петрой. Она сказала, что всё это — клевета. Искусная ложь. Костя — человек страшный, точнее, «просто дрянь». «Но я поздно это поняла». Разговор и, правда, был в тот вечер, но совсем другой! Отец Антоний пришёл к Петре в гости, а потом пришёл и Костя, и отец Антоний обличил его. Потому что Костя дурно обращается с Петрой. Отец Антоний сказал, что равнодушно относиться к этому не может. Костя жутко разозлился, вёл себя просто нагло, сказал отцу Антонию, что не намерен в собственном доме выслушивать оскорбления. Отец Антоний смиренно ушёл, конечно. Пиво было, но всего одна бутылка, потому что батюшка его любит, а что здесь такого?

— Петра, но ты же больше к нему не ходишь на исповедь?

— Да, он меня отпустил. Но совершенно по другим причинам. Не так всё просто. Сейчас Петра с Костей будет разводиться, и Костя просто хочет, чтобы «ты его пожалела».

— Петра, а как же христианство? Он его так хорошо знает, так много о нём говорил.

— Говорил. В церкви он последний раз был даже не знаю когда. И уже года полтора занимается йогой. По утрам застаю его иногда в странных позах.

— Ну, может быть, это пройдет, это искания.

— Как ты не понимаешь, после христианства уже нечего искать. А о христианстве говорил — с тобой, потому что ты была ему нужна, твоё доверие. Вот и всё.

18 июня. Сказала батюшке, что осуждала Костю, так много он мне врал, и душа теперь как будто истерзана. Батюшка сделался очень серьёзен.

— Да, я в курсе. Всё это действительно очень тяжело. Помогите тебе Господи!

21 июня. Петра и Костя разводятся, и Петра очень переживает, потому что Костя ведёт себя крайне грубо. Хотел сломать дверь в квартиру — и Петра его боится.

Мы разговариваем с ней теперь каждый день. Однажды мы даже пили вместе вино. Кажется, аскетизм её давно кончился. Ни с кем из прежних своих православных знакомых она больше не дружит. Как-то я вспомнила о них, спросила, где они все, Феодор, Анна. Петра пожала плечами: «Не знаю».

— А Георг тоже больше не приходит к тебе?

— Ты у меня единственный гость. И любимый.

Она сейчас вообще совсем другая, непохожая (или наоборот?) на себя — беззащитная, беспомощная. Совсем, оказывается, девочка. Это непривычно так, и я не знаю, как помочь.

1 июля. Только вера дала мне зрение, открыла глаза, вижу теперь свою безмерную слабость. Слабый человек, не способный к долгой борьбе. Мы братья преград не обещали, мы будем гибнуть откровенно... Как хочется этому поверить. Но ведь обещали. Но какая привлекательная творческая чудесная слабость всему вопреки.

8. Не старец святой

История с Костей ударила в самое больное и пробила плотину: первый раз в жизни я позвонила. Знай я тогда, чему положу начало тем первым своим, и в сущности, вполне невинным звонком, знай я — кажется, в тот же день растоптала б телефон, вырвала б с мясом провод. Но не вырвала, но не подожгла, только немела от любопытства, ведь что там позвонила — в Костиных рассказах батюшка предстал предо мной в свете совершенно новым.

Пусть почти всё, что говорил Костя, ложь, но в театре-то отец Антоний всё-таки работал! Но в Москве раньше жил! За плечами его вырисовывалась непростая судьба, возможно, трагический опыт. И из столицы к нам он и в самом деле приехал — значит, было от чего бежать, значит, тени прошлого не давали покоя? Да и так ли уж далеко они ушли от него? Батюшка, подтянутый и стремительный, строгий и далёкий, умел, оказывается, ходить в гости! Батюшка бывал в гостях у своей духовной дочери,

Петры. Батюшка любил пиво. Мог выпить целую бутылку, но, может быть, даже и больше!

Ничуть не разочаровалась я, но как-то вдруг надломилась, прежняя благословенная ясность зрения стала исчезать, удвоились, задёргались предметы, в человеческих лицах появился новый объём. Никогда с отцом Антонием мы больше к той истории не возвращались, но я видела и чувствовала — что-то изменилось в наших отношениях. Что-то изменилось во мне. Мой батюшка был не старец.

Да ведь и раньше, и прежде, и уже с очень давних пор, он сам, сам в первую очередь, со всей, так свойственной ему, как выяснилось, и доходящей чуть не до юродства честностью, отбойным молотком рушил все мои иллюзии, затапывал малейшие ростки веры в его духовную одарённость и исключительность, отказываясь принимать за меня решения, не давая благословенья на самоочевидные вещи. Уходил в сторону, устранился, оставлял наедине с Богом и собой.

— Отец Антоний, как вы думаете...

— Маша, почитай лучше об этом у епископа Игнатия. Я тебе давал его книжечку?

— Отец Антоний, а как же мне...

— Подумай сама, как тебе лучше.

— Отец Антоний, а почему ...

— Не имею ни малейшего представления.

— Отец Антоний, а есть ли на это воля Божия?

— Откуда же я знаю!

Но слух мой был замкнут, тогда я ничего не желала слышать, только обижалась, бормотала сквозь зубы: ага, это батюшка так смиряется, а это он так смиряет меня. Теперь, после Костиных откровений я наконец очнулась и как-то окончательно разглядела — и смиряется, и смиряет, но иногда и в самом деле не знает, не видит, не понимает, часто и, правда, не имеет ни малейшего представления! Потому что не старец, потому что никакой большой буквы, просто священник, очень умный, очень добрый, чуткий. Божий, но не святой — человек как все, хоть ты обблагословляйся.

Почти подсознательно, но неотступно я искала путей к дальнейшему сближению, я брела почти нехотя, на ощупь, но все в одном и том же направлении и, так ли, иначе, натыкалась, наталкивалась на отца Антония, и отчего-то всё реже он теперь уклонялся, он точно бы и сам был рад этому новому измерению наших отношений.

И вот уже состоялось несколько необычно долгих (по полтора часа!), чудных встреч после служб, с разговорами пусть по-прежнему на чисто духовные темы, но под хруст шоколадки, но под глотанье купленного тут же в ларьке сока. И я не уставала изумляться, округлив глаза, чуть не хлопая от восторга в ладоши. Батюшка ел шоколадку в среду, не читая, из чего она состоит, не глядя на то, есть ли в ней сухое молоко! Отец Антоний, сегодня же среда, как же шоколад? Да разве я похож на аскета, Маша! И он смешно втягивал щеки, сводил брови, изображая неудавшегося аскета.

А ещё он пил сок, не крестясь, явно смущаясь окрестного народа. А ещё рассказывал мне два церковных анекдота про пьяного дьякона и пономаря-заику. А иногда он говорил, он радовался даже какой-то ...ерунде! Вот, посмотри, одна татарка подарила мне сегодня православный служебник по-татарски — и напевно, «по-уставному» читал вслух какую-то тарабарщину, тихо смеясь. Гляди-ка, кошка лежит под кустом, вот проснулась, ну-ка, давай понаблюдаем. Кошка озиралась спросонья, потом умывала

лапки и хвост, а он смотрел, не мог оторваться.

Он ходил в кепке слегка набекрень (а один раз даже пришёл в храм в мягкой серой шляпе). Он ударил носком ботинка камешек, и тот отлетел на другой конец улицы. Он побежал вместе со мной на автобус. Он чуть не упал. Во всех движениях его и словах и точно просвечивал неизменный и не замечаемый мной раньше артистизм. Он тонким голосом изображал нашего владыку! Вместе с тем это был всё тот же мой батюшка, тот же, только чуть-чуть другой.

И я запрокидывала голову — Господи, какая свобода. Я таяла от каждой его шутки и, бросив стеснение, дико и сочно не смеялась, ржала над его остротами — каким же мне всё казалось смешным!

Правилось мне и то, что начало наших встреч сильно походило на завязку детективного фильма, я уходила далеко от храма, несколько раз сворачивала («ты там попетляй хорошенько» — чуть не всерьёз поучал меня батюшка), шла в противоположную сторону от трамвайной остановки, в глубину парка и поджидала отца Антония в условленном месте, на лавочке в небольшой пустынной аллее. Он появлялся много времени спустя после службы, но и перед тем, как сесть, бросал вокруг зоркий взгляд. «Лишних глаз всегда хватает, а на наше сословие их с избытком», — многозначительно пояснял отец Антоний. «КГБ?» — догадливо подхватывала я. — «Да даже и собственные наши старушки. Чего только не сочинят».

Всё чаще мне хотелось говорить с ним, всё больше о нём узнавать. Я готова была видеть его каждый день, перебрасываться с ним хоть словечком и утром и вечером. Но можно даже и днём.

Только это было невозможно. Наши неофициальные встречи случались мучительно редко, раз в месяц, два, и всё тяжелей мне было сносить разлуки. Правда, я по-прежнему приходила на службы, исповедовалась, благословлялась, духовное общение не прекращалось, но на службах отец Антоний был слишком сухим, чужим, «старцем». Мне не хватало его уже отведенного весёлого тепла, я вкусила, я знала другое, не хуже, не хуже, даже интересней! и хотела встречаться с ним другим, с батюшкой-человеком, без клобука, в клетчатой кепке набекрень, в мягкой серой шляпе.

Только это было невозможно. Я не могла его видеть, когда и сколько хотела, не могла с ним говорить, когда и сколько хотела, не могла ничего.

Отныне подсознательно я теперь всё время ждала его, жадно, робко, покорно, зло ждала, ждала моего батюшку, втайне поджидала его всегда и всюду, а он не мог, был занят, был нужен другим, только и оставалось — неизменно, изо дня в день, из месяца в месяц — уходить в сторону (и никогда не узнает он об этой ежедневной, тайной жертве!), смотреть на него издали, смотреть и ждать, гася в глазах боль и жадность, просыпаться и засыпать с единственной, идиотской надеждой: скоро, скоро он всё-таки освободится, он сможет, и мы увидимся по-настоящему, выпьем сока, поговорим — наконец...

Это не была ещё влюбленность, слава Богу, нет, он был, он оставался ещё моим духовником, я спрашивала его духовного совета с прежним почтением, но это была зависимость почти полная, повязанность — нерасторжимая.

Я шла по городу и вглядывалась в лица — встречу, сейчас встречу его. Чувствую его присутствие, носом чую его дух где-то неподалёку. Мы случайно столкнёмся прямо здесь, посреди улицы, на перекрёстке, в очереди, на остановке.

— Маша?

- Здравствуйте, батюшка.
- Почему ты такая грустная?
- Я думаю о Вас...

Странный сон приснился мне в ту пору. Я вышла на крыльцо нашего загородного дачного дома. Вновь стояла ранняя осень, пахло яблоками, дымом, скорой зимой. По садовой дорожке навстречу мне медленно шёл батюшка. Он казался печальным.

- Вы завтра служите?
- Качает головой: нет.
- Нет? А послезавтра?
- Теперь никого больше нет.
- Так он мне отвечал.

Пришла весна, в том году совсем ранняя, снег начал таять в начале марта. Я старалась ходить на все его службы, службы, которые служил он. Давно уже с лёгким сердцем я пропускала и лекции, и семинары, благо к концу четвертого курса их осталось совсем мало.

Я шла знакомой дорожкой к храму, и с каждым шагом сердце отмякало от роста дневной суеты и отчуждённости. Сейчас мы увидимся с единственным родным мне человеком, с батюшкой, батюшка будет служить. Совсем не всегда я оставалась после службы, чтобы не надоест, не останусь и сегодня. Довольно богослуженья. Но вместо батюшки служил отец Александр, возможно, они договорились на тот вечер, возможно, отец Антоний заболел. Но, может быть, он просто опаздывает и вот-вот войдёт?.. Может, хотя бы к концу? Всю службу я прождала его, оглядывалась на каждый шорох, на каждый дверной скрип — он так и не появился.

Я возвращалась домой окольным путем, через пустой парк, быстро шла по той самой аллее, где мы обычно встречались, почти бежала в сумасшедшей надежде к нашей лавочке — да не сидит ли он на самом-то деле здесь, не ждёт ли меня? Не договорились ли мы, а я просто забыла? Лавка пустовала, и некого было стесняться — рыдала. Влажные деревья, промокшая, охваченная таянием снега земля, рыдания, проходящий старичок, тыкая палкой под ноги, тихо бормочет: «Какая сырость. Какая сырость».

И выждав ещё неделю, две, три, я всё-таки звонила, медленно набирала его номер.

9. Бесконечный разговор (1)

— Я наверное просто не понял чего-то очень важного в жизни. Я и сейчас не понимаю почему нельзя просто восхищаться красотой да земной но созданной Творцом почему нельзя любоваться созданной человеком гениальной музыкой

- это какой
- всякой
- а какую вы чаще слушаете
- classical rock
- когда-то вы говорили что его не стоит слушать

— говорил но ты только послушай сколько магии сколько глубокой красоты во многих и многих песнях. Я сам в своё время уничтожил все записи которые у меня были да там тоже есть разные группы и разные песни но сейчас когда мне всё-таки изредка приходится услышать что-то я так часто снова и забываю что эту музыку

называют сатанинской в ней столько добра да тот же Битлз это совершенно христианская группа

- а разве ты слушаешь Битлз
- конечно и битлз тоже
- а какая твоя любимая группа
- самая удивительная из них — Led Zeppelin
- я слышала о них много плохого

— я сам слышал но я и их слышал я знаю что они были связаны с сатанизмом колдовством но понимаешь когда я их слушаю я слушаю совсем другое это мне просто неинтересно для меня главное в них другое очень тонко и глубоко они связаны с древними британскими напевами которые я прямо сердцем узнаю как будто я сам там родился как будто когда-то я в себя впитал всю эту древность всё пряное простодушие кельтской мелодии The Battle of Evermore там всё построено на этой магической изящной игре с известными мотивами там сама Бретань старая Англия просвечивает во всех переходах это музыка очень сложная и в то же время захватывающая её можно читать как чудесную книгу и никогда не начитаться

— я слышала что они живут так...

— да разумеется наркотики ранние и страшные смерти их так легко осудить да они не по христиански но я и христиан то почти не знаю которые жили бы по христиански да даже и это неважно они были и есть просто люди и они навсегда влюблены в своё искусство потому что ведь ты только подумай что же заставляет их целый долгий вечер быть на сцене уже струится пот и видно что они действительно отдают музыке душу и последние силы и даже жизнь что же они просто такие же люди которые ведь не только изо дня в день молятся Богу которые могут конечно достичь невысказанных высот а могут и в бирюльки играть и им не справиться без этих игр это их школа Господь никого никогда не оставляет но как же ещё научить и каждый по-своему учится и я тоже когда слушаю эту музыку также как ты читаешь книги — я учусь по ней различать добро и зло потому что да я люблю красоту и часто влюбляюсь на удивление знаешь ли влюбчив но не вижу в этом ничего плохого я просто люблюсь в том числе и женской красотой

— я не понимаю

— мне не хочется оправдываться поверь в этом нет ничего о чём можно было бы жалеть или даже если хочешь в чём исповедоваться в мире всё вообще значительно шире чем нам хочется человек всегда стремится сделать заборчик огородить окультурить пространство и на нём жить а есть ещё целый космос но он о нём не хочет знать потому что это тяжело это ответственность напряжение ума и воли знать и нести в себе что-то ещё что-то большее раздвигать границы.

Часть третья. ДВОЙНОЕ ДНО

1. Телефон

Ангел мой, ты видишь ли меня?

Тютчев

Что ж, шури себе, пощёлкивай, тянись, наш телефонный роман, роман бесконеч-

ных разговоров... Эти шорохи, этот тонуший в самых важных местах голос, это безнадежное вслушивание, но и сквозь затаённое дыхание, замиранье и ужас прервать — что, что ты сказал?

Она привыкла быстро-быстро. И вновь разве было это неискренне, разве примешивалась тут хоть капля душевности? Да всякий, всякий, начинавший жить жизнью духовной, знает, как скоро растёт в душе потребность во всё более частом и тесном соприкосновении с церковью, её таинствами, эта вдохновенная утопическая жажда постоянного очищения, откровения помыслов, исповеди... Как необходим бывает порой совет старшего, кажется, невозможно жить дальше без спасительного совета!

Итак, я звонила. Во-первых, благословлено было Петрой, во-вторых, только по делу. Исключительно в целях самосовершенствования.

Отец Антоний брал трубку, отец Антоний произносил:

— Алле!

О телефон, проводки и трубка. Обманщик и зазнайка, с тобой у нас особые счёты, ты — иллюзия, ты — майя, тебя — нет, о проводник неправды и зла! Ты говоришь родимым голосом — так запросто сжимающим в кричащий комок твою слабую душу — но нет, это не он, нет человека рядом, это ты искусно подделываешь его голос.

Что ж, продолжайся наш телефонный роман, роман бесконечных разговоров... Тихое шуршание — так шуршит дождь по крыше в августовское ненастное время, так время перекачивается — тихо-тихо. Но и осень проступает, а с ней неприметно летит к земле болотный какой-то, мутный сумрак, быстро и мягко выстилающий городские дворы, ибо не прийти ему невозможно.

И оттого ли, что именно в эти тихие сентябрьские дни он родился, да и повстречались они в ту же неверную переходную пору, когда и грубый обман готов принять за последнюю правду (хотя не исключено, что и дела-то всего — услышанная где-то строка Тютчева — всё, разумеется, та же, та же — так неизменно, так беспронгрышно надрывающая сердце), но в такой же вот точно серый день, пустой, когда неоткуда да и нечего ждать утешенья, потому что дважды два четыре, неужели так трудно запомнить, и вот она аксиома твоего существованья — ты один, один бредёшь по этой земле, — однажды вечером, таким же беззвучным и хмурым, звенит звонок. Прорубает тишину, продирает этот бесцветный холст, эту плоскость и тесноту жизни — в надежду, в пространство, в глубину. И острое предчувствие, и мгновенная догадка, и знание — вдруг, изначальное, обо всём, что наступит дальше, — прохватывают, ударяют, как гром, глуша и звонок — не надо, не надо приближаться даже, не надо брать трубку!

Но не взять как? И едва услышав его голос, она понимает: годы прошли в ожидании. Все эти годы она ждала, когда он позвонит с а м и начнет говорить. И то тепло, которое так он умеет распространять, прольётся быстрым узким потоком по телефонному проводу и войдёт в неё. Его голос погружает в иное бытие — его доброты и привета. Его голос самый добрый, неважно, что он произнесёт, одно звучание, один тембр.

— Мария, здравствуй, это — отец Антоний.

И изумлённая Мария млеет. Вот он, сам позвонил. В кои-то веки. Первый раз. И робеет, не знает, что сказать.

— Здравствуйте, отец Антоний.

— Мария, я забыл спросить тебя ... — и что-то он говорит, объясняет, но ей ясно так, что она почти плачет, ослеплённая этой блистающей простотой истинного положения дел, объясненья — только повод, дело не в том, а просто он жалеет её, просто

незаметно показывает ей, что она не одна бьётся в своей жизни, всё равно все мы вместе, всё равно кому-то (хотя бы и ему) по-настоящему важно, как и чем она живёт. Но как же он угадал, как, что сейчас именно и надо было позвонить, эту минуту, осень, день?

Он часто рассказывает ей что-то смешное, конечно же, бесконечно далёкое от церковных тем, осторожно и вежливо расспрашивает о её делах. И Иоханна отвечает, отвечает с такой поспешностью и открытостью — из глубины согретого обрадованного сердца. На какой-то продолжительный отрезок их отношений отец Антоний становится ей и матерью, и отцом, и старшим другом.

И всё это можно, и всё это хорошо, вот и Феофан Затворник пишет так понятно, чёрным по белому: духовников делайте своими духовными друзьями, этого вам будет более, чем достаточно, не понадобятся уже никакие иные подруги и друзья — вот она святоотеческая мудрость и подлинная свобода духа! Всё можно, и духовников друзьями — пока однажды, уже и осень отлетит, и почти оттаёт в тот год выпавшая особенно снежной зима (уже и Великий пост перевалит за середину, и вынесут на поклонение Крест), пока однажды он не позвонит снова, позвонит иначе...

— Мария, я звоню тебе по несколько необычному поводу.

И молчание — выжидательное, печальное.

— По какому, батюшка?

— Я скажу тебе...

Она слушает. Надежды никакой, но она ждёт. Ждёт всё-таки с улыбкой.

— Просто мне сейчас... очень нехорошо.

— А кому сейчас хорошо? — ей неловко, и она пытается пошутить.

— Это так трудно, Маша, когда некуда деться.

— Что-то произошло?

— Это долгая и давняя история...

Опять он замолкает.

— Какая?

— Хорошо, я скажу тебе.

Он снова молчит.

— Скажите.

— Я живу с соседом, горьким пьяницей. Не знаю, где он достает деньги. Каждый день у нас стоит шум и крик. Вот слышишь?

Она не слышит.

— Крики, драка, мат, прости, Маша, две какие-то ужасные женщины, а сегодня с утра вообще что-то невероятное, я уже два раза ходил погулять, но на улице холод. И так уже три года.

— Может быть, можно поменяться?

— Да кто ж сюда поедет? Сколько раз я пытался, всеми правдами и неправдами, но как только узнают, что такой сосед, тут же отказываются. Видно, мне нести этот крест. Но я не могу молиться, не могу читать правило. Какая там Иисусова! Бывают, конечно, и у него просветы. Месяц, два, а потом всё снова. Уж я и владыку нашего даже дерзнул, попросил переселить меня, поговорить с начальством, он же всюду вхож, эти бабы, они ведь рвутся и ко мне тоже, сделал себе три замка...

— И что же владыка?

— Да им не до меня! Что я, маленький человек... Монах, вот и терпи, это тебе послушание — и весь разговор.

— Кто-то плачет?

— Это его мать. Она приходит иногда его урезонивать, раньше они вообще жили вместе, в одной комнате, теперь она нашла себе где-то угол, от него ушла. Но приносит ему продукты, Коленька, Коленька, а Коленька только мычит да бьёт её...

— Вам их жалко?

— Его нет! Это же обычная скотина, хуже зверя, то есть он, конечно, тоже несчастный человек. Но я, я позвонил тебе, потому что сегодня... — опять он остановился.

Она покорно ждёт и, кажется, чувствует на шее холодок острия топора.

— Сегодня я ему врезал.

Ей хочется рассмеяться, долгим, нервным, расслабленным смехом, но ему не до смеха.

— Он ударил мать, и я подошёл к нему и врезал. Первый раз за всю нашу совместную жизнь. Следовало бы, конечно, раньше. Он обычный, как вся эта слизь, обычный трус, Маша! Я вообще никогда никого не бил по лицу, ни в детстве, никогда, Маша, я священник. Но вот, он ударил эту старуху прямо на моих глазах, в коридоре. Она закричала. И я его... Слава Богу, он просто сел, крови не было. Нам нельзя, знаешь... Нельзя проливать кровь человеческую, я согрешил.

— Может быть, Вам лучше уйти в настоящий монастырь?

— В монастыре я тоже, наверное, не смог бы жить. Знаешь, что такое современный монастырь? В монастырь! — но вдруг он оборвал себя, вздохнул, почти виновато. — Да что там — я говорю тебе это просто, просто потому что, понимаешь, мне нехорошо. Ты прости меня, что я вообще позвонил тебе и такое говорю. Что там. Прости меня, ради Христа, Маша!

— Я помолюсь за тебя. И за него.

— Будь так добра, помолись!

Они расстаются, но Боже мой, до чего ж беспокойно, неуютно ей, она, разумеется, перебивает себя тут же: да, человек, человек, что такого, что ж за бессердечье — бывают и у него скорби, первый (!) раз в жизни пожаловался, да и как пожаловался — кротко, тихо, как дитя. И как трогательно это всё, и пронзительно, только и можно, что пожалеть от души, помолиться за него, и всё! Но как ни уговаривала себя, необъяснимо дико было идти на следующую исповедь. Туманно — идти ли вообще, можно ль теперь? Ну, когда «теперь», что значит «теперь»??

И-и-и, Иоханна Мария, и где ж твоя широта и свобода, где твоё «умное» сердце?

2. Дальше в лес

Между тем я начала работать, писать небольшие рецензии, статьи, с замиранием раскрывая журналы, в полуобмороке всматриваясь в собственное набранное чёрным жирным шрифтом имя — И-О-ХАН-НА МАРИЯ ЭБ-НЕР-ЭШЕН-БАХ — по слогам разбирала я, выпивая каждый слог, как глоток упительнейшей отравы. С наслаждением перечитывала я собственные, мои! слова, приятно облагороженные и подтянувшиеся от попадания на сероватые журнальные странички. Раннее начало (мне ведь ещё только 20 лет!), сказочные гонорары, равные двум, а то и трём месячным стипендиям, покупаемые на них подпольные церковные книжки и подарки маме — всё это завораживало, у меня была самостоятельность, независимость, у меня были способности, талант, теперь уже запечатлённый так осязаемо и зримо. Меня хвалили редакторы, мирок этот был тесен, и уже совершенно незнакомые мне люди здоровались со мной с

улыбкой: они обо мне слышали, а возможно, даже читали!!

Чем дальше, тем драгоценнее делалась мне эта эфемерная литературная деятельность, потому что на самом-то деле: чем дальше, тем в большую зависимость я впадала, и лишь эти никем не читанные рецензии на нечитанные же книги, эти вымученные, чаще одобрительные (для ругани всегда недоставало веры в свою правоту) обзоры превращались в вещественное доказательство, что у меня есть, есть и другая жизнь, что я живу и другим тоже.

Между тем всё яснее я сознавала: нет. Статьи, вёрстки, карандашные отчёркивания и нахальные редакторские вопросительные знаки на полях — только краткие отлучки, миги прорывов, уходов, а жизнь всё-таки одна, жизнь давно сжалась до единственной точки, точки наших встреч и разговоров, но из последних сил — с упрямством, с ужасом я отталкивала эту очевидность, эту жёсткую данность, я не хотела верить.

Я не признавалась себе, что привязанность моя незаметно дошла почти до болезненности, мне не хватало его детски, с захлёбываньем. Ты мой единственный друг! Ты мой единственный друг! Вот какие стихи сочинила я про него, стихи, состоящие из двух строчек.

Что мне оставалось — мы начали говорить по телефону, мы незаметно перешли на «ты». И всё же я по-прежнему звонила не часто — слишком разным он мог быть в этих телефонных разговорах, слишком очевидно подтверждались некоторые костыли слова.

Не веря собственным глазам и внутренне обмирая, теперь-то с едва выносимой, новой зоркостью, с резкостью, наотмашь бьющей по сердцу, теперь-то я видела, видела порой: за спиной его, за светлым обликом скользят недобрые, смутные тени. И это не слабости были, не «человек» — что-то страшней. И они были с ним связаны, и он о них знал. Позвонив ему по телефону, не раз мне случалось заставить его в каком-то мрачнейшем расположении духа (в храме на то не было и намёка!), он говорил упавшим, хриплым голосом и торопился проститься.

Он то и дело теперь проговаривался!

— Батюшка, что мне делать с моей неровностью?

— А мне, мне что делать с моей неровностью?!

— Батюшка, я сейчас совсем не хочу читать православные книжки.

— Очень хорошо тебя понимаю. Я тоже от них устаю. И тогда читаю что-нибудь полегче.

— Что же?

— Детективы. Честертон — знаешь такого?

— Отец Антоний, такое уныние, не могу молиться, глухая стена, как будто навсегда уже.

— Да что ты мне объясняешь? Я всё это знаю. И знакомо, знакомо мне это всё!

— Батюшка, ну, как ваш сосед?

— Подонок.

— Батюшка, вы опять шутите!

— Шутка мне строить и жить помогает.

— Без неё не строили бы?

— Может быть, и не жил.

Ну что ж, радоваться надо: вот ещё чуть-чуть приоткрыл что-то — не этого ли ты и хотела?

Но я открещивалась, махала руками: нет-нет, этого-то я и не хотела — не должен он был мне такое говорить. Но чем дальше, тем чаще он проговаривался: и незаметно это стало даже потребностью, чтобы проговаривался ещё и ещё, так упивалось моё любопытство и тщеславие: мне! говорит о себе! такое! да я ему самый близкий человек! И всеми силами мне этого не хотелось.

Общий смысл проговорок был всё тот же, и всегда, когда случалось ему обронить «лишнее» словечко, вдруг просачивалась сквозь обычную весёлость и мягкость грусть, затаённая горечь.

Ну о чём тебе так печалиться, отче?!

Призрак мелькал и вновь растворялся, кончался телефонный разговор, вновь шла исповедь, текли твёрдые, мудрые слова, тёплые ушмешечки, внимательность, свет.

Однако я уже научилась быть наготове и всегда теперь невольно ждала нового признания, нового крохотного срыва.

И они наступали, наступали чаще и чаще. Это были как зарубки на деревьях — можно было б на них не сосредотачиваться, пропустить мимо глаз, ушей — куда там! Здесь проглядывала пока ещё не до конца понятная мне, неуловленная мной, но явная логика, нет, не хаотично они существовали, но куда-то вели. Уводили в глубину, и если только идти твердо, продвигаться по ним вперёд и вперёд, то однажды этот манящий зыбкий просвет впереди разрешится чудесной солнечной поляной, на которой желанная разгадка наконец достигнет меня.

Но простой прозрачный вопрос тихо всплывал во мне, осторожно перегораживал путь: какое всё это имеет отношение к спасению твоей души? Что принесет тебе разгадка?

Тут придумать ответ было совсем не трудно, но я не хотела придуманного, я ответила просто: никакого отношения. Я шла и видела: светлее не становилось, чем дальше в лес, тем гуще делалась тьма, и уж если ждало что-то впереди, то только не душистая, земляничная поляна, нет! Но я хотела знать. Потому что это мой духовник, и он мне интересен, и я к нему пристрастна, мне в конце концов тяжело это — что у него в душе какая-то трудная печаль, тайна.

— Сможешь ли ты эту печаль разрешить?

— Нет.

— Тогда для чего тебе чужие тайны?

— Предположим, мне просто интересно, что дальше?

— Ты, может, думаешь, это — цирк, чужая душа?

Так едко беседовала со мной моя совесть, и едва ли не в первый раз в жизни я сказала ей такое безоговорочное и сознательное «нет». Не по мелочи, а вот так по большому счёту.

Начался этот трудный, многодневный, многомесячный путь. Сделав несколько шагов вперёд, я неизменно ужасалась, раскаяние пронизывало меня: что я делаю? Надо возвращаться, повернуть назад — что же это за путь, когда только и мечтаешь вернуться, когда даже вчерашнее вспоминаешь как добрую сказку. Иногда стремление вернуться было таким сильным, что я застывала на месте, я почти крича упиралась ногами в землю, но за спиной была глухая стена. По таким дорогам не возвращаются! Что ж, если нельзя вернуться, я хотя бы буду стоять. Буду стоять здесь, не шелохнувшись, ни на жизнь, а на смерть, я не сделаю больше ни шага. И это сразу утешало — остановки, отсутствие продвижения были лучшими, самыми чистыми, ясными минутами этого долгого года, этого недоброго путешествия. Снова Бог приближался, снова

длилась спокойная праведная жизнь — неделю, две. Пока неведомая сила (знаем мы эти неведомые силы!) не влекла меня дальше. И я уже не умела сопротивляться — тасило волоком, по корням, по грязи, пока не дотянуло до конца, и там наконец бросило безглаголиво, как опостылевший хлам, — на, любуйся, смотри!

3. И ещё дальше

Их было двое этих отцов Антониев, один приходил в храм, исповедовал, причащал, всегда умел найти те слова, другой сидел дома, слушал пьяный храп своего соседа, отвечал на телефонные звонки, был хмур, мрачен, недобр. Опять за стеной попойка, сегодня хоть тихо, но на кухню не выйдешь, боюсь столкнуться, мы же давно уже на ножах... А где же Ваша, батюшка, христианская любовь и долготерпение, а с другой стороны, да, это так трудно, невыносимо, может быть, стоит поговорить в ЖЭКе, может быть, его смогут отселить в отдельную квартиру?.. Хотите, я сама поговорю с ними? У меня бессонница, Маша, как я устал. Раскалывается голова. Выпей таблетки, батюшка, существует снотворное, при чём тут я? То есть я хочу сказать, хочешь, принесу тебе хорошие таблетки — у меня знакомая работает в аптеке. И, кстати, какое у тебя расписание на этой неделе, когда ты исповедуешь, отче? Всегда, всегда, Маша, это никогда не кончится, я не знаю, сколько ещё протяну, а отпуск дадут только в октябре, то есть я хочу сказать, в среду и в четверг я исповедую, а в пятницу, на праздник служу раннюю.

В этой раздвоенности прошла весна, наступило лето.

Я окончила четвертый курс. Съездила с Ольгой и с двумя нашими приятелями в Питер, в котором до сих пор так никто ещё из нас и не был. Мы жили в палатке, в кемпинге, в ближайшем пригороде на берегу Финского залива. Погода стояла тёплая, несколько раз мы даже купались, ходили дни и ночи по городу, приобщались к культуре и пили кофе с коньячком. Через две недели наши денежные запасы иссякли, и мы приехали обратно. Об отце Антонии я забыла. Но, вернувшись, позвонила снова. Мы поговорили о Питере, а потом перешли на современную литературу, о которой мне много приходилось писать, и с которой я знакомила отца Антония (сам просил). Отец Антоний опять стал не в духе. «Да дерьмо, дерьмо собачье вся эта твоя современная литература!» — сообщил он в заключение мне. И голос опять был хрипл, недобр, отчаян.

Положив трубку, я поняла: ненавижу. Ненавижу этого человека, который всё-таки один, которого не может быть двое, потому что он один, и, следовательно, один из них кривляется и врёт, следовательно, один из них — просто слабак и лгун.

Жгучая ярость захлестнула, с головой накрыла меня. На всякий случай я всё же зашла на следующий день в церковь — убедиться, проверить, но едва увидела его — благообразного, в рясе, со крестом! всё тут же подтвердилось. Вот преподаёт благословенья, спасительные советы — да вы лучше меня спросите, меня, я вам скажу, кто перед вами. Я-то знаю. Мне захотелось заорать на него, ударить его изо всех сил, по лицу, кулаком сбить благостную маску — не ты ли, батюшка, ругался вчера по телефону чёрными словами? не ты ли? Так что ж ты на себя нацепил? Как назло, он вдруг подошёл ко мне, стал извиняться за вчерашний разговор — «я потом пожалел, так это всё было грубо». Что ж вчера не позвонил, сразу?? Что ж вчера не извинился, ведь сегодня я могла и не прийти. А теперь поздно. За обычной робостью, виноватостью его теперь померещилась мне хорошо скрытая, наглая ухмылка. Поздно просить прощенья

ния, отец Антоний, я от тебя ухожу.

Точно в чаду, каком-то горячечном бреде я стала носиться по другим приходам — искать себе нового, нового духовника. Не сошёлс свет клином. Вместо прежних семи теперь в нашем городе пооткрывали ещё штук десять церквей. Я ходила по тем, где служили уже за год, два прогремевшие знаменитости, — каждый чем-нибудь был славен — этот рассудителен, этот велеречив, у того дар сочувствия и утешения, этот славится своим бесцеремонно-разговорным стилем в проповедях и крепкой мужицкой хваткой в духовных вопросах... Каждый был в своем роде хорош, каждый плотно окружён гущей какого-то сумасшедшего православного народа, поджидающего, подстерегающего, просящего, рвущего на части, — у Антоши сроду не было столько поклонников и прихожан. Всё казалось чужим, напыщенным, нездоровым.

От этих лихорадочных посещений новых храмов, густоты впечатлений мне быстро стало окончательно дурно, душно, тошно, ничто меня не удовлетворяло, отовсюду гнали (кто, простите, гнал?), всюду зрение заливало одно лишь чувство глубокого протеста — лобызаетесь, обымаетесь, думаете, не видно: и у вас здесь, как у всех, как у целого света — ссоритесь, завидуете, ревнуете, за то, кому раньше подскочить к батюшке, готовы перегрызть друг другу глотки! Возрождение приходской, мать твою, жизни, пастырь добрый.

Я перестала ходить в церковь вовсе.

Так прошло четыре недели, четыре воскресенья я пропустила и на Покров тоже, тоже не пошла.

Но потом — осень, дождь, трамвай-аквариум, утро, я не вышла у института, я куда-то ехала дальше и, лишь войдя в храм, очнулась — вот куда. Первое лицо, которое я увидела, было, понятно, чьё. И опять я выругалась — снова, блин, чудеса. Ведь существует же расписание, мог бы быть и выходным. Так-таки нет, стоять, исповедовать. Исповедники уже кончались, вот ещё один остался, сейчас и с ним покончит, наставит на истинный путь и пойдёт, со мной, конечно, педагогично пыздаровается — улыбка, вниманье, стёмка, полметра вправо, лёгкий наклон головы, камера!

Я сама не заметила, как очутилась у аналоя. Но факт — стояла. И глупо было б теперь сбегать.

Отец Антоний спокойно смотрел на меня. Странно, я уже не ненавидела его. Опять я попала куда-то в другое. Всё равно, всё равно сейчас всё ему выскажу!

— Я не могу больше приходить сюда, в этот храм, по некоторым причинам я не могу его видеть, этот храм, его, так сказать, внутреннее убранство и служителей культа, но больше никуда я тоже не могу приходить, я уже пробовала, и всё это сплошная мука, мне всюду противно, я месяц вообще никуда не ходила и чувствую себя восхитительно, поэтому я вообще теперь хочу как-нибудь совсем свернуть это дело — исповедоваться, причащаться. Мне до этого дотронуться больно. А сегодня — это просто случайность, прощанье, если хотите, даже не исповедь, потому что я ни в чём не каюсь, вот и всё, — я выговорила это на одном дыхании, чувствуя, что от смелости нет и следа, и я отчаянно трушу.

Зависла пауза.

— Приехали, — проговорил наконец отец Антоний.

И снова замолчал, точно ждал, не добавлю ли я ещё что-нибудь. Я не добавляла. Но чем дольше он молчал, тем сильнее мне делалось не по себе — я чувствовала себя пойманной, сдавленной со всех сторон, и не прекрасным гордым преступником, или там одумавшимся великим грешником, а нашкодившим щенком, которого сейчас для

назиданья ткнут в собственную блевотину и затем просто пнут хорошенько, и мне обидно было моё униженное самоощущение.

— Грустно мне, — вдруг донеслось до меня. Голос был чужой, не отца Антония. Я подняла глаза.

Он стоял в какой-то кривой, неловкой позе, уже и не боком, как обычно, а почти отвернувшись, почти спиной.

— Грустно мне, — повторил он и повернулся.

И, не успев ещё почти ничего увидеть, почти инстинктивно, невольно я спрятала взгляд — хоть как-то защититься от этого страшного, неузнаваемого лица!

Отец Антоний плакал.

Без слёз, одними глазами и искажившимся ртом, и вдруг выступившими морщинами — горько.

И долго ещё не мог говорить.

— Всё бывает, всё бывает. Но вот смотри — распятие, и ты стоишь вместе с Ним, с Ним на самом краю. И пусть вокруг бушуют бури, всё рушится, всё валится вниз, но ты... — он задохнулся, снова оборвал себя.

— Постарайся остаться хотя бы у последней черты.

И снова жутко сделалось от непонятных слов, какой ещё последней черты?

— За ней уже — бездна.

Он поднял епитрахиль. Прочтя молитву, взглянул на меня ещё раз, но уже не плача, а просто с болью такой, что снова я закрыла почти глаза — невозможно видеть.

— Умоляю, молись!

Я бросилась от него. Где я была сейчас, Господи? Кто со мной, о Господи, говорил?

В один миг и холод, и безнадежность, и всё это злое исступление растворились, и отходило, отмякло сердце — что было теперь сдерживаться...

И потом уже, придя в себя, успокоившись, подумала, что спроси меня теперь: «А что, знаешь ли, что такое любовь христианская, что такое любовь Христова?», отвечу просто: «Да. Я знаю».

Куда было после этого деться, опять мы старались, я приходила, спрашивала совета, и меня подбадривало, хотя и сместило чуть-чуть его изменившееся поведение: на исповеди был отец Антоний по-прежнему внимательным, ласковым, после исповеди меня не замечал.

Стоит ли говорить, что и эту волшебную, Богом дарованную возможность долго хранить я не умела. Снова появились дела, вопросы, и некогда, невозможно было обсуждать их в краткие храмовые минуты, снова я стала звонить. Редко, по-деловому, ненадолго. Как будто ничего лишнего. Ну, может быть, словечко-два. Ну, три, подумаешь!

Только тут, тут-то и случилось событие неслыханное: сломался телефон. Моя милиция меня бережёт, это было смешно почти, до того прозрачно, до того интерпретируемо — яко свят Господь Бог наш, сломался телефон. Сломался надолго, не на неделю, не на две, что-то произошло с линией, кабелем, никак не могли его починить ни через месяц, ни через два. Три месяца я промучилась, через день набирала его номер, пока не стало ясно — не починят уже никогда, и тут же утомленное привыканье сгладило углы — ну, не починят... И не могла не признаться себе: так, без телефона, лучше. Чище и веселей.

Возможно, я утвердилась бы в этом мнении окончательно, когда б не новое вдруг

врезавшееся в новый тихий ритм обстоятельство.

Отец Антоний стал пропадать.

Всегда он отличался болезненностью, простужался от любого ветерка, но старался приходиться даже больным, с температурой, в крайнем случае, пропускал два-три дня, но всегда можно было позвонить, разузнать, утешиться. Теперь он просто не появлялся. Спросить было некого. Всё те же знакомые лица, люди, всегда приходившие к нему на исповедь, также ничего не знали и ждали его. Через неделю-две после исчезновения он возвращался как ни в чём ни бывало, и вновь всё озарилось, всё забывалось. Батюшка поправился, слава Богу.

— Что с Вами было?

— Хворал.

В эту долгую зиму это повторилось уже дважды, пока он не исчез надолго. Прошла неделя, другая, началась третья, отца Антония не было. Измучившись, я подошла к другому священнику храма, тому самому старичку, когда-то проводившему первую в моей жизни исповедь:

— Отец Александр, простите, вы не знаете, что с отцом Антонием?

— Да, говорят, болеет. Сначала гриппом, только стал поправляться, ангина. Выздоровеет — придёт.

Отец Александр мягко улыбнулся, благословил. Но спокойней мне не стало. Какая ещё ангина? Почему «говорят»? С ним что-то происходит, никогда ещё он не отсутствовал так долго, без предупреждения, без отпуска — смутная тревога, неясные догадки сжимали. Неужели нельзя позвонить? Сказать, что всё в порядке, хвораю, мол, скоро поправлюсь. И кто же ухаживает за ним? Пьяница-сосед?

Петра, правда, повторила то же, что я уже слышала в храме, кажется, болеет, кажется, ангина...

— Откуда ты знаешь? Почему «кажется»?

Через каких-то общих знакомых, которым он звонил и сообщил это, не ей же сообщил — поэтому и «кажется», ты не волнуйся.

— Кто за ним ухаживает, когда он болеет?

— От нашего храма иногда направляют старушек. Но он этого не любит. Никого к себе не пускает.

А ты, что ли, пробовала? — так и подмывало меня спросить, но вместо этого я спросила:

— Когда же он собирается выйти? Не сказал.

4. Снова смысл жизни. Всенощные бдения

Его не было в храме целый месяц.

Никак не могла я ожидать, что это будет невозможно так. «Какая бездна разверзлась!» — он, он мне сказал когда-то эту восторженную фразу, даже не помню по какому поводу, кажется, когда рассказывал об отпевании какого-то старца, святого человека.

С внезапной и поначалу не слишком понятной жадностью я начала вдруг слушать классический рок, все старые группы, достав у недоумевающих знакомых записи, впервые познакомилась с Rolling Stones, Doors, Genesis, Queen... Да что там понимать — это мостик возводился, хрупкий, хоть так, хоть по нему, хоть с чёрного хода, дойти,

добраться до тебя, до бессмертной твоей души, слышишь.

Но поначалу слушать их я не могла вовсе — душа сопротивлялась, отворачивалась — это было не моё, чужое, недоброе. Да только слушала, слушала всё равно, сжавшись и мучась (мостик!), пока однажды, твоими ли молитвами, отче, пока однажды в наушниках сквозь весь этот музыкальный шум и хрипы не раздался вдруг отчётливый внутренний хруст. После этого дело пошло легче, я вошла — моих ушей коснулся он, и расслышалась вдруг больная красота этих мелодий, различилась сцепляющая их непростая гармония, видите как — всё по вашим советам, архимандрит Киприан, ищите и обрящете, прислушаться, приглядеться, и сквозь искажённое, сквозь израненное грехами и прошлой судьбою лицо воссияет лик, сквозь потускневшее изображение проступит вдруг яркое, ясное виденье!

Снова я входила в жесточайший ступор. Всё чаще меня стало посещать поначалу даже и не само оно, но отзвук, но тень подозрения, что и православие моё — только очередное обольщение, не в объективном, разумеется, смысле, но для меня.

«Спасение вершится каждый Божий день, каждый день ты можешь созидать его, — наставлял меня когда-то отец Антоний. — Оно кроется в очень конкретных вещах — в том, как ты помолилась, как посмотрела на проходящего человека, в ласковом обращении, в помощи кому-то».

Но за эти годы я уже пригубила чашу благотворительности, в которую с такой жертвенной готовностью бросалась тогда новообращённая молодёжь. Однако еженедельные посещения дома престарелых наполняли меня, как и всех забредавших туда, одним только чувством бесконечной беспомощности, преодолевавшим даже и жалость: зловонные, умирающие, потерявшие разум старухи, — за краткий свободный вечер можно было справиться с двумя-тремя комнатами, успеть поменять бельё пятишести (это был трудоёмкий продолжительный процесс), можно было даже одну помыть в ванне, но этажей в доме было как раз пять. И на каждом жили.

Я возвращалась домой, принося с собой в квартиру тот незабвенный запах, ложилась на кровать и молчала. Всем не поможешь, всех не спасешь, пусть хоть один человек, довольно и одного!

Любви не было во мне, вот когда ухвачу я заветный краешек Смысла — полюбив, полюбив хотя бы одного человека. Но и этот один, которого, кажется, я могла бы полюбить так, христианской любовью, чурался меня, воспринимал меня как неизбежность, вешал трубку, уходил печалиться один!

Что стоит тогда моё хвалёное православье, все врут — я, что ли, живу по правде? Господи помилуй, вечернее-утреннее правильце, среда-пятница, и довольно, и чего ж ещё надо — какое фарисейство!

Острая жажда гибели ударяла в голову.

Грешить бесстыдно, беспобудно, но нет, не от отчаянья, а потому что это будет единственная правда обо мне самой, этим я, наконец, покажу, покажу и Ему, и отцу Антонию тоже, какая я на самом деле, это будет не месть моя, но последнее перед судом слово.

Я начала пить. Я не знала зачем, но душа моя знала и — как не удивиться тут! как не изумиться её чуткости — угадала заранее всё.

Но тогда я пила, не очень-то отдавая себе отчёта, в бессознательности, это было бессознательным откликом на всё: бессмысленность, безлюбие, но ещё сильнее, сильнее всего — на его исчезновение, на эту не-объяснимость. Вино затыкало этот дурацкий зов, этот вой по ушедшему. По покойному — он умер уже давно. Господи, если б он

только вернулся, я немедленно б исповедовалась, я бы рассказала всё, я бы выплеснула, но его не было, и стена разделяла меня и его, стена — меня и Господа моего.

Квартира сделалась норой, а я её обитателем. Зверье что-то было в том, как я теперь жила. Потаённо, молчаливо, не говорила с собой. В пустоте.

Это были печальные дни — я училась на последнем курсе, положено было писать диплом и не ходить на занятия. Утро отводилось на праведный труд, невзирая на головную боль и поганость настроения, я брала себя в руки, аккуратно раскладывала книги, даже читала их, даже выписывала на карточки имена и цитаты. «Die jungen Locken badet' im Goldgewolk»^{*}... Я писала о Гёльдерлине, когда-то пленившем тем, что единственный из всех он отдал в жертву своим убеждениям и жизнь, и разум. В дипломе я пыталась доказать и без того очевидный факт, что все его неоконченные вещи, в особенности пьесы — не окончены принципиально, он и не думал их заканчивать, это входило в замысел... Вскоре я прочла свою мысль, правда гораздо в более отточенном виде, в только что вышедшей книжке о драме немецкого романтизма, но не переделывать же было наполовину написанный уже диплом! И я выкручивалась как могла, пыталась прыгать по незанятым именитым учёным островкам, использовать другую систему доказательств...

Только вся эта филологическая бессмыслица отвлекала меня ненадолго, часа на два, три — поднималась я поздно, и подходило время обеда.

Я делала закладки, закрывала тетради, книги, складывала их стопкой на угол стола, я больше не могла, эти кривые немецкие букочки, и захлопывала всё! Я вставала на цыпочки, чтоб дотянуться до тайника, устроенного в глубине шкафа, среди книг — высокое горлышко было особенно удобно заставлять тёмно-синим русско-немецким словарем, отодвигала словарь. Согревала приготовленный мамой утром, в спешке, перед работой, овощной суп, резала хлеб и доставала квашеную капусту — рождественский пост был в разгаре.

Я пила не так уж и много, три-четыре рюмки, больше не шло. Страшно было и родителей — учуют. Я знала: дело не в количестве. Не количество мне было важно — сознание.

Жестокое вдохновение разгоралось во мне всё ярче — порушить на хрен всё. Разрушить эту гибкую гадину, эту так дерзко уклоняющуюся из-под ударов душонку. Можно было б прямой — можно б ещё грубее, и я восхитительно точно знала как, да даже и не, не травка, слишком дорогое удовольствие, слишком сложное — существовал, всегда под рукой был другой вернейший и убийственный способ, но я выжидала пока: трудность состояла не в том даже, что для него необходим был соучастник — держало прошлое, трёхлетнее прозрачное прошлое маленьких отказов, крошечной, но борьбы. И я сидела на двух стульях — жалко мне было вдруг всё потерять. Я решила потихоньку — пока он не вернется.

Каждую субботу я приходила в храм, но его не было.

После нескольких бесед с Петрой я поняла, что и Петра не прочь составить мне компанию. И вечером, после субботней всенощной, иногда купив бутылёк, иногда в надежде на расторопность петрину я отправлялась к ней. Петра с тех давних пор, когда Антоша отпустил её, в наш храм больше почти не приходила, ходила куда-то ближе, рядом с домом.

^{*} Юные кудри купает в золоте... (пер. с нем.) — из стихотворения Фридриха Гёльдерлина «Dem Sonnengott» («К солнцелобу»).

Пили всё больше коньяк. Особой популярностью пользовался «Белый аист», но то была роскошь, и чаще пили азербайджанский, он тоже всегда почти оказывался удачным. Пили всю ночь. Играл Бах, о, эти концерты для клавесинов я выучила наизусть ещё со школы, или, кажется, Queen, пленительный последний сборник «Innuendo», ни одной плохой песни, а потом ещё с Кабалье, она ж пела как раз о том, о том, о чём мучилась я сейчас.

— Петра, что с нашим батюшкой?!

Но Петра молчала, Петра резала яблочко, Петра всегда накрывала бутылку крышечкой («Зачем?» — «Для порядку»), странно зыбко было, тьма делалась прозрачной, белой, близился рассвет. Не было отчего-то уюта — и Петра всегда оставалась недосыгаемо далеко, Петра не пьянела, Петра молчала, а я говорила, развязывался язык, я не могла остановиться, всё равно было о чём, с тихо играющей музыкой совпадала музыка сердца:

— знаешь, в детстве у меня была такая игра, будто меня зовут Серёжа, будто где-то совсем рядом со школой у меня есть домик, куда мы ходим с ребятами, моими друзьями отдыхать, и у нас там стоят яркие апельсины на скромном деревянном столе — большего не могло измыслить моё детское сознание, как в русских народных сказках знаешь скатерть-самобранка — кваску, хлебушка, картошку, по фольклору проходили. Но это даже был бы не домик, а вагончик, в котором живут строители, я однажды подглядела такой, не только столик был бы у нас, но и кровать, полка, на полке — картина, ваза, учебник русского языка... Но потом когда я выросла и наверное началось половое созревание да? (я давно уже смеюсь, а Петра улыбается ласково, одними губами — это ясно видно в светлеющей темноте) так вот, у Серёжи появилась девочка, которая ему нравилась у неё не было никакой специальной внешности, он-то был кудрявый светлый как Электроник Серёжа Сыроежкин, помнишь, мечта идиота, ну, а она вылитая я, он ей приносил подснежники или фиалки сами понимаете первая любовь весна в фиальте и этой девочкой была тоже я и выяснилось так просто на простом совершенно примере — как можно соединять любить и быть любимой, — я опять смеялась беспричинно, неожиданно счастливо или наоборот озлобленно в безнадежки — не над своими словами, нет, говорила, смеялась, не могла остановиться, но оттого лишь, что любила её, слышишь, я люблю тебя Петра! может быть ты это в первый раз слышишь, хочешь сейчас будет второй люблю тебя петра обожаю, это ж от слова бог ты как бог мне я хочу быть с тобой всю мою весёлую жизнь, я даже говорю ей после очередного тоста:

— Слушай, давай поженимся.

— Ну и на этот раз ты будешь мужчиной или женщиной? — не теряется Петра. И я осекаюсь. Я ведь и боюсь её тоже, и мне так некстати, сквозь хмель, вдруг делается жгуче стыдно — что мы делаем? зачем пьем? завтра утром на службу. Да, мы ложимся, мы встаем утром на позднюю, и вечный холод, у Петры всегда так плохо топят, больная голова и бесконечная литургия, но где-то кто-то кому-то сказал, что можно до Отче наш, и мы быстро выходим, прощаемся у метро. И слабо, слабо заходят в метро недоумённые ноги — боги, боги мои, кому это надо?

5. Возвращение

В начале января отец Антоний наконец вернулся, вернулся надолго. Но оказалось, я уже не могу быть рада, потому что устала, устала ждать его и мысленно разговари-

вать — казалось, не месяц — жизнь прошла, пока он где-то там болел, и за этот месяц я как будто узнала о нём больше, чем за прежние месяцы и недели, и вот он пришёл — а я привыкла уже, привыкла, что его нет и никогда не будет! Так, на исходе второй примерно недели я придумала утешать себя, чтоб только не ждать больше так больно, чтоб не ссучиться снова до вечных этих не сбывающихся никогда надежд, так и говорила себе: он не вернется больше. Никогда. И мне делалось легче. И я привыкла, что его нет, привыкла — к этой загнанности и одиночеству, никого вокруг, и луны белой за занавеской в январском морозном небе — не забыть, но выпей — и будет легче, пропитай этот ужас и тоску спиртом, и они не уйдут, нет, этого никто тебе не обещает, но они станут переносимы, а если чуть больше нормы — тут и вовсе затошнит, а это всё же лучше, чем когда тошнит душу.

Только близился Великий пост. Он наступил вечером, в прощенное воскресенье. Один за другим шли после службы люди, всё было чёрным и сосредоточенным, все падали на колени, потом вставали, просили прощенья. И я тоже сказала ему:

«Простите ради Христа». И он ответил со странной серьёзностью, будто и не отсюда уже: «Ты, ты прости меня, Маша!» Он снова вдруг оказался смиренным и очень простым, он вдруг почему-то точно каялся, да я что, я ничего, батюшка. За что мне и прощать вас, на что сердиться?

И начался Великий пост.

И вроде б нельзя уже было пить, пьянство. И в странном соответствии с церковным календарем, в чистый же понедельник, едва я открыла глаза, едва поднялась с постели и шла уже в ванну, привычно скользя по иконам, по полкам с книгами, как столкнулась со знакомым корешком немецкого словаря, синей дверкой своего тайника — и тут же, как смерч, внезапный стыд и рыдающее какое-то покаянье согнуло напополам — да что ж это такое? что я делаю?

С самых первых дней исповедание помыслов старцу особенно привлекало меня, в этом виделся путь к очищению, и так давно уже тянулась к этому душа. Отец Антоний соглашался со мной и жалел, что в наших условиях это невозможно. Однако если очень хочется, давай попытаемся.

Я стала исповедоваться ему ежедневно. Когда его не бывало в храме, я звонила и, поздоровавшись, кратко называла всё плохое, что подумала или совершила за день. Отец Антоний говорил в ответ несколько слов, обычно посмеивался надо мною, и мы расставались. Это было ни с чем не сравнимое время. Последняя милость Господа к нам обоим.

С середины февраля, поддавшись просьбам и уговорам, я пошла работать в школу, и встречи с детьми тоже оживили и освежили меня, облегчили пребывание в замкнутом пространстве дома. В остроте радостей того поста, в остроте тех освобождения и света я не умела предчувствовать конца. А он был не за горами. Вопреки всему — он был не за горами.

Последний раз мы виделись в Великую субботу, я принесла освящать куличи, на длинных столах в церковном дворе стояли посыпанные пудрой разнокалиберные куличики, крашенные розовые, красные, зелёные, пёстрые яички, пасхи с воткнутыми красными свечами. Батюшка освящал все эти кушанья, ходил вдоль столов и кропил всё водою, специальным венчиком. В небольшом промежутке между освящениями я сообщила отцу Антонию все свои новые грехи, он прямо во дворе накрыл меня епитрахилью; улыбался, стоял солнечный тёплый день. Мы договорились встретиться в

храме на Светлой седмице, в среду, я хотела вернуть ему некоторые книги.

Часть четвертая. ПРИЕХАЛИ

1. Бесконечный разговор (2)

Но в среду отец Антоний не пришёл. Вновь увидела я знакомые лица, людей, которые тоже, видимо, пришли к нему, вновь на лицах была едва уловимая растерянность.

После дневных забот я вернулась домой.

— Мама, мне никто не звонил?

— Никто.

Я набрала знакомый номер.

Отец Антоний взял трубку и как будто бы очень обрадовался... Только голос показался мне до чрезвычайности странен. Отец Антоний произносил всё с какой-то глубокой необычной хрипотцой, и точно бы замедленно.

— Почему у тебя такой необычный голос? Ты не заболел?

— А что у меня — необычный голос?

— Немного.

— Маша! Когда ты позвонила? Я думал, ты позвонишь мне утром, ждал, а сейчас-то, поди, полночь?

— Всего полвосьмого.

— Прости, мы с тобой договорились, я помню, я не пришёл сегодня в храм.

— Ты болеешь?

— Маша! — он снова замолчал, точно не решаясь продолжить. — Ну, во-первых, у меня болит нога, распухла, я даже не могу выйти из дома.

— Да-да, ты говорил.

— А во-вторых, я выпил, — и это прозвучало так невинно и доверительно, что я только усмехнулась.

И далее начался один из удивительнейших в моей жизни разговоров, который продолжался с небольшими перерывами три дня, и который врезался мне в память во всех словах и обертонах интонации — с отчётливостью, граничащей с болезнью. В самом деле, долго ещё наш бесконечный разговор преследовал меня, как бред, как страшный и желанный сон, долго ещё, не в силах остановиться, я силилась продолжить, хотя бы и мысленно, силилась договорить, потому что так много было сказано, но столько ещё оставалось!

На долгие месяцы это даже превратилось в глубочайшее потаённое наслаждение души (говорить, как тогда), и, замирая, боясь пропустить хоть слово, я слушала и слушала этот больной, надорванный, так ясно звучащий во мне голос...

Впервые в жизни я почувствовала, как обаятелен пьяный человек, как многое, о чём принято молчать, выносится на поверхность, как сильна иллюзия, что именно (и только) пьяная душа может искренно выплеснуть всё, что её наполняет, именно пьяные слова сочатся непереносимой почти в своей подлинности правдой, ибо они одни писаны кровью сердца.

— Прости меня, прости меня, ради Христа. Ради Бога, не осуждай меня. Ну да, я

выпил. Но я больной человек, я лежу тут, у меня болит нога, я поспорился со всеми, мы чуть не подрались с этим подонком

— соседом?

— да, мне было сегодня... просто хреново, и я выпил. Прости меня. Я перед тобой честен, я ведь мог бы притвориться, мог повесить трубку, но я тебе всё честно говорю. Мне было плохо, и вот я надрался как сивый мерин.

— Я не вижу в этом ничего страшного.

— Да, я тоже не вижу, ну конечно с одной стороны я — одно но с другой — я человек имею я на это право? или нет?

— имеешь

— я болен у меня депрессия наверное любой психиатр посоветовал бы мне лечиться я болен тяжело я недавно перечитывал Доктора Фаустуса это моя любимая книжка ты прочитай эти надломленные люди но я скорее просто серьёзно болен я бы с удовольствием поехал сейчас в нищу виндсерфинг солнце тёплая светлая вода... маша прости я спрошу тебя можно

— да

— скажи только честно я хороший тебе духовник

— да ты хороший у тебя дар сердечный ты очень добрый и всё принимаешь в сердце и у тебя дар исповеди так никто меня не исповедовал никогда в жизни

— Маша!

— это правда так

— Сам Бог тебя мне послал! если по правде, то ко мне ведь ещё в школе многие подходили и открывали свои тайны не знаю почему наверное потому что я был тихий такой хулиганом никогда не был и уже потом, в театре один человек даже смеялся надо мной: «А это наш Лука» он со всеми так сладенько поговорит всех утешит я тогда очень обижался

— тебя крестили в детстве

— да ещё во младенчестве по семейному преданию я на собственных крестинах схватил батюшку за бороду и так истошно при этом закричал. Может быть, в этом был какой-то знак — он засмеялся

— атеистом я никогда не был недавно я нашёл здесь у себя философский словарь сталинских времен и обнаружил там исправления и надписи которые вносил ещё двенадцатилетним отроком — что Бог есть и т.д. И мальчиком оставив всех часто ходил в церковь как мог тянулся к вере как-то нашёл у бабушки Евангелие и жития святых и читал эти книги... потом пошёл в армию и там тоже тайно носил крест там у нас возникла группа я играл на гитаре — уже тогда тяга к чему-то неотмирному искусству вернувшись обратился по-настоящему вошёл в церковь у меня был друг детства который чуть раньше стал верующим он наставлял меня в вере подарил Новый завет потом театр восемь лет проработал там осветителем и каждую субботу убежал в храм там был совсем неподалёку мой первый храм в театре я застал удивительных людей ещё тех это были личности Гандлевская Седов это были люди артист ужасная профессия всё время живешь чужой жизнью, но они сумели сохранить себя

— ты хотел стать артистом

— да даже поступал один раз но слава Богу не поступил всё больше в массовках народ пьяницы видишь тоже не случайно а потом так мне это надоело эта театральная жизнь там делалось всё как-то мрачнее и глуше и я оттуда ушёл и пошёл в

семинарию а там всё быстро постригли рукоположили

— почему ты решил в семинарию

— совершенно искренне я тогда находился на очень глубоком уровне веры и желал ещё большего желал полноты богообщения именно так а исповедовать там ну да думал буду исповедовать но я не мыслил себя пастырем я никого не хотел учить я для другого шёл а тут только меня рукоположили и на второй день священства в храм пришла женщина-убийца на второй день Господь привел на исповедь эту женщину до этого я ведь читал только в книжках что бывают убийцы а вот она задушила собственную свекровь и была в таком отчаянье хотела идти в милицию но повернула в храм на следующий день я уже выходил из храма мы вместе дошли до метро и говорили. На следующий день я крестил её она стала очень верующей одна из немногих людей мне известных которые действительно не мыслят себя вне церкви и до сих пор когда она говорит об этом плачет она готова искупать этот свой грех кровью такое покаяние! работает она теперь в храме в пригороде

— но ты же понимал что придётся всё это слушать люди будут приходить

— по-настоящему ничего я конечно не понимал говорят надо молиться устраняться на исповеди но совершенно устраниться невозможно я вот послужил несколько лет поисповедовал и вижу. От этого можно сойти с ума, Маша, сколько скорбей! эта бездна человеческого греха болезней эта тьма начинает действовать. И сопротивляться очень трудно. Один уже старый человек мне рассказывал про священника который был хорошим духовником он служил в двадцатые годы в москве к нему многие ходили. А потом он сошёл с ума. И незадолго до этого он сказал этому человеку: «мне всё труднее общаться с людьми всё труднее исповедовать особенно после женской исповеди впечатление как будто побывал в женской бане» а потом с ним случилось это несчастье он конечно больше не служил лечился вышел за штат и я его понимаю может быть потому что мало молитвы, молюсь плохо и мало, может быть но мне всё труднее бороться с тьмой

— Мне уже давно очень темно. Ты знаешь, я иногда ощущаю дьявола, он от меня не отходит. Я знаю, я должен быть рыцарем, который всё время борется, но иногда этот рыцарь изнемогает и опускает меч. Бывают моменты когда я чувствую что я без Бога Бог меня отпускает и тогда ко мне приходит кто-то другой ну ясно кто, и он мне говорит, что теперь меня ничто не защитит. Потом я знаю что это не так что Бог не выдаст свинья не съест но это потом. А тогда мне бывает очень страшно. И ужасно тяжело.

— а ты кому-то ещё говорил это

— я периодически рассказываю это своему духовнику и он меня прекрасно понимает но я хочу чтобы и ты меня поняла я говорю тебе это потому что потому что никогда бы тебе этого не сказал но сегодня я выпил

— конечно

— конечно, я Богов то о чём я говорю не постоянно это какие-то минуты но тогда время течет по-другому. Сатана приходит и забирает всё. Святые отцы говорят, что уныние — грех, но когда оно делается твоим постоянным состоянием, и что что нужно сделать чтобы вдруг раз и начать радоваться я не могу я больной человек я иногда просто не в состоянии больше исповедовать я не знаю возможно ли чтобы всё это шло мимо, ведь перед тобой живой человек с обнаженной болью который если не услышит от тебя ничего неведомо что может с собой потом сделать некоторые так и говорят: Батюшка, если вы мне не скажете, что мне делать я пойду и удавлюсь и

батюшка должен разрешить все его духовные семейные и производственные проблемы

— я понимаю

— невозможно изо дня в день слышать об этих бесчисленных абортах изменах блуде и так это говорится как будто ну а как же иначе что же делать когда с этой темой приходят совсем девочки меня буквально охватывает ужас приходит девушка и сообщает что она жила с собственным отцом или старушка которой почти сто лет и рассказывает что в 1909 году папа пока мама была в больнице использовал её вместо мамы или приходят гомосексуалисты которые уже и не рады но не знают как им от этого избавиться и рассказывают про свою жизнь или здесь же в храме подкладывают любовные письма и не анонимные а потом ходят по пятам

— что же ты делаешь

— что с ними сделаешь стараюсь не обращать внимания говорю что это невозможно отчитываю как детей

— надо благословлять их срочно выходить замуж

— а если у них уже есть муж

— это поразительно

— поразительно потому что ты ещё маленькая не знаешь жизни

— какой критерий знания

— видеть жизнь в её грубом разрезе жизнь очень груба маша но ты молода тебе сколько лет

— завтра будет двадцать два

— ну вот видишь а я мне завтра будет сорок не завтра конечно — завтра я буду лежать дома я бы и всегда так лежал хорошо выпивка читаю слушаю радио

— может быть можно некоторое время не исповедовать только служить

— да нет служить не легче: молиться — кровь проливать я думаю может мне лучше уйти за штат как ты считаешь

— как это — за штат

— ну не служить так часто не получать зарплату приходится иногда по праздникам на литургию

— то есть ты вообще не хочешь...

— маша!

— но ты же хороший священник это твоё призвание у тебя разве есть ещё что-то в жизни разве тебе есть куда уйти ты ведь сам мне сказал это однажды так хорошо нам некуда больше пойти

— пойду работать дворником

— батюшка

— что машенька

— ты просто очень устал

— ты только не спрашивай меня, не жалею ли я. Меня некоторые спрашивают, но это то же самое что у приговорённого к смерти спрашивать не хочется ли ему ещё пожить! мне вообще отношения между человеком и Богом представляются по-другому все эти институты — это человеческое Бог гораздо шире Господь Вседержитель это просто смешно подумать Он ни во что ни в какую мысль ни в какой закон не вместишь каноны законы они пытаются ограничить Творца Вселенной но маша не получилось у человека идти этим путем и тогда он остается наедине с Богом и что же — Бог его примет такого Бог ему скажет: иди иначе, иди как умеешь Я всё равно

с тобой и Я желаю тебе спастись! эти отношения человека с Богом неизмеримо глубже многообразней чем их представляют официально сколько раз я думал, это даже не Отец, это другое — мягче, нежнее, эта милость, изливаемая всегда, изливаемая вечно. Господи это невозможно представить это просто глупо как это безмерно глупо маша — Творец Вселенной не имеющий предела в любви будет меня любящего Его любящего Его и слабого будет уничтожать меня, — Господи! — он начал вдруг молиться, и я не смею повторить слов этой молитвы, скажу только, что он каялся вслух и молил простить его, он забыл обо мне, но вдруг снова очнулся, и снова без всякого перехода перешёл на разговор со мною — я за всё благодарен я только не знаю, нет я знаю есть право на ошибку оно не отнято никогда никогда разве, обещая, понимаешь? разве можешь вместить что обещаешь, правда, что мысль о милосердии Божиим может далеко увести и я, ты знаешь, я боюсь стать еретиком боюсь встать в противоречие с церковной догмой... Да я бы просто отдохнул месяца на три куда-нибудь уехал

— может быть можно попробовать

— нет невозможно никто не поймет я пытался говорить с начальством но мне отвечают: Да что ты! Да служи!

— но хотя бы на месяц

— ты только прости меня прости меня ради Христа я могу быть торопливым резким грубым но ты знай батюшка тебя любит он за тебя молится ты ему дорога. Мало у него таких детушек. У тебя день ведь рождения скоро

— да

— сколько же тебе будет лет

— двадцать два года

— совсем мало ты совсем ещё маленькая машутка!

— не пей больше пожалуйста, у меня разрывается сердце

— хорошо не буду

— ты смеешься а я по правде говорю тебе это ведь не для одного тебя это для тех кто рядом тоже такая смертная мука ты же знаешь

— хочешь знать почему я пью

— почему

— я пью потому что мне одиноко маша

— кто, кто не одинок батюшка? ты ведь сам сам сам мне говорил что каждый человек даже у кого и семья и дети и друзья он один

— мне иногда кажется если б я был не один тёмные силы не подступали бы ко мне так близко ты даже не представляешь как это серьёзно обет — это ведь не пустые слова но только со временем понимаешь за данное слово надо пострадать, начинается эта Голгофа ты думаешь я преувеличиваю что-то батюшку заносит если бы ты знала что бывает со мной ночью

— да я слышала об этом, и понимаю

— никто меня в этом не поймет

— батюшка!

— только брат. Или сестра — он уже улыбается там, слышно по голосу — тихая улыбка.

— давай я буду как сестра

— я не знаю смогу ли я после всего что было сказано, быть тебе духовником. Я не знаю, что со мной будет дальше. Мне это всё равно. В храме я взял отпуск сослался конечно на больную ногу

— а петра всё это знает
— что
— что ты пьешь
— знает
— а петра
— маша ты всегда о ней говоришь почему
— что
— маша
— потому что мне беспокойно всегда беспокойно когда петра
— это что ревность
— где ревность там и любовь
— об этом я не говорю
— ну я конечно люблю тебя но как батюшку!
— (вздых)
— очень люблю
— ты пойми она моя первая духовная дочь это рок какой-то она пришла едва я стал священником месяца три только прошло а через год пришла ты и теперь я вижу что и ты и петра посланы мне Богом как испытание в монашеском выборе потому что в какой-то момент мне стало трудно вас видеть я перестал ощущать себя монахом давшим обеты
— отче
— я люблю вас обеих
— отец Антоний
— я вас обеих люблю вы обе мне дороги
— это...
— и больше прошу тебя к этому никогда не возвращаться маша никогда! После этих слов я ощутила со всей жесткостью яви: стоявший у плеча ангел, хранивший меня все эти долгие три дня, отошёл — именно после этих слов. Я вас обеих люблю, вы обе мне дороги. Только теперь ушли все преграды, и я стала беззащитна перед этим человеком, перед его большими словами, только теперь всё его горе и болезнь стали входить в меня беспрепятственно и прямо ложиться на оголенную душу.
— что ж, батюшка, уже без пятнадцати два
— спокойной тебе ночи
— и тебе
— маша! я всё равно не буду спать и ты помолись чтобы я не умер за эту ночь

2. Бесконечный разговор (3)

Но и за первые два дня я привыкла, я поняла: нравится. Мне нравится разговаривать с ним таким, я погружалась всё глубже, я была заражена, что-то отключилось во мне, что-то замерло, и стихия этого бесконечного разговора, откровенного до бесстыдства, до душевных объятий и не всегда точных пьяных поцелуев разговора показалась родной.

Мне больно было — и вкусно, и хорошо. Я перестала бояться, я шагнула навстречу. И он говорил, говорил так, будто хотел сказать всё, навсегда. Будто прощался со мной!

— А я, я верю в человека. И верю, что жизнь каждого человека и всего челове-

чества не бессмысленна, не напрасна, и в цивилизации не одно только удаление от Бога, но и прославление Его, но и пусть неявная хвала Его величию. И хотя земной мир всё-таки погибнет, история завершится, она тоже имеет глубокий смысл, и конец всему не смерть, а жизнь, потому что Христос приходил и воскрес. И я не понимаю, почему из всех тем у монашества любимая — бесы, искушения, я этого не понимаю! Почему с такой охотой говорят о тьме и молчат о свете?

— Наверное, они просто не знают.

— Они не могут не знать, мы все, все знаем! А те, кто ещё не разобрался, кто только-только пришёл в церковь, с ними надо говорить особенно бережно. Вот они пришли в храм из этой жестокой, из этой невыносимой жизни, отчаявшись, и в общем-то уже ни на что не надеясь, не пришли, зашли, заглянули — и снова их пугают, говорят о вечных мучениях, геенне огненной. И опять человек зажимается, и даже если становится церковным, обкрадывает себя, потрясённость своей греховностью — это ведь только первый шаг, но для большинства и последний. Но есть и вторая мера, вторая высшая ступень — сыновства, усыновления Господу. И там страха быть уже не может!

— Совершенная любовь изгоняет страх?

— Да о нём тогда и помину нет! Антоний Великий говорил: Не боюсь Бога, потому что люблю его. Разве это убеждает меньше? Значит, совсем не обязательно запугивать людей адом, можно указывать им любовь Божию, открывать её, и если человека коснется хоть язычок этого пламени, этого чувства, что Бог есть любовь, он сам устрашится того места, где Его нет, сам устремится прочь — к любящему Господу, к Спасителю, к небу.

— Почему же тогда всё-таки...

— Да потому что это гораздо труднее, проповедовать путь любви, тут уже одним словом не обойдёшься, нужны дела, а страх наказания родней, понятней, и... страх действует! Но страх для немощного, а человек столько раз доказывал, как он может быть велик, к величию и надо обращаться, образ Божий искать в закоулках души, а не шантажировать слабости и падшесть человеческого устройства. Страх — это ведь всегда хоть маленький, а шантажик, торг.

— Но существует страх Божий.

— Слово то же, но этот страх уже любовь, это уже не трепет перед мукой ада, а боязнь оскорбить Того, Кого любишь.

— Странно, что я слышу всё это впервые. Почему ты никогда не говорил ничего подобного в храме, на проповеди?

— Не может быть!

— Но серьёзно.

— Ты забываешь, кто я. Не говорил, потому что не уверен, уверена ли во всём, что я говорю, Церковь... — он снова усмехнулся. — Я ведь совершенно в другом положении, приходят люди, и так часто хочется ответить им по-человечески, или, как пишут отцы, по-человечеству, а я не могу. Я не могу. Ты не представляешь, что это! Сам иногда не верю, не чувствую, что говорю, но зато мнение Церкви, и не знаю, что полезнее, что вернее — эта благостная маска, которая отваливается на глазах, даже стыдно, или то, что и в самом деле я об этом думаю, потому что тоже прожил жизнь и бывал в разных переделках, понимаешь, сказать из житейского опыта, который у меня есть, или из церковного, духовного, которого у меня нет! И эта раздвоенность иногда буквально раздирает. Всё время оговариваться, оглядываться, бояться не совпасть с мне-

нием Церкви, но что такое мнение Церкви?

— Это её тысячелетний опыт, длящийся опыт отношений с Богом и осмысление этих отношений. Ты говоришь невероятные вещи...

— всё совсем иначе сложнее ты сама подумай Христос тогда создал Церковь такую глубокую что она вмещала в себя весь мир всю вселенную но люди ж не могут они маленькие куда им вселенная и Церковь! Христову! превратили в organization понимаешь organization нарисовали эти ватерлинии сюда нельзя и вместо того чтобы свет свет миру эти ватерлинии, маша, невозможно ты просто не знаешь а каждый священник с этим сталкивался совесть совесть — глас Божий говорит одно, официальное мнение — совершенно другое

— разве официальное мнение — это не голос всеобщей совести

— не знаю чей я не знаю чей и поэтому я, я просто иногда не хочу думать, понимаешь, как это страшно додумывать что-то до конца доходить до конца не слушать этого искустельного голоса потому что не наоборот, а это-то и есть голос искустеля: не думай не думай надейся на Господа надейся и не думай, мысли — от лукавого аще не будете как дети Господь дал мне детскую веру — кто это Иоанн Кронштадский а мне тоже дал маша но там другие слова тоже есть про мудрость как будто — он волновался всё сильнее, голос осекся, казалось: сейчас заплачет

— да да я понимаю я тебя понимаю батюшка

— спасибо, но мне страшно страшно стать еретиком я тоже знаешь читал я сам цитировал кто хуже всех грешников но неужели Господь этого от нас хочет Маша я не верю я готов это иногда с амвона закричать не верю, что Он желает чтоб мы забыли что Он свободными сотворил нас не животными как будто никто никогда не читал любимый ученик Иисуса его же любляше Иисус помнишь ты помнишь мы — друзья, вы божи есте, ты помнишь?

Мне показалось: плачет.

— я помню, помню, хочешь я приеду к тебе сейчас

— ...

— разреши мне приехать к тебе

— нет Маша нет — голос прояснился — это не в моих правилах давай ещё поговорим я что-то увлекся а теперь ты мне что-нибудь расскажи ты говоришь у тебя завтра день рождения сколько же тебе исполняется лет

— мне двадцать два года я тебе кажется уже говорила

— да придут гости друзья

— приходи и ты хочешь

— я никого там не знаю да и потом выходной фрак в стирке не успею подготовиться... я слышу по твоему молчанию что ты уже хочешь сказать мне до свидания

— скорее, спокойной ночи

— что уже так поздно

— половина третьего

— маша! — и какая-то новая интонация послышалась

— маша, я тебя целую

— по-христиански три раза знаешь я всегда так боялась везде ведь написано в конце пасхальной утрени — христованье с духовенством — заторопилась, заторопилась я

— но Пасха уже прошла

— прошла

- так что целую в лоб
- а я тебя ... в ручку
- Он засмеялся.
- спокойной тебе ночи
- и тебе

И какая-то дикая нечеловеческая жалость стала захватывать. С каждым мигом она жгла всё сильнее, так что вскоре она одна и осталась, и переросла она всё.

И если бы только он сказал мне: мне для моего счастья нужно, чтобы ты была моей женой, я пошла бы и стала. Или: мне для моего счастья нужно убить тебя, я, не сомневаясь, подставила б голову. Или: мне для моего душевного покоя нужно, чтобы ты оказалась в аду, я и тут не стала бы раздумывать. Я положила бы душу.

Долго и трудно выходил он из своего состояния, телефон был отключён, разговоры сменились молчанием.

У меня тоже накопились свои дела — я второпях дописывала диплом, что-то пересдавала давнее, оформляла документы для аспирантуры, в эту краткую передышку торопясь сделать всё, и на несколько дней в душе всё тоже застыло, пока он не позвонил:

— Маша!

Только тут, в этот миг, вместе со звуком голоса, здорового теперь, вместе со звуком своего имени, я вдруг догадалась, что со мной произошло. И вопреки всему бешеное забилося во мне счастье. Я ведь и не знала, как это бывает, я даже и представить себе не могла, а она вот такая, вот оно как.

3. Liuboff (1)

Никогда я не знала, что это так. Ничего, ничего похожего на то, что когда-то было. Тысячи вещей неведомых прежде открылись — и всему я поражалась, каждое новое открытие до краев переполняло светлой радостью. Иногда её набиралось так много, что хотелось раздать её всем, горстями черпать ещё и ещё, хотелось поделиться и рассказать целому свету, сколько всего я поняла, сколько нового ощущаю.

Я поняла, например, что любовь вовсе не слепа — что я по-прежнему вижу его всего, даже зорче, трезвее, чем прежде, вижу всякого, но именно такого люблю — вот этого рыженького человека тридцати осьми лет. Он сделался как бы прозрачным, и душа его, робкая, ласковая, беспокойная, ангельская его душа светила теперь сквозь все слабости — пронзительно и ясно. И я смотрела на неё во все глаза, без отрыва, плача и улыбаясь, мне не жалко было бы так провести целую жизнь, Господи, я любила эту душу.

Я поняла и то, что любовь — это совсем не обязательно понимание, многого в любимом можно не понимать головою, но это обязательно — приятие, когда принимаешь всего человека — разного, в разные его минуты, и всякого заранее, навсегда прощаешь, и больного, и раздраженного, и даже уставшего от тебя самой. Что можно любить недостатки.

То и дело мне думалось, что случись вдруг так, что по немыслимому стечению метафизических, онтологических, канонических и, Бог знает, каких ещё обстоятельств, мы очутились бы вместе, поселились бы вместе, жили вместе и видели друг друга каждый день — ничего, кроме несчастья, мне бы это не принесло, я ведь по-прежнему

видела, каким тяжёлым и непростым он мог быть, понимала, что находиться подле него — крест (и, конечно, тогда лишь обострилось бы чувство беспомощности, ведь сокращение расстояния не означает, что ты в состоянии теперь помочь), но что всё-таки, всё-таки я несомненно была бы счастлива, благодарна и счастлива без меры, пусть горьким невесёлым счастьем. Счастлива — оттого, что рядом, что смотрю на него и его слышу, что каждое мгновение вбираю его в себя, и ему себя отдаю.

Он, правда, и так был теперь со мною, наполняя душу тихим чистым светом, и это было странно — впервые: такое глубинное ощущение наполненности, никогда уже никакой пустоты, уныния, наивных вопросов, смешно — о смысле жизни... И оказалось возможным, действительно, подолгу сидеть, стоять, ничего внешнего не совершая, попросту — ничего не делая, и не скучать, потому что одна память о нём каждый миг переполняла глубочайшим смыслом. (Вот как молятся люди, вот за счёт чего! Они также смотрят и любят Бога.)

Мне делалось даже не по себе, до чего просто вдруг разрешился любимый мой проклятый вопрос, как легко отступили все сомнения, терзания — зачем я живу? для чего? кому это нужно? Да низачем, просто, чтобы любить единственного в мире человека!

И как будто впервые за последние годы ожила, точно умылась земля, засияла новыми красками — деревья позеленели, на асфальте обнаружили морщинки и изгибы, трещины, сквозь них прорастали тонкие упрямые ростки; и люди — забывтая, изгнанная, выжженная любовь к миру воскресла, со всеми я вновь точно породнилась, точно только теперь, без всякого напряжения и усилий вступила в этот невидимый круг всеобщего родства, о котором когда-то так больно мечталось.

Но быть может, самое невероятное в открывшемся мне было то, что впервые за такое долгое время, за всё наше трёхлетнее знакомство мне ничего не было от бабушки нужно, какая-то немислимая кротость опустилась на душу. Нельзя его видеть — я не буду, нельзя слышать — не буду, пусть будет так, как ему лучше. Я ничего не ждала, только всегда думала о нём, и стоило мне представить, что вот он быстро идёт где-то по улице, садится в поезд, смотрит в окно, что он есть, существует на этом свете, на этой земле — душа озарялась и ликовала. Никогда ещё я не благодарила Бога с такой горячностью за то, что Он сделал так, чтобы этот человек родился, и что теперь этот человек дышит, живёт на белом свете, что я повстречала его, Господи.

Он же стал мне звонить.

И опять мы много и подолгу говорили, хотя и проще, и чуть скучнее, чем в те блаженные дни. Нередко я с удивлением ловила себя на тоске по тем дням, по тем фантастическим разговорам, мне хотелось ещё, нет, нет, я стыдилась и боялась: только не это! — и всё же невольно ждала, всегда ждала теперь той хрипловатой больной интонации.

Я часто думала потом: отчего он звонил мне в то лето? Возможно, ему было просто скучновато, а наши беседы обычно получались занимательны, или просто у него волна была такая: он заметил, что я есть. Я не сомневалась, что он вовсе не думал, кому звонит, почему, и, конечно, вряд ли и помнил уже о вырвавшихся словах, хотелось — и звонил. У него продолжался отпуск, и жизнь он повел для себя необычную, точно желая оторваться от всего, стал ездить за город, и звонил поздним вечером из каких-то трещащих автоматов, с каких-то немислимых дач, голос терялся, тонул в шорохах, помехах, тогда он говорил: завтра из дома ещё позвоню.

И звонил днём.

— Я приехал. Вечером ещё позвоню.

И вечером звонил снова. Мы говорили несколько раз в день.

Вскоре он спросил:

— А не прийти ли мне к тебе в гости? Как ты на это смотришь?

Как я могла смотреть?

— Может быть, прямо завтра?

— Завтра я на один день уеду, может быть, послезавтра?

— Днём.

— Да.

4. Гости

Первая встреча в новых условиях и после всего, что было уже сказано, страшна была обоим. Мы сидели и стеснялись друг друга, пока отец Антоний не сказал:

— А не оскорбит ли молодую девушку бутылка шампанского?

— Не оскорбит, — отвечала молодая девушка и поперхнулась от восторга. Бутылка была извлечена из сумки и улеглась в холодильник. Вскоре её отставили на пол.

— А не оскорбит ли молодого иеромонаха рюмочка французского бренди, купленного вчера нарочно для почётного гостя?

— Не оскорбит, — усмехнулся в усы иеромонах.

Бутылка пустела, разговор журчал всё звонче и проще. Хотя и трезво работала голова, хмель лишь облегчал эту непривычную неотработанную ещё неофициальную встречу.

— Маша!

— Да?

— Да ты своя в доску!

Батюшка взял гитару, спел песенку собственного сочинения — очень ироничную и смешную. Он опять рассказывал о своём прошлом — мягко, с лёгкой ностальгией — о театре, о людях, видно, любивших его и которых он любил когда-то. Это молодость была. И выпить я мог сколько угодно. А наутро просыпался весёлым, свежим. Потом всё почему-то делалось темнее и темнее, эти бесконечные гастроли, разброд, а я всё не мог уйти.

— Что же держало тебя?

— Любовь к театру. Да что я! — он махал рукой. — Всё это давно ушло, — и он снова наигрывал что-то, напевал, и разливал дальше.

С невольным любопытством я вглядывалась в его лицо, и невозможно было долго смотреть — такой ослепительный отсвет лежал на нём, того мира, такой свет посвященности.

Он мог быть злым, мог говорить недобрые, грубые слова, мог вот так, пьяненький, петь песенки, и, казалось, тут уж всё терял. Но я поднимала глаза: да, и сквозь пьяное лицо, и на таком лежали ясные блики. Залегли несмываемо, невытравимо. Всякий раз, когда мне хотелось словесно преступить границу допустимого, заговорить по-свойски, запросто, в последний миг я невольно проверяла, поднимала глаза — и язык прилипал к гортани. (Возможно, оттого-то телефон и сыграл в своё время роковую роль в нашей истории — по телефону не видно лица! По телефону слышен лишь голос, голос человека, голос мужчины 38 лет.)

Понимал ли он сам, что происходит? Мне хотелось думать, что нет, или не до конца, или не так... Но постепенно, по неуловимым мелочам, я догадывалась: понимал, понимал хорошо. Может быть, не сознавался себе, может быть, себя обманывал, а — понимал.

Ещё в самом начале меня охватило сомнение:

— Ты знаешь, мне иногда кажется, я к тебе очень горячо отношусь, понимаешь?..

— Маша! — он чуть помолчал. — Мы же живые люди!

Значит, можно, значит, ничего страшного! И правда, я же ни о чём не прошу, ничего не хочу, я только буду любить его, и всё.

Однако как-то очень издалека, очень походя уже тогда холодной змейкою проskalзывало в душе изумление: отчего же он меня не остановит? Отчего не намекнет, хотя бы едва, что ситуация — безвыходна и разрушительна, несмотря на самые светлые побуждения и чувства?

И тогда же, так же издалека, и как бы не задерживаясь на этом, я поняла: ему всё это н р а в и т с я. Нравится быть любимым, но негласно, но без произнесения каких-либо разъясняющих эту вроде бы неясную и вполне пристойную ситуацию фраз.

А мне-то как раз хотелось говорить. Мне хотелось рассказывать всем, какие чудеса со мной происходят, мне хотелось наконец выкрикнуть, выкрикнуть всему миру. И как-то раз, исписав очередной листочек любимым трёхсловным предложением, я набрала знакомый номер, не взглянув на часы, среди ночи, чтобы, наконец, высказать это вслух, будь что будет, я больше не могу, я люблю тебя. Я люблю тебя. Батюшка, я тебя люблю.

Никто не подошёл. Слава Богу, на ночь он отключает телефон!

Он по-прежнему звонил, я по-прежнему звала его в гости — благо храм находился от меня в нескольких трамвайных остановках.

— Приходи завтра, я целый день дома.

— Завтра я служу, тогда после службы. После крестин.

После службы он бывал хорош — по-хорошему уставший человек возвращался после работы, и долго сидел тихий, приходил в себя:

— Знаешь, сегодня мне досталось. Целый храм исповедников.

Потом мы вместе обедали, уже никогда не пили больше, отец Антоний оживал, делался прежним, весёлым, добрым, злым. Мне, конечно, всё хотелось, чтоб это было хоть на что-нибудь, хотя бы слегка похоже — ко мне заезжает после службы мой добрый старший друг, да что ж такого? Но какой друг мог бы заезжать ко мне так часто? Ну, тогда не друг, просто священник. Но зачем он заезжает? Как кто? Как пастырь или как... друг? Я путалась, я мешалась, затыкала глотку этой дурной бесконечности вопросов, только почему-то никак они не смолкали во мне, никак было не унять. Да что ж такое? Да не всё ли равно, как кто — друг, недруг, брат, сестра, товарищ, муж. Как подло это было: вопросы не только задавались помимо моей воли, приходили сами собой и ответы, и вот оно: мужья так приходят домой, Маша! Хрипло так и противно кто-то шептал мне в уши, но не дрогнув, посылала их всех вот именно туда.

Он будто уловил вдруг моё смятение и сам заговорил первый.

— Ты как будто меня каждый раз немного боишься, понимаю... Я и сам боюсь. Батюшка в гости! Но знаешь, почему это?

— Почему? (сейчас, сейчас я наконец успокоюсь!).

— Да потому что священник — человек. Такой же, как все, Маша. Разницы нет.

Но никто, никто не хочет этого понимать. Людям, народу Божьему, — он хмыкает, — удобно иметь под рукой не такого же человека, а старца, пастыря! Вот его и возводят, выталкивают чуть не насильно туда, где ему совсем не место. На роль старца. А я не старец, понимаешь, и не пастырь никакой, я никто.

— Но ты служишь, совершаешь таинства.

— Да таинства совершаю не я. Хоть ты-то меня не расстраивай. Таинства вершатся благодатью Божией. Я только инструмент. Ржавый молоток в руках Господа, — он усмехнулся печально. — Мне кажется, происходит страшная ошибка у нас в церкви. Страшная подмена. И ужасно, что никакого сопротивления этому безумному народу, который как ребёнок, который не ведаёт, что творит, со стороны духовенства тоже не оказывается. Батюшки, уж скажу тебе, да ты и сама это видишь, батюшки надуваются, их распирает — как же, я пастырь! Я спасаю души людей. Я — представитель Церкви и, значит, право имею даже и говорить от её имени. Сами батюшки в это верят!

— Я помню, ты однажды даже писал мне про младостарчество, да?

— Да, и это тоже. И получается: священство и народ — какое там единое тело, меж ними бездна, они разведены — самодовольством одних, слепотой других.

Он забыл даже про любимую свою жареную картошку и, похоже, забыл, с чего начал.

— Батюшка, остывает.

— Понимаешь, никто не хочет уже видеть во мне человека. А я человек, Маша, слабый и грешный. И думаешь, я не пробовал? Пробовал, сколько раз уже, пробить эту стену, стать человеком среди людей, применял даже самые отчаянные меры — шарашаются! Нет! Только не это. Стой там, куда мы тебя поставили. Изволь оставаться недоступным, далёким пастырем, который указывает нам, как жить, куда идти. Учи нас, командуй нами! И учишь, и командуешь, — он вздыхает, встаёт, подходит к окну.

— Но по долгу службы.

— Кто это понимает? Думают: учит, потому что святой. А какой я святой? Ты видишь... Христиане — народ священников, и все равно достойны, все предстоят Богу, но это забыто, смазано, и раз! Священник — сверхчеловек. А народ так, не совсем даже и люди, тупое, забитое стадо. Это ошибка всей церкви, и никто её не хочет, не думает исправлять...

Не убедил, не убедил, батюшка. Священство, народ, стадо, слабый, грешный, никто, всё отлично и так смиренно. Да только мужья так приходят домой, Маша!

И для простоты картины я пока не стала приходить к нему в храм, в глубине души мне казалось, что если я снова увижу его в облачении, прежним отцом Антонием, я там же на месте и умру. Хотелось ещё пожить, и я отодвинула от себя все эти детские проблемы — отношения с церковью вообще тогда перестали меня занимать, я любила человека — чего ж ещё?

5. Снова Петра

Петра была создана нарочно для того, чтоб непрестанно мучить меня. Петра не умела себя вести, но была в своем праве. Да, я обожала её, иногда со злым отчаяньем ловя себя на том, что в своем испуганном обожании стою на грани ненависти, потому что Петра специально мучила меня и обижала, но была в своем праве.

Петра надо мной насмеялась, Петра высовывала язык и дразнила, дразнила, но с

такой искренностью этого не замечая, так от чистого сердца, потому что Петра всё всегда делала от одного чистого сердца, я не смела и глаз поднять. Да, вот что было поразительно: Петра обладала априорной чистотою поступков, её нельзя было заподозрить ни в чём низком, так безоглядно сама она верила во всё, что делала, так это было честно до конца с её, Петриной, стороны, хотя и столько в этом было вранья. Петра врала, она умела, но тогда я этого не знала, тогда я с болезненностью и загнанностью ощущала лишь тошнотное кружение, запах обмана, всё пропахло чесноком в этом подлунном мире, но откуда шёл этот запах?

По кратким её обмолвкам ясно было, что она знала про отца Антония всё задолго прежде меня, что она и сейчас знает больше, но лучше умрёт, чем будет говорить со мной о нём, Петра как-то окончательно замолчала, и в довершение всего — тоже, как раз с конца весны, с мая, стала вдруг про пад а т ь. Куда?

— Я четыре дня подряд звоню тебе, а тебя всё нет. Ты уезжала?

— У меня неприятности, — отвечала Петра загробным голосом.

— Что случилось?

— Так...

— Ты не скажешь?

— Каждый человек имеет право говорить только то, что сочтёт нужным, — отрезала она.

Всегда хотелось обвинить её — но в чём? Она назло молчала, назло! Да нет, у меня просто такой характер, я такая с детства. Мои уже давно привыкли. Но я хоть и не говорю, я... чувствую.

Лишь чрез отца Антония мне открылись когда-то новые стороны в Петре, лишь по тому, как он смотрел на Петру, как говорил с ней, я поняла, как много и в ней тоже этой пронзительной беззащитности, этой обнажённости, которая с годами проходит у людей, зарастает — а у Петры нет, всё та же открытая, не умеющая себя спрятать душа, всё та же высокая нота, которую невозможно всегда выдержать, жизнь сбивает, врывается подлость и пошлость, а Петра держала, Петра тянула.

В наших отношениях никогда не было равенства, а значит, не было и подлинной дружбы? Я говорила, Петра слушала. Петра не говорила никогда! Она молчала, она смотрела внимательными глазами, ставила чайник, ешь печенье, ты пьешь с сахаром, но была ведь какая-то жизнь и у неё, текло бытие, происходили события! Да что Петра, в конце концов! Что мне Петра? Ничто, никто, мы месяцами ж можем не видеться, не встречаться, вполне достаёт телефона — и, можно подумать, кто-то об этом сожалеет!

Но однажды, когда она вдруг уехала надолго, на целое лето уехала в деревню, я поняла, что жить без неё уже не смогу.

Тем необъяснимей была полнейшая невозможность соприкосновения, эта вечная немолчающая мука косноязычия, не могла я говорить с нею! И единственное стремление, охватывавшее меня в присутствии Петры, было — бежать, бежать прочь, потому что слишком невозможно быть рядом. Но Петра не пускала. Петра говорила: Я тебя люблю. Мне тебя не хватает. Я по тебе скучаю. Ты — человек мне едва ли не самый близкий.

И замирало сердце: самый близкий? «Едва ли» проглатывалось совершенно, мало ли, всегда страшно договорить, всегда хочется хоть тропку для отступленья, но это ж Петра была, о каком ещё недоговоре, о каком отступленья могла идти речь — но тогда я этого не учитывала, несчётно забывая с кем имею дело, и при каждом новом напоминании поражалась, вздрагивала: ах, да, это ж Петра, как могла я забыть!

— Скажите мне, скажите, что она за человек? Я не могу. Я не понимаю.

Вздыхал отец Антоний. Я сам не понимаю. И много раз я и ей это говорил: я отказываюсь понимать! Что ты хочешь от меня услышать? Да я в жизни не встречал человека более странного, более непонятного и, думаю, никогда уже не встречу. Она ведь, правда, не от мира сего. Но в каком-то ином смысле. И это проявляется во всём, и это так нелегко бывает вместить, что иногда я и сам не могу с ней общаться. Иногда мне делается это непереносимо тяжело! И тогда я прерываю всякое общение с ней.

— Но почему же, почему ты всегда его всё-таки возобновляешь? Я знаю, я не могу так спрашивать, но это единственный раз, хоть один раз мы можем поговорить нормально, ты можешь сказать мне правду?

— Какую правду?

— Она нужна тебе?

— Она? — снова тяжёлый вздох на том конце трубки. — Может быть, наоборот. Посмотри, она совсем одна, у неё нет друзей, и тот единственный человек, которому она может раскрывать эту свою странную душу, — голос ослабел, — этот человек — я. Говорю тебе, мне часто это бывает очень трудно, но в этом я не могу человеку отказывать.

Это давнее объяснение странно смягчило меня тогда, то, что моё собственное присутствие в жизни Петры не нарушало её одиночества, я приняла как должное, дело было совсем не в том, из разговора я поняла вдруг с удивлением и тихой радостью, что духовный отец мой действительно добр. Что вот, хотя он Петре давно и не духовник, остаётся ответственность, остаётся эта связь, ведь кто не знает — близкие люди не расстаются, им всё равно никуда не деться друг от друга. И он помогает, он снисходит, он всё равно священник.

Но сейчас Петра что-то скрывала от меня. А я тоже скрывала от неё. Я влюбилась, Петра! Но тебе не скажу.

6. Liuboff (2). Велосипед

Через две недели иссякли и свет и счастье. Целый день он был теперь занят, на службах, на требах, а я была дома.

Я закончила все свои неотложные дела. По нелепым человеческим предрассудкам, ненавистное лето надо было как-то проводить, во что бы то ни стало отдохнуть. Но я не устала! От чего мне было отдыхать. Бескорыстие кончилось, он стал нужен мне всегда, каждый миг, я считала часы и боялась выйти из дома — он позвонит. Мама, мне никто не звонил?

Но никто не звонил.

Вскоре, оставив мне порядочный запас продуктов, мама уехала на дачу к папе. Родители проводили там отпуск. А я осталась в квартире одна.

Дни проходили не очень плодотворно. Утром я просыпалась с мыслью, что вот впереди новый день, а у меня такая тяжесть на сердце, которую почему-то нельзя сбросить и которая едко, недобро сжигает все мои внутренности. Я медленно вспоминала, какая тяжесть. Каждое утро снова.

Я поняла, что такое боль души. Болит душа — это вот так, как у меня сейчас. Это значит, нельзя забыть ни на минуту — что бы я ни делала, что бы ни говорила. Это значит, всегда, так будет всегда, вчера и завтра, и вечно. И я должна это вынести. Совсем не тихую, совсем не ноющую, но эту схваченность, эту сжатость, эту немую

мольбу, как бы и постороннюю от меня, так что хотелось даже ответить — что тебе, ну, что тебе? Я-то знала, что.

Боль была такой животной, такой нутряной, что не было способа облегчить её. Нельзя было вообще ничего с ней сделать. Можно было выкрикнуть что-то, можно было разрыдаться, написать стихи, пытаться как-нибудь выхаркивать её хоть понемногу — но поздно уже было, она уже не доставалась, не выплёскивалась ни в словах, ни в делах, ни в слезах — которые тем не менее отчего-то по-прежнему вдруг начинали течь, без видимой причины, и также неожиданно высыхали. Я почти их не замечала больше — душа моя жила отдельной и какой-то своей теперь жизнью, а я только бессмысленно наблюдала за ней и видела: выхода нет.

Мне хотелось бы, чтобы эта отравленность, эта затравленность перешла и на голову, чтобы был бред, были галлюцинации — тогда бы он обязательно пришёл. Он пришёл бы ко мне как живой и сел рядом. Ничего не надо, только чтобы ты зашёл ненадолго. И просто был. Но даже и в снах я не видела его. Я ведь всё же спала по ночам, ложилась, но он не приходил.

Я полюбила лежать на полу. Я лежала на полу и смотрела вверх. Почему-то такое положение тела облегчало положение дел. Положение дела облегчало положение тел. Я включала музыку, что-то всё время кричал Фредди Меркьюри. Led Zepplin был в опале, к нему немислимо было прикоснуться, потому что слишком близко было небо, слишком близко окно, а от окна тихо вилась вверх верёвочная лестница Иакова, лестница на небеса. Поэтому Меркьюри — нейтральный, прекрасный. К известной картинке не хватает ещё бутылочки, но её-то и не было. Сказывался странный ступор: только не это. Эту грань нельзя было перейти. Ради него нельзя. И никакой бутылочки. Всего раз в день — имеющий уши да услышит — всего раз в день я звонила. Это было почти как никогда — одна коротенькая возможность, такая призрачная, такая великая, и всё-всё уже я знала, знала наперёд, но звонила. Чаше трубку никто не брал. Иногда брал сосед. Я выучила его интонацию наизусть, его запинаящееся и почему-то вечно изумленное аллэ. Будто он не знал, что на свете бывают телефоны и люди по ним звонят. И я не была разнообразна, я спрашивала своим голосом, хотя могла б и подделывать, могла б что-нибудь пропищать или пробасить, но я своим голосом говорила в сотый, тысячный раз:

— Здравствуйте, позовите, пожалуйста, отца Антония.

— Его нет.

Иногда он был многословнее:

— Да вроде нет его, уехал, что ли, куда...

Однажды я осмелела и продолжила.

— А не сказал, когда вернется?

— А ты ему кто?

В ужасе я повесила трубку.

Многое мне было неясно — ведь это он мне открылся, он говорил, я только слушала, но сейчас во мне зрело чувство противоположное, что наоборот — распахнулась я, ему себя отдала я, ещё раньше, прежде, но в какой-то момент, я даже не успела понять, когда (видимо, в эти вот как раз три дня?) — он перестал это принимать, стал пренебрегать, посмеиваться, а я всё не умела заметить, всё говорила взахлёб — в лицо похотывающему, добродушному цинизму...

Всё уговаривала себя, давным-давно ещё — во дни тягостных сомнений и мыслей

об уходе: потерплю, потерплю ещё, потерпи на мне, как сказано однажды, в этом ведь всё христианство — женщина во мне терпела, не христианка... Так жёны терпят униженья и насилие мужа, это бабье что-то, извечное, русское во мне пробуждалось — тогда ещё! Ничего-то я не понимала — только сейчас, сейчас схватило вдруг это чувство, чувство поруганности, мне болезненно чудилось, что я обесчещена. Т а к , т а к и м говорить с женщиной — обесчестить её. «Своя в доску!», да он же просто не у в а ж а л меня больше, это как-то очень ясно стало. Поэтому — ну что и звонить ей?

В таких раздумьях прошла неделя. В воскресенье отец Антоний наконец позвонил, сам.

Я была совершенно спокойна, я не выказала радости, только слегка, только вежливо. Он разбудил меня, я уже почти спала. Мы говорили. Отец Антоний был мягок, добр, что-то рассказывал, как-то меня смешил. От смеха у меня текли слёзы, никакой недели, тяжёлых мыслей и пола не было. Потом он пропадал снова, но и я тоже училась, я тоже сказала себе спокойно и так, чтобы нельзя было не разобрать: ну, а теперь я буду звонить ему один раз в три дня.

Первый день прошёл неплохо. Второй — хуже. Молиться я не могла. Как за последнюю соломинку, я схватилась за архимандрита Киприана. Иозеф всё-таки подарил мне потом эту книгу, но уже несколько последних лет я не открывала её.

«Мы должны так научиться видеть и слышать друг друга, чтобы за словами, поступками, часто несовершенными, наивными, увидеть, различить мимолётный проблеск истины, мысль, стремящуюся выразить себя, пусть смутно и приблизительно, и уметь отозваться на неё, а не на слова, отозваться состраданием, любовью, участием...» Какая сладость, какой романтизм — кажется, лизни страничку и ощутишь на языке приторный сахарный привкус. И сжечь захотелось эту книгу, эту конфетную, сытую фигию. Жизнь, она гораздо грубее и горше, архимандрит Киприан. Жизнь — это мужчины и женщины, это страсть и грех, это — рыкающий зев. Надо научиться видеть жизнь в её грубом разрезе, жаль, уже умерли, а то б вам объяснил про это всё один православный батюшка, собственно, иеромонах.

К середине третьего дня я пошла в магазин. Я чувствовала себя преступно, кошмарно — руки у меня подло тряслись. Несмотря на все эти трудности, я всё-таки купила себе две бутылки лимонной водки. Если не умру к концу сегодняшнего дня — вечером отмечу трёхдневную победу.

Но тут произошло чудо.

Приехал велосипед. Он свалился ко мне с самого неба — и в этом я не сомневаюсь ни секунды. Иозеф позвонил мне — Иоханна, положение совершенно безвыходно!

Иозеф вернулся из армии прошлым летом, поматеревший, почужевший, с отвердевшими чертами лица. Теперь он стригся всегда коротко, бороды больше не носил. Переписка наша через год его служенья вдруг иссякла, Иозеф начал задерживаться с ответами, писал всё короче, односложней, пока не замолчал вовсе — служил он в Казахстане, в стройбате.

Полгода после армии Иозеф никого не хотел видеть и ничего не рассказывал. Полгода едва здоровался, если мы изредка сталкивались лицом к лицу в университете — он ведь вернулся только на третий курс. Только к зиме он как будто начал отходить, оттаивать — улыбался теплее, начинал заговаривать, но тут уж мне стало ни до чего, ни до кого — пошли душевные эксперименты, питьё, Петра, мы так и не сдурились обратно,

И вот он звонил как ни в чём не бывало, обычным своим серьёзным сбивчивым иозефским, чуть только погустевшим, голосом говорил. Иоханна, извини, пожалуйста, что я к тебе обращаюсь, но вышла совершенно дурацкая история, Макс с Анкой уезжают в Германию, навсегда, раздаривают вещи, вчера Макс подарил мне велосипед, но мама против, мне и вообще-то совершенно некуда его девать, я сначала обрадовался, думал, на балкон, но там, оказывается, рассада, у мамы через неделю разыгрывают дачи на работе, она посеяла астры, и мама... она волнуется — но если не можешь, я спрошу кого-нибудь ещё...

Хей, Иозеф, к делу! Что я могу для вас сделать??

— Ну, просто я хочу подарить тебе велосипед. Правда, он мужской, с перекладной. И иногда я буду у тебя просить его покататься. Но, если тебе не нужно, я тебе не подарю — просто, может быть, пусть у тебя пока стоит. А потом мы его переставим, — слышно было, как он стесняется. — К сожалению, всё это срочно.

Я вспомнила Иозефову двухкомнатную квартиру — велосипед там было поставить не то чтобы некуда — куда б его не поставили, он сразу преграждал жизненно важное пространство.

— А где он сейчас?

— Мама переставила его в подъезд, около нашей двери — я выглядываю каждые пять минут.

Через полчаса в квартиру ко мне, приятно позвякивая, въехал велосипед. Он был старенький, с синей, сильно облупившейся краской. Руль у него был закручен рожками вниз — полугоночный! Он полюбился мне с первого взгляда — вот кто будет мой боевой товарищ.

— Макс — это кто?

— Макс — это мой знакомый. Он учился со мной в одной группе — ты его, наверное, видела, такой светловолосый, высокий.

— А Анка?

— Его двоюродная сестра, — Иозеф вдруг смутился.

Мы пили чай и говорили немножко — так, будто встречаемся каждый день, и поэтому можно говорить о мелочах.

— Ты куда-нибудь поедешь на лето?

— Нет, а ты?

— На две недели, в Архангельскую область — Кох зовёт, ты его знаешь? Он с лингвистики.

— Это в диалектологическую?

— Ну, это он в диалектологическую — а я просто посмотреть. Я ж тогда с вами в фольклорную так и не поехал.

— Это было страшно здорово, ново — старушки, песни...

— Я помню, ты писала... Та-та-та-та и рук шершавых, от леко, сести и бывает, мы перед вами лишь не правы, никто ни в чём не виноват, — это были мои тогдашние стихи, которые я отправляла Иозефу.

— Как ты всё помнишь?

— Не всё. Я закурю?

Он принёс сигареты и закурил, стряхивая пепел в блюдечко. Мне хотелось спросить его: «А как же Флоренский?», но он курил так уверенно, так скромно, не гордясь и не стыдясь этого, что я сказала вместо этого:

— Иозеф! Я по тебе соскучилась. Мы совсем не говорим теперь. Может, я и сама виновата...

— Никто ни в чём не виноват!

— Ты не звонил.

— Знаешь, — он посмотрел на меня, погасил сигарету, — я просто боялся.

— Чего?

— Всего. Всех. Тебя.

— Но почему? Меня!

— Потому что я вернулся с того света. Я ничего не понимал. Два года — это же невероятный срок! В двадцать лет всё меняется с бешеной скоростью — поменялся я, поменялись и вы, но мне казалось, что я-то поменялся гораздо больше, у меня ведь был опыт, к тому же этого так хочется — измениться, всегда рад преувеличить. И вот я пришёл. Куда? К кому? Кто меня здесь ждал? Я ведь теперь совсем другой, но понять это может только тот, кто также возвращался. И у нас в группе был такой же, как я, — летом вернулся, раньше я его не знал, а тут сразу познакомились — как раз Макс, который уезжает сейчас, его велик, он такой простой, больше молчит, он просто рядом, но этого вполне, вполне хватает — (я слушала его не дыша, Господи, это опять Иозеф был, обратно Иозеф был со мной!) — и вначале это был единственный человек, с которым я хотя бы мог быть рядом. Он очень мне помог. Потом он познакомил меня с Анкой. Весь этот год я общался только с ними. И кроме того, главное — они не знали меня раньше — и только с ними я мог начать сначала. А мне только и оставалось — начать сначала. Всех остальных я просто боялся.

— Но мы ждали тебя.

— Ну, ждали, да, но я не знал, что сказать вам. Я там в какой-то момент скурвился, — он улыбнулся, — проявил слабость, и делать вид, что я прежний, было бы как-то подло. И тогда я ещё этим очень жил, обдумывал, церковь же я тоже стал обходить, а без исповеди что-нибудь обдумывать — ты понимаешь...

— Но почему стороной?

Иозеф вскинулся, чёрные глаза его заблестели.

— Разве непонятно? Потому что это было невозможно! Я не мог! Не мог туда войти.

— Но ведь теперь всё позади, всё кончилось?

— Да.

— И ты не расскажешь?

— Может быть, потом. Ведь этого больше нет. Был мертв и ожил, — и он опять усмехнулся незнакомым каким-то, новым смешком — непереносимо взрослым.

— Значит, в церковь ты снова ходишь?

— Был вчера, товарищ лейтенант! Ездил, между прочим, в семинарию на два дня.

— Ты, что же, собираешься стать батюшкой?

— Собираюсь. Но только потом, со следующего года, после института.

— Как отец Артемий?

— Как отец Иозеф.

— Благослови каждый день кататься на велосипеде, отче! Последний раз каталась в восьмом классе.

— Бог благословит, дочь. Тормозите на поворотах.

И ушёл — почти такой же далёкий, драгоценный, какая-то Анка, Макс (спасибо

ему), проявил слабость, переживал, — и надо ж батюшкой, небось уж и не передумает! — новая пошла у Йозефа жизнь. А меня даже ничего не спросил. Можно подумать, я бы ему хоть что-нибудь и рассказала. Анка!

7. Приключенья

В тот же вечер я поехала кататься.

Мне снова было 15. Я забыла Йозефа, я любила только батюшку, только, батюшка, тебя я люблю на этом свете, только тебя, но знал бы ты, как это больно, мне больно, слышишь ты, я не могу жить! Я жала на педали — в горку, взмокши — но мне, наоборот, нравилось, что в горку, я жала на педали и вдавливала туда всю свою жаркую, жаркую любовь.

Ах, если б у меня был пистолет! — метко, звонко я стреляла б в сверкающие закатным солнцем окна, в плотно закрытые форточки — о, тревожный звук разбитых надежд, сыплются на землю горящие закатом осколки, льётся огненный дождь. Как, как вытерпеть мне этот мир, это сверкающее солнце, пропахший жасмином вечер, неторопливых гуляющих людей в светлых пиджаках? — был бы у меня пистолет, я разрушила, я б стреляла в них всех, в деревья, в белые цветы, прохожих — чтоб они тоже быстро падали на землю и лежали без звука, без движенья — вместе со мной, чтобы, как и я, больше не могли жить.

Я стала кататься так каждый вечер. Я хотела, чтоб у меня началась новая, уличная жизнь, было сто разных удивительных приключений, — и заезжала в незнакомые дворы, юродствовала, заговаривала с кем попало, задиралась (только тихо спящие под кустами пьяницы были моей тайной любовью, только к ним я подъезжала аккуратно, и, спешившись, смотрела — не умер ли ты, эй, ты живой? Но они обычно ничего не говорили в ответ — только тихо мычали). Бог ли меня хранил — не удавалось зацепиться, всё, всё скользило мимо, а если и оборачивалось — то лишь для того, чтобы пожать плечами. Тебе вообще-то что надо?

Только два раза со мной случились два настоящих приключения. Пошёл дождь, и я подралась с мальчишкой.

Этот дождь полил не внезапно — о нет, всё к тому шло, весь день стояла духота, сушь, и к вечеру воздух накалился до задыханья, до невозможной пыльной густоты, это чувствовалось даже дома, даже до форточки долетали сухие клубы пыли — и к вечеру, когда я выносила велик из подъезда, — ветер, предгрозовоый, встретил меня — по земле быстро катились обрывки бумаг, птицы прометывались косо, низко, задевая двор.

— Коля, домой! — беспокойно выкрикивали из окошек мамы. Все, все почувствовали, но ветер дул, он уведёт, он оттолкнёт тяжёлую тучу — еду!

Я ехала изо всех сил — тут же оказавшись так сладостно далеко от дома, первые круглые капли огромного размера упали на голые руки, и — мгновенно — с неба обрушился ливень. Но поздно, поздно мне останавливаться! Асфальт засверкал (солнце ведь было где-то совсем рядом), наполнился чистыми лужами, колёса ровно резали их напополам, но с каждой секундой лужи делались глубже, я чувствовала, что больше не могу, колёса вязли в этой сияющей, прозрачной воде, сквозь завесу дождя ничего не было видно, даже машины испуганно замерли — ехать было невозможно, я ехала по широкому проспекту одна, но и велосипед уже не справлялся, уже не вёз — со всей силы колесо вдруг наскочило на какое-то невидимое под водой препятствие — и с грохотом я полетела вниз. Вода не смягчила удара, на руке и коленках проступила

кровь.

Высвободив ноги из-под велосипеда, я переползла с камня на газон. Я лежала вся мокрая на зелёной траве, на водянистой, размягчённой дождём земле, я чувствовала её холод, но не мёрзла, горячая от езды. И я стала молиться, дождь, дождь, прекрасный, сильный, истреби, уничтожь меня побыстрее, я не могу так больше, сгнои же, вомни моё тело в землю, убей меня поскорее, убей меня, это всё, о чём я прошу!

Но он не услышал. Он вдруг стал слабеть и перестал. Все точно этого только и ждали, точно притаившись поджидали в убежище, и не успели упасть последние капли, как шумно помчались, загудели сияющие машины, повывезли люди, я подняла моего коника из грязи — вот и всё, поехали домой.

Через несколько дней я подралась с мальчишкой. Я проезжала сквозь какой-то просторный, уже опустевший, уже подёрнутый первым сумраком двор, по обычаю своему громко пела — без песен ездить мне было скучно, а он стал задираться, испорченный сопляк четырнадцати лет, вышел откуда-то из подворотни — в джинсах, чёрной футболке, с сильно отросшими волосами — какая симпатичная милая девушка, не проходите мимо, пожалуйста, остановитесь, я притормозила, а кстати, что вы делаете сегодня вечером, может, у вас найдётся для меня время, и только я собиралась ответить, что да, ещё как найдётся, как он так некстати начал добавлять какие-то ещё глупости. Рядом стояли его дружки — ещё меньше его, и тут ржали. Тимур и его команда. Не знали, с кем имеют дело!

— Сейчас я дам тебе по морде, если ты не заткнёшься!

Но он не заткнулся. Я бросила велосипед и ткнула его кулаком в живот. О какой ужас изобразился в его лице — какой детский испуг! Он быстренько согнулся, но всё-таки успел ударить меня в ответ — он (о человеческая подлость!) целился прямо в лицо, но я увернулась, и он попал в ухо. На миг я оглохла — и тут же жутко разозлилась, уже по-настоящему — изо всех сил я толкнула его снова, всё ещё полу-согнутого, в плечи — он тут же улёгся наземь. Но вместо того чтоб тут же подняться и дать мне сдачи — так и лежал теперь мешочком. Совсем испугался! Не ожидал!

— Понял? Ты понял?

Вся его шантрапа, увидев командира на земле, немедленно разбежалась. Командир лежал на боку, сжавшись, и искоса посматривал на меня одним глазом. Я поставила ногу на его поднятое плечо.

— Что ты вообще про меня знаешь? Как ты смеешь так разговаривать со мной? Да ты знаешь, что сейчас ты умрёшь? Как тебя зовут?

Он молчал.

— Как тебя зовут? Говори немедленно! — и я пошевелила его ногой.

— Саша, — прошептал он.

— Так вот, Саша, я хочу сказать тебе, что если ты ещё раз будешь ругаться матом, я тут же вернусь и выстрелю в тебя из пистолета!

После этой наставительной речи я быстро села обратно на велосипед и поехала дальше, а он остался лежать там, мой жалкий, жалкий враг. Я прощаю тебя.

Мокрая, я поднимала велосипед на четвёртый этаж, я его прокатывала в комнату родителей — прислоняла к дивану — он стоял, поблескивая, усталый, лёгкий, живой.

Ни одной мысли больше не было у меня в голове, ни одного чувства в сердце. Ноги подкашивались. Я нарочно пыталась заставить себя подумать ещё хоть немного об отце Антонии — тщетно. Вымывшись в душе, быстренько покрестясь на иконы, я

предавала свой дух в руци и засыпала мёртвым сном.

Так решена была проблема вечеров и ночей. Но ведь ещё перед ними существовало утро! Просыпалась я до невозможности поздно, всё тело поламывало от вечерних прогулок, и поднималась я только к одиннадцати, к полудню — но всё это мало помогало, всё равно, всё равно — как страшная пустыня впереди расстился бесконечный необозримый непреодолимый день. Как перейти его, как перепрыгнуть?

Кажется, вернулись с дачи родители. Внезапно ответили из посольства, из ОВИРа, из Москвы, не знаю откуда, нечаянная радость, тревога осияла их наивные сердца — сборы, вещи, волнения, но я жила мимо, мне на это плевать, я всё равно с вами не поеду, или поеду — разве это существенно, всё неважно — чувство конца и так не оставляло меня, и так вечным теперь было фоном. Что тут удивляться, я и без вас знала, что всё это похерится очень скоро.

И опять я бессмысленно, незаметная для них, беспокойных, лежала одна под музыку, пробовала что-то читать, но там ведь тоже всё было об одном, о том же, треугольники, треугольники, рябило в глазах от этой художественной литературы, надо ж так, да меня саму прижал к полу этот склизкий трезубец, эта личная жисть — а мы ли, мы ли не любили православие, мы ль не исповедались, мы ль не боролись с глупой плотью — мы ли не презирали одиноких женщин после 40, ревностно заботящихся, опекающих (по-матерински, по матерински!) возлюбленных (о Господе, Господе!) своих духовных отцов. Не простудитесь, батюшка, не выходите раздетым на улицу, ну куда ж вы побежали, накиньте пальтишко, вы и так уже покашливаете, ещё бы, с утра ничего не ели, скушайте четыре пирожка с капустой — для вас старалась, пекла, и вот купила себе и вам валидолчику — сердце-то у вас как? А вы, гражданочка, не подходите, говорю вам, не подходите даже близко, батюшка и так устал от вас, уходите вообще отсюда, ну что вы тут стоите, где ваше христианское смирение, вы, между прочим, не в магазин, вы в храм Божий пришли, нет, вы на неё посмотрите, не уходит, я ж вам говорю, он больше не выйдет, он плохо себя чувствует, он от вас заболел! Что ж — покликушествуем, посублимируем вместе, где вы, где вы, жёны-мироносицы, иди скорее к нам, милая Лера Алфеева, спускайся с синайских высот Джвари, вот и Аню Ильинскую позовем — она нам пособит с виденьем и видениями — поиспытываем ж вместе желанье нежности и религиозный экстаз!..

Вдруг мне надоело. И выbleвать из себя захотелось без остатка всё.

8. Конец

Я посмотрела на часы — полвосьмого, но было ещё светло за окном, посмотрела в календарь — суббота, девятнадцатое (ага, это, значит, месяц я уже так лежу), включила утюг, погладила мою любимую косынку в горошек, надела чистую одежду и пошла на исповедь. Во второй по близости к дому храм, на Троицкое подворье. Только что кончилась всенощная, после службы несколько человек вышли исповедовать.

Мне достался какой-то длинный, невероятно худой, весь заросший чёрной бородою монашек — я бодро рассказала ему, что унываю, грущу и почти не молюсь Богу — о главном решила смолчать, только, может быть, намекнуть слегка. Однако едва я намекнула, монашек немедленно оживился и начал задавать вопросы.

Вопрос за вопросом, подробность за подробностью — и невозможно ведь было неправду говорить! отделаться намеками! — через две минуты он сказал спокойно:

— Это — влюблённость. Вы влюблены.

Я молча потела.

— Значит, вот что я Вам скажу, — батюшка помедлил, взглянул внимательно и как будто с сочувствием. — Вам этого человека надо оставить. Не ходить больше к нему в храм, не исповедоваться у него. Никогда больше с ним не встречаться.

Что? Что он говорит? А благодать священства?

Но вслух я только сказала честно:

— Я не смогу. И я не понимаю, почему оставить.

— Назовите сами, как вы к нему относитесь.

Я молчала. Монашек ждал. Зачем он меня мучает?

— Я его люблю, — проскрипела я наконец, теряя последние силы.

— А он — монах. Любить монаха — это грех. Серьёзный. Подумайте и о нём.

— Но может быть, всё это скоро пройдет, и тогда...

— Такое не проходит. А если и проходит, то легко возвращается.

— У меня просто не хватит сил.

— Огня вы не боитесь!

— Какого ещё огня?

Иеромонах пристально взглянул на меня, но, встретив весёлый и холодный взгляд, смутился.

— Всякого.

Я ухватила за последнюю возможность, не могла я сейчас опустить голову, пообещав невозможное, отказаться от себя, не могла и высказала последний свой отчаянный аргумент.

— Через два месяца я, видимо, уезжаю отсюда, из этого города, этой страны, возможно, навсегда, даже если эти два месяца не общаться, может быть, хотя бы потом, хотя бы письма? Там, куда я еду, я буду совершенно одна, не к кому будет обратиться.

Кто тянул меня за язык, зачем? Если бы не вопрос, можно было бы действовать по умолчанию, не было бы запрета, но я не могла уже остановиться — исповедь.

— Не надо. Это значит, огонек будет тлеть. Это Вам только кажется: нет, будете писать об одном духовном, но Вы сами не увидите, как не сумеете сдержаться. Бог всё устроит и без писем.

— Я не смогу.

— Зачем Вы тогда пришли?

Господи, ну как так можно спрашивать? Как это, зачем я сюда пришла? Пришла, потому что мне не по себе, потому что счастье кончилось, потому что мне худо, я сочувствия ждала. А не обличений. Огня! Хочу, чтобы мне разрешили, за разрешением пришла, ясно? Чтоб предъявить потом собственной совести удостоверение: разрешено, не мучай!

Выйдя из церкви, я ощутила непонятное: гора свалилась с плеч. Нет, я, конечно, и не покаялась, и не понимала, почему «грех серьёзный», но зато я поняла теперь, что делать. Монашек был абсолютно прав. И я поняла вдруг, что именно так всё и сделаю, во всём последую его слову. Не буду приходить в храм, не буду писать писем. Даст Бог и сил. Пора выздоравливать. И было мне боязно, но и хорошо, и спокойно.

Через два дня в трубке зазвучал знакомый голос. После светского вступления я брякнула:

— Ходила тут намедни исповедоваться, и меня обличили.

Отец Антоний точно бы замер там, как-то мгновенно всё поняв и почувствовав, и тихо-тихо сказал:

— Что ж, это полезно, — и ждал, ни о чём не спрашивал.

— И я думаю, обличили правильно.

Он молчал.

— Потому что нет в наших отношениях правды Божией.

Снова молчание. Я рассердилась.

— Ты вообще-то понимаешь, что происходит? Ты понимаешь, что со мной происходит?!

— Понимаю. Но, Маша, что я должен делать?

— Разве не ясно?

— Но я боюсь, не будет ли хуже.

— Хуже не будет.

— Ну, хорошо, — он замучился, заметался там, — не ходи ко мне больше на исповедь, — и слышно было, как выдохнул: всё.

Мне тут же стало грустно, прежняя решимость вовсе оставила меня, как будто не это я сама и собиралась ему сказать! В то же время и смешно было: он сказал вещь очевидную, и без слов почти превратившуюся в реальность, он самое лёгкое выбрал!

— И всё?

И опять он молчит, вздыхает.

— Что ж, можно пойти и дальше.

Но и я трусила, страшно мне было сразу всё рвать.

— Нет-нет, просто давай я тебе сама позвоню.

Это был затасканный эвфемизм. Антоша, конечно, понял.

— Давай.

— Но... — нет уж, так просто, так обыденно мне тоже не хотелось. — Неужели тебе совершенно всё равно.

— Машенька! — и как когда-то на давней-давней исповеди, та же неповторимая, сразу узнаваемая старческая ясная интонация. — Ты помнишь, кого ты это спрашиваешь?

— Помню.

— И давай никогда, никогда к этому разговору не возвращаться, прошу тебя!

— До свидания.

— С Богом.

Конец вышел резок, т.к. я обиделась. Кого ты это спрашиваешь. Того, кто звонил в час ночи. Того, у кого заплетался язык, кто приходил ко мне в гости с шампанским и чокался рюмкой, пряча от родителей бутылку. Кто слушал деструктивную музыку. Кто любил «Доктора Фаустуса». Вот кого. А не кого.

После этого разговора я перестала лежать на полу. Хотя несколько первых дней чувствовала себя совсем также. Теперь его не стало не только в физическом пространстве, и я увидела всё в новом свете.

Я увидела, что прежде мы жили вместе. Жили вдвоём. Хотя я даже не замечала этого. Не замечала, что каждое, хоть чуть-чуть важное, заметное событие откладывалось в память и хранилось для него одного. Во мне всегда, где-то очень глубоко, всегда несколько последних лет жил он, жил отец Антоний, его взгляд и его усмешечка, и ум.

И жизнь жила для него.

Жизнь моя имела, да, имела только тот смысл, что могла быть рассказана ему. Это его вечное, постоянное свидетельство действительно свидетельствовало, что я есть, что

я, Иоханна Мария, живу и куда-то бреду.

Теперь же всё обратилось в сон. Жить стало неинтересно, жизнь обратилась в сон.

За целую неделю необщения, за немислимый этот срок, первый невыносимый огонь отгорел, и это было уже очень много, хотя всё помимо него осталось.

Плач наступал прямо на улице, прямо в метро. Я закрывала глаза, чтобы не видели люди и не видеть людей. Но слёзы лезли из-под век.

Через десять дней я позвонила, повод, как всегда, нашёлся. Говорили кратко и недолго. Я утешала себя: это как сигареты, как наркотики — нужна постепенность. Напоследок он вышел из деловитой роли, обмолвился:

— Не горюй!

— Что ты!! — впрочем, вышло несколько зло.

Через две недели я позвонила снова, вполне остыв, без чувств и волнений — так, на всякий случай, ну, мало ли что. Он снова был пьян.

Так рушатся крепости. Так люди валяются вниз. После первого же недолгого разговора (в этот раз всё было гораздо короче, темней и безотрадней) я поняла: больше не могу, не могу говорить с ним как прежде — если хоть немного продлится наш разговор, случится непоправимое. Не с ним, со мной. Это предчувствие новой беды достигло такой остроты и реальности, что впервые за всю нашу долгую историю мне стало страшно за собственную душу.

Я физически давилась им, даже вспомнить о нём было невозможно — без чувства дикого, растущего протеста против него всего — поступков, голоса, слов, против какого бы то ни было дальнейшего, пусть и наималейшего присутствия этого человека в моей жизни.

Но он сказал: позвони мне завтра.

Он сказал и, конечно, в тот же миг забыл всё, он ведь ничего не помнит, когда пьян, этот постылый, изъевший себя и всех вокруг человек. Но я-то помнила. Может быть, он и вправду захочет поговорить — по-пьяному делу, как известно, так хочется общения. Может быть, он совсем не забыл. Может быть, он ждёт??

И обреченно, как-то совершенно сгнув и пропав душою, отодвигаю, отодвигаю синий словарь, нащупываю заготовленную и не пригидившуюся когда-то бутылку — после второй рюмки уходит дрожь, после третьей всё мне делается смешно, после шестой я иду звонить. Я плохо иду, врезаюсь в косяк двери, но надо ж — не чувствую боли! Мне всё теперь очень нравится.

Вот, например, диван, сейчас я на него сяду. И всё будет хорошо. Я даже на него лучше лягу. Потому что сначала я буду ему звонить, а потом сразу буду спать. Спокойной ночи. Вот я и сплю. Почему я ушла из кухни? Потому что на табуретке мне надоело — а вот теперь я здесь, я снова с вами, мои дорогие радиослушатели, что-то я хотела делать. Ах, да, я ж буду звонить бабушке Антоше. Мы будем говорить о любви.

Как хотелось мне, чтобы он заметил. Чтоб спросил: что с тобой? почему у тебя такой голос? Пью горькую, — ответила б я. Но как ни (неподдельно) заплетался у меня язык, до чего ни разорвана была речь и синтаксические связи — не заметил. Он сам пил горькую.

О высоком мы уже не говорили, всё уже, видно, сказано было тогда, только мелочь, ты что делаешь, обедаешь, в суп пролился компот, а ты вылей его туда весь, как святые подвижники делали, — ха-ха-ха...

Но раз вдруг просверкнуло:

— Почему, ну почему ты пьешь? — я всё не могла успокоиться.

— Хочешь знать?

— Да.

И отчётливо вдруг, и почти трезво.

— Потому что я никого не полюбил в этой жизни, Маша. Потому что мне никто не нужен. Я никого не люблю.

— Что значит люблю?

— Это значит — положить за человека душу. Так я никого не люблю.

— Как же? Никого?

— Ни-ко-го.

И позже, позже уже, на исходе, сама с собой, в полубреду, в одиночестве договаривая с ним, невидимым, недоговоренное, невысказанное вовремя, рвущееся на свет, всё не умея остановиться — а знаешь ли, батюшка, знаешь, отец Антоний, что у меня сейчас внутри?

— Что же, Машенька?

— Каша.

— Какая такая каша?

— Кровавая-с.

Это конец был.

В начале сентября я простилась с ним, с Петрой, Ленкой, Олькой, Иозефом, раздавила пластинки и вещи: я не была уверена, что вернусь. Всею семьей мы уезжали в Канаду. Это был абсурдный родительский план, они и меня тащили туда же, и какой-то канадский университет ещё вдруг написал, что рад будет меня видеть в своей аспирантуре, но долго ещё я не понимала, стоит ли, надо ли оставлять всё, а главное, всех, ехать или не ехать, чего ради и ехать — четыре года никакого Журавского и мультиуры, четыре года существованья совсем в другом — но жизнь здесь так обневыносимилась, жизнь внаглую стала выпирать вон, а немногочисленные «все» представились такими чуждыми, нелюбящими, чужими — Иозеф с тех велосипедных пор так и не появился больше, пока я сама не позвала его прощаться, обожаемая Петра всё это лето так жестоко и мрачно пропадала где-то, едва ли не пряталась от меня (ни разу не позвонила сама!), и милая Олька вдруг вышла в августе замуж за какого-то молекулярного физика и вмиг стала далёкой, себе не принадлежащей — всё один к одному сходилось, уже и нечего было решать, само решилось: немислимо не ехать.

Счастливо оставаться, отец Антоний! Дай Бог, никогда не встретимся.

Панихида (эпилог)

Конечно, она не выдерживает. Конечно, идёт. Она думает — два года позади. Два года выживанья в новой стране и мире, с онемевшим от боли сердцем, без писем — *vita nova*, новый свет, «ТОТ», — и грязный комочек по имени *Russia*, затоптанный, утопленный подальше вдаль, на окраину сознания, за границу.

Были, были и письма (из Канады), но редко, но в две-три особо невыносимые минуты, болезненные и простые — когда спокойный и бледный отец Антоний просто входил в комнату и тихо садился на краешек кровати. Она звонила несколько раз, она

писала — не отвечал, не подходил к телефону. Не отвечала и Петра, и Иоханна закрыла глаза: умерли, просто умерли люди.

Но вдруг, почти отучившись, она решила приехать, пусть не к кому, пусть ни к чему — но вдруг так невыносимо потянуло домой, и она приехала, на летние каникулы, просто поработать в библиотеке, в архиве, Russian Arkhavis, не хватало материалов для диссертации.

И ей снится десятки раз, как она едет и мучается уже в самолете, и приезжает, и наутро просыпается рано, полусуточный разрыв во времени, jet-lag, она одевается и, не веря ни единому своему движенью, всё же идёт.

Каждый шаг тяжело ей дается. Крошечная фигурка далёкого прошлого, но отчего же вновь волнение сжимает сердце, как будто снова предстоит исповедь и встреча. Но, может быть, предстоит?

Знакомая пельменная, запах свежего, настоящего хлеба из булочной, у людей — нормальные живые лица. Пыльные тополя, мягкий пух выстилает землю. Во дворе дети ездят на велосипедах, бабушки у подъездов шумно обсуждают последние новости, мужички, едва ворочая языком, шлют всех на хер, она впитывает этот язык как сказочно-сладкое снадобье. Голуби пьют из луж воду, хлопают тяжёлые облупленные двери, дворник чистит мостовую, древняя старушка бредёт из магазина с кошёлкой, сквозь которую просвечивает белый батон и пакет молока, ветер гонит по асфальту обрывки бумаг — всё также, всё как всегда, как прежде, как много-много лет назад, разве что машины стали лучше, они стоят теперь прямо около подъездов и поблёскивают.

Она отворяет калиточку, и руки у неё покрываются холодным потом. Она уже как будто всё-всё знает наперёд, но всё же идёт и переступает порог храма, она готова ко всему.

Знакомый запах — особый какой-то, здешний, она сразу его узнает. обступает её, в глаза плывёт знакомый полумрак притвора.

— Он больше здесь не служит, — отвечает сильно сгорбившаяся за это время бабка, как и прежде продающая за ящиком свечи и даже... книги — теперь их так много появилось на прилавке. Совсем другое время пришло.

— Давно ли?

— Да давно уже, нового теперь на его место взяли, тоже молодого ещё. Надолго ли...

— А где же о н? — голос у Иоханны дрожит.

— Нам не докладывают.

— Ну, хотя бы есть кто-то, у кого можно узнать?

Бабка замечает её волнение и совсем замолкает. Иоханна ждёт.

— Болел он, — слышит она, наконец, после долгой паузы. — Может, на пенсии...

На какой пенсии? На какой ещё пенсии?? Ему сорок лет, ему должно быть сорок лет сейчас!

— Э-э, я сейчас милицию позову, — это Иоханна наступает на неё и смотрит бешено.

— Сразу видно — из «евонных», — с неприязнью добавляет бабка, — всем вам лечиться надо.

— Ради Бога простите, скажите только — он-то, он — где?

— Да говорю ж тебе — не служит больше, уехал.

— За штат?

— На пенсию.

Каждому встречному старичку она заглядывает в лицо — не отец ли Антоний, ушедший на пенсию?

Неделя уходит на розыски Петры, она поднимает всех знакомых, и с какой-то всё нарастающей мукой предчувствий, через десятых лиц узнает: Петра живёт теперь за городом и, кажется, вышла замуж, и вроде бы родила ребёнка... Иоханна едет долго, долго, опять эта железная дорога, чёрные шпалы, поросшие жёлтой травой, и близкая осень, и гудки паровозов, бумажные стаканчики и окурки. По странному стечению обстоятельств это — на той же ветке, где и её дача, только на несколько остановок дальше. Она едет в пыльном автобусе, в неизвестную ей деревню, испуганно вглядывается в окрестности — сказали, выходить около зелёного пивного ларька. Ларёк давно заколочен, бесцветен, но она не пропускает. Она идёт по пустой сельской улице, и некого спросить. Вдруг выруливает мальчик на велосипеде, стоя на педалях, потому что велик ему велик.

Петра, не знаете ли, такая тёмненькая, вроде с ребёнком? Не знает, снова вперёд, стучится в какую-то глухую калитку, лай собаки, не открывают, она кричит фамилию Петры, сквозь отвечает недоверчивый старушечий голос, напротив спроси.

Она спрашивает напротив, есть такая, через два дома.

Она подходит к спрятавшемуся под липами дому, стучит. Не слышат, но калитка открыта. Она входит во двор. Сушатся пелёнки, чепчик припилен прищепкой, по запаху готовится обед. Иоханна поднимается по широкому крыльцу, стучит в полуотворенную дверь. На террасе спиной к ней сидит женщина, кормит ребёнка. Оборачивается. Петра! Иоханна почти бросается на колени, Петра, это я.

Петра отрывается, смотрит сквозь тихую пелену, а, Маша... Петра, я так долго искала тебя, ты не писала, ты не отвечала, я ничего нигде не могла узнать. Здравствуй, Маша... Петра молчит, Петра смотрит, младенец сосет молоко. Ты вышла замуж, это твой? Глупый вопрос, а чей же, и Петра не отвечает. Маша... А муж? Говорили, какой-то историк, журналист? Почему ты здесь, Петра? Петра улыбается, сядь, сядь, устала с дороги, я сажусь на широкую лавку, настоящая деревня, вкусно пахнет какой-то сушёной травкой, и только с этого момента я начинаю осознавать — сон, очередной сладкий канадский сон, сейчас проснусь в своей крошечной комнатке, сейчас увижу унылый ковровый пол, раскиданные бумажки-счета. Петра молчит, но я всё уже знаю, я вдруг откуда-то знаю, кто отец, и Петра только спокойно кивает — да, да, так и есть... Я спрашиваю из последних сил: но тогда где же он, где он? Она показывает на дверь — там, боится выйти, увидел тебя из окошка. Я распахиваю дверь, мне всё равно — комната пуста.

И быстро вытаскиваю из сумки вещи, и не надо, я сейчас, не бойтесь, всё будет хорошо, это тебе, подарки, это — ребёнку, это — ему, кассета — редкие записи, Петра всё так же неподвижно смотрит, но как будто уже с лёгкой тревогой, и улавливаю подавленный порыв остановить меня, куда же ты, Маша? и быстро-быстро выхожу. Всё крутится назад, с бешеной теперь скоростью, улица, ларёк, автобус, рельсы, трава, прочь! Только и электричка уже не электричка, и станции не станции, трава не трава — Господи, какая радость: сон. Сейчас, сейчас выпрыгну, сейчас проснусь, и только вдруг рвущее жаль — так и не повидались. Но, может быть, завтра, завтра я усну и снова, и завтрашней светлой от тысячи фонарей жаркой торонтской ночью он всё же придёт ко мне, улыбнётся робкой и милующей своей улыбкой, присядет на краешек кровати: Машенька, вот ты и вернулась домой.

Конец

Виталий Скородумов

Памяти Иосифа Бродского

Стокгольм — сон тумана о камне,
о крови зелёной статуи,
влагающих важно и плавно
в кочевую плоть стекловаты
взгляд, словно слово в уста,
пологий глагол «устал».
Не досчитавший до ста,
век потерял свой голос.
Песенка, впрочем, проста:
певший про санный полоз,
про спички, про скрип сосны,
теперь прожигает сны
слезой самогонного капа.
Немотой надмирного мата
туман старый кроет город.
Не просыпаясь, боров
каменный глухо и рвано
грохочет нутром туннельбана.

Май 1996

* * *

Которая исцелила б сон между тобой и мной,
молится богу ветра, склонившему лик свой рябой
к озёрам медленных белых облаков над быстрой водой.
И в каждой её молитве я задыхаюсь с другой.

Каждым своим молчаньем мы как бы готовим плов,
разрывая когтями почву с непроросшими зёрнами слов.
И когда мы, уставшие мясом, ложимся дышать собой,
она медленным белым хлебом кормит рыб под быстрой водой.

Взгляд свой она пускает так, словно пробует соль,
познавшую радость пореза, но не познавшую боль.
Когда ты свои проклятья проклинаешь моей судьбой,
она пробуждает солью озёра с быстрой водой.

Чтобы рыбы, уставшие хлебом, нам пели свои имена,
как поют иногда живые, которых уж видно со дна.
И улыбка её молитвы не сходит с мычашего рта,
вплетая в бессмертные песни рогатый падеж скота.

В глазах твоих медленных белых над быстрой водой облака
тянутся, будто бы хочет чья-то нас взять рука.
Ты веки свои смыкаешь, свершив небесный надой,
и с медленным белым вздохом становишься быстрой водой.

* * *

Но я, просыпаясь, вижу, как я просыпаюсь в сон:
мы просыпаемся в лодке, течением обеих сторон.
Звёздная бездна над нами синью не глубока.
Луна провела по глади ладонью пустого хлопка.

Мы ошибаемся в лодке — мы шагаем по тонкому льду.
Гости приходят снаружи, себя не имея в виду.
Мороз раскаляет солнце. Портвейн разбивает лоб.
Лао-цзы потерял тетрадку, не дойдя до последних ворот.

Если бы мы умели таять небыстрым теплом,
строгие брови сосен рассекать неумелым веслом,
себя узнавать по зеркальной белой повестке лица
и чуть позже, пришедшего с нею знакомого мертвеца.

Если бы время умело слышать собственный пульс,
помешкав, в графе «бесконечность» поставить последний свой ноль
как заглавную букву «однажды» того, что мы будем петь,
когда мы поймём, что же лучше: «не быть» или «не иметь».

Гости приносят с собою тени своих углов,
улыбаясь друг другу прозрачно тишиною несказанных слов.
Мы просыпаемся в лодке пленниками реки,
чтоб солёной воды коснуться быстрым устьем холодной руки.

Не горюй



Наталья Проскурякова

* * *

Не в силах оборвать слабеющие узы
попыткой разгадать узор славянской вязи,
уже пасёт глаза красавиц русских
мой взгляд на поводке случайной связи,
которая не ведаёт дороги,
как жажду утолившая вода...
Слепое Провидение, куда?

Осенняя печать нанизывает бусы
уставшего дождя на ветви вяза,
на свет твоих волос, на тень прозрачной блузы,
весь лик преобразив, как повод для рассказа,
где ты, возможно, лучшая из лучших...
Зачем твоё забытое лицо
печальней, чем венчальное кольцо?

* * *

Раскрыта тетрадь и раскрыто окно,
И август своё золотое зерно
Рассыпал по небу. Доступное взору,
Всё то, что казалось забытым давно,
Струится во мне. Но уже всё равно,
О чём я грущу в предосеннюю пору.

В беззвёздную полночь и в звёздный свой час
В нелепой разлуке жнёт каждый из нас
Свою запоздалую грешную ниву.
Сквозь годы забвенья должны мы пройти,
Чтоб вместе воскреснуть и слово «прости»
Смогли наши губы сказать торопливо.

Свеча на твоём полуночном окне
томит мою кровь, и пылает во мне

твой чистый огонь и небесная сила.
Но стёкла надёжны и заперта дверь,
и каждую ночь я прошая теперь
за то, что однажды тебе не простила.

* * *

Что кроется, Сентябрь, в твоей улыбке нежной,
когда предел тепла как будто передвинут,
и надо мной в сиянии безбрежном
над Верою, Любовью и Надеждой
твой купол холодеющий раскинут?

Твой день ещё горяч, как след от поцелуя,
и, припадая к радости вчерашней,
в твои объятия светлые иду я,
где слышится, как шепчет: «Аллилуйя»
к зачатыю приготовленная пашня,

где светятся в ночи твои сады, блаженны,
пьяны под тяжестью своей последней дани,
где под созвездьем Девы во Вселенной
кончаются, точны и неизменны,
приготовленья к ежегодной драме.

* * *

Заблудшие звёзды с окраины звёздного стада
то клёну, то ясеню в кроны сквозные вплетая,
неспешно вращается ночь золотая,
спускаясь в тревожную тень листопада.

Внезапно взрываясь ночного дождя стенограммой,
она воплощается в дальнее чуткое эхо,
стушаясь в два слова: забыть и уехать,
в окно моё веткою бьётся упрямой.

Стук сердца сродни перестуку вагонных колёс,
стрелой настигает изогнутый ветер пространства,
тугой тетивой последнего шанса
запущенной в россыпь несчитанных вёрст.

И рвутся навстречу сплошной карнавальной свалкой
огни городские в неясном мелькании лиц,
и пёстрою стаей испуганных птиц
взлетают озябших дерев полушалки.

* * *

Наша жизнь обрела атрибуты суровой зимы:
Прочным панцирем льда, ледяными кристаллами меха
Обрастает душа, холодея, слабея, и мы
Греем пальцы над тонкой свечою успеха.

Но возникший из пламени нежный и гибкий побег
Обращается в прах, замерзая на уровне взгляда,
И цветёт в темноту фантастический снег,
Осыпаясь на грудь омертвелою сада.

* * *

Как мучительно ты, что ни день, умираешь во мне,
опадая как мак на ветру и теряя отчётливость линий,
то, как месяц ушербный, сквозишь, истончаясь, в окне,
то к утру на плече проступаешь свежее, чем иной.

Снова медленно падает снег нашей первой зимы
и звучит, растворяясь вдали. Словно самая нежная флейта
безнадёжно блуждает во тьме. Но мотив этой тьмы
мне уже не понять даже с помощью азбуки Фрейда.

* * *

Тайный умысел, смысл сокровенный,
ветер осени, сон полуденный,
деревянного дома убранство
и дороги, подобные венам,
по которым струится пространство, —

всё минутно. Но Вечности путь
по обочинам донником вышит,
и земли обнажённая грудь
ожиданьем и радостью дышит.

Здесь надежда отыщет постой,
смажет раны, рубцы заврачивает.
И упавшею с неба звездой
в сиром сердце любовь заночует.

Ни зрением, ни слухом не пробиться,
не раскопать в старинном сундуке,
не предсказать, гадая по руке,
что в белом мраке может отразиться
вся жизнь твоя, вися на волоске.

Лишь зимней ночью неизменно снится:
метёт метель, и белая больница,
увязнув в сумерках, стоит невдалеке,
там бледные и редкие зарницы
сплетаются в узор на потолке
да белою испуганною птицей
метель, искрясь, в окно твоё стучится
и студит, студит жилку на виске.

Метёт метель и сумерки по грудь.
Далёк и мглист её студёный путь.
Тьма между тем, пронизывая зданье,
смежает веки, и сжимает ртуть,
и укрошает мысли. Но страданье
бессонней, чем желание уснуть.

Всё тянется невероятный счёт,
всё медленнее кровь твоя течёт.
То находя, то вновь теряя брод,
Ты завершаешь дальний переход
В безмолвие, где сумерки и лёд...
А утром, бледен под метельный свист,
твой сон последний купит морфинист.

Василий Франк

(1920 — 1996)

Русский мальчик в Берлине

Перевод с английского Вадима Михайлина, Елены Зотовой



Предисловие

Права написать о Василии Семёновиче Франке у меня меньше, чем у тех, кто знал его и дольше, и лучше. Но случилось так, что, познакомившись весной 1990 года в его доме на Винкельмоозерштрассе в Мюнхене, мы прониклись взаимной симпатией. Обитатели этого дома — жена Васи, сильно обрусевшая, но всё-таки англичанка Сюзанна, и их сыновья — английские, но всё-таки и русские мальчики Павлик и Ника, — не дадут, как говорится, соврать: взаимная приязнь переросла в нежную дружбу. Вот все они, ещё четвером — загорелые, полуголые, весёлые — смотрят на меня с кипрской фотографии начала 90-х годов. Эту фотографию подарил мне Василий Семёнович вместе с первым распечатанным экземпляром той книги, с которой предстоит познакомиться читателю журнала. «Писал-то я только для мальчиков, — повторял он не раз, ибо годился своим сыновьям в деды, — я не успею сказать им того, что нужно было бы рассказать, когда они вырастут». Всё это произносится спокойно, без надрыва и рисовки. За сказан-

ным — смирение («принять то, чего я не могу изменить» — иногда повторял он излюбленный афоризм старшего брата Виктора), и мужество («изменять то, что я могу изменить»).

Согласно афоризму, нужна мудрость, дабы не выказывать смирения там, где надобно мужество, и не задираться понапрасну там, где нужно смириться.

Василий Семёнович Франк не раз признавался мне в том, что такой мудростью на его памяти обладал только любимый и чтимый им старший брат. Он же, младший брат Вася, должен был жить, как бы переспрашивая себя: что советовал бы мне сделать Виктор? От природы наделённый беспримесной сердечной добротой и доверием к людям, Василий Семёнович — на том последнем отрезке его жизни, когда мне посчастливилось узнать и полюбить его, — обращался к открытому и без подтекста говорящему собеседнику с изумлённо-бесхитростным взором-вопросом: «Да как же иначе жить? К чему вся фило-

Публикуется в сокращении.

Редакция благодарит родных Василия Семёновича, а также Габриэля Суперфина, Олега Рогова, Сергея Рыженкова, Ларису Парфентьеву, Татьяну Пятницыну и всех, кто помогал в издании этого труда.

фия, ухищрения наморщенных лбов, если нельзя соблюдать самые простые заповеди о любви к ближнему, о том, что владеющий теряет, а отдающий обретает?!».

Рассуждая генеалогически, можно сказать так: он прожил жизнь под сенью имени Семёна Людвиговича Франка и в тени оставившего свой след в культуре русской эмиграции старшего брата.

Рассуждая биографически, скажется иначе: Василий Франк живым сердечным усилием воссоздал на том жизненном пространстве, что



ему было подарено, остров беспредпосылочного добротолубия. Не слащавая ханжеская кропотливость с поддакиваниями всякому вздору, но и разочарования, и боль, и вдруг проснувшаяся страсть к старо-новой и совсем ещё чужой России, и недосказанность кому-то о чём-то.

Рюмка горькой при удобном случае и поминутно забываемая в ноздрю щепотка нюхательного табаку, и тоска, тоска от того, что не увидит, как младшие сыновья станут разными людям вопросительно-удивлённую интонацию: «А вы-то, неужели вы живёте иначе? Неужели можно жить по-другому? Что ж, я знал, что будет так, но как трудно расставание, разрыв поколений!».

Не было ничего проще, чем истолковать вопросительный взгляд Василия Семёновича как недоумение чудака. Циник тотчас умер бы, если б смог вдруг понять, что на свете есть и не циники тоже. Вот почему Василий Семёнович щадил и циников. Лицемерие, впечатанное во всякую высокопарность, не сможет пристать к памяти этого доброго человека. Думал я — писать — не писать об этом. И вот всё-таки рискну произнести эти слова: мы никогда не касались в разговорах его веры, религии вообще; но внутренним ухом я всегда слышал моим собственным голосом, хоть и не вслух, произносимые слова, примерно такие: «Вот христианин — не придуманный, не сконструированный в голове воцерковляющегося интеллигента. Но его христианство и не фольклорное, не бездумно-рутинное. Вот человек, не рассуждающий о заповедях, но живущий в сердечном согласии с ними».

Когда он решил написать о своей жизни «для мальчиков», ему нужно было быть уверенным, что они прочитают эту книгу. Поэтому — для страховки — он и написал её по-английски. Написавши, сказал мне: «Сейчас бы сел и переписал по-русски, но уж не возьмусь». Не успел бы, даже если б и взялся...

В 1974 году в Германии вышла книга «Памяти Виктора Франка (1909 — 1972)». Редкий экземпляр этой микроскопическим тиражом выпущенной книжки я получил в подарок от друга семьи Франков, десять лет делившего с ними кров Габриэля Суперфина. Здесь Василий Семёнович вспоминает брата, ещё не зная, впрочем, что впереди его самого ждут годы нового брака, счастье нового отцовства, новые, неожиданные испытания. В этом коротком мемуаре он весь сосредоточен на том, к чему не раз и не два возвращаемся в мыслях мы, знавшие его и любовно склеивающие — пусть бесполезные! — позвонки безвозвратно ушедшего времени. Пусть страницы, написанные в память брата, станут предисловием к книге, написанной «для детей».

12. 2. 98.
Бремен

Гасан Гусейнов

«У меня неудавшийся роман с Россией. Я всегда мечтал о ней, а она не принимала. Так мы и прожили — я там, а она здесь», — сказал Василий Франк в июне 1993 года, когда, наконец, сбылась его мечта приехать в город, о котором так часто вспоминали в его семье, мечтал увидеть место, где он родился.

А родился он недалеко от Саратова в Зельмане (теперь Ровное) в республике Немцев Поволжья, куда по воле судьбы, — а, скорее, в силу исторических обстоятельств — попала его семья.

В 1917 году его отец, Семён Людвигович Франк, по приглашению Министерства народного просвещения переехал из Петербурга в Саратов, родной город его жены, Т. С. Барцевой, и стал ординарным профессором и деканом историко-филологического факультета университета. Осенью 1919 года он вынужден был перевезти семью в Зельман (чтобы прокормить), где ему поручили организовать педагогический институт для немцев-колонистов, а в 1920 году там родился четвёртый ребёнок — Василий. Осенью 1921 года Франки уезжают в Москву, а в 1922 они вместе с большой группой учёных, писателей, философов (около 200 человек) по известному решению советского правительства были насильственно высланы из России в Германию. Пароход, увозивший лучших представителей русской интеллигенции, теперь известен под названием «философский пароход».

Годы, проведённые в Германии, описаны Василием в его воспоминаниях. Почему ему хотелось, чтобы они были опубликованы именно в саратовском журнале? Видимо, потому, что с Саратовом он был связан не только местом рождения, а всей историей своей семьи, традициями, сохранявшимися в эмиграции, воспоминаниями старших о покинутой России, о тех, кто остался по ту сторону рубежа и прежде всего на Саратовской земле.

Мечтой его жизни стала поездка «домой», в Саратов, именно здесь, у истоков своей жизни, хотелось ещё раз осмыслить всё, что произошло с ним, его семьёй, встретиться с родными, оторванными друг от друга на долгие годы по чужой воле. Надо было увидеть Волгу, походить по городу, сохранившему зримые следы жизни в нём очень дорогих ему людей, поклониться родным могилам. Необходимо было восстановить некоторые утраченные звенья истории семьи Барцевых, давно его интересовавшей. Истории необычной. Дед Василия, Сергей Иванович Барцев, почётный гражданин Саратова, управляющий Саратовским филиалом пароходства «Восточное Общество», в молодости «ходил в народ» и по традиции тех времён спас одну из жертв «тёмного царства», вступив с ней в фиктивный брак. Но когда он встретил нашу будущую бабушку, Павлу Васильевну, дочь декабриста Василия Филиппова, выросшую в Нерчинске, красивую, гордую, и они решили пожениться, то «спасённая дама» развода ему не дала, и поэтому все дети С. И. Барцева, а их было четверо, в том числе и наши с Василием мамы, были незаконнорожденные. Только когда первая, так сказать, официальная жена деда умерла (а прошло 30 лет!), тогда на семейном совете решался вопрос: нужно ли с бабушкой венчаться? Нас, внуков, удивляло: почему у бабушки в глазах всегда какая-то затаённая печаль? И только через много лет мы узнали одну из первых страниц истории семьи Барцевых.

Мама Василия Татьяна Сергеевна познакомилась с С. Л. Франком в Петербурге, где она была слушательницей высших вечерних курсов при гимназии М. Н. Стоюниной, а он читал лекции по социальной психологии. Она была необыкновенно красива и умна, и к тому же самостоятельна и решительна.

В 1908 году известный уже в то время учёный едет в провинциальный город к управляющему пароходством просить руки его дочери. Не без колебаний (он старше её, еврей, она должна перед браком перейти в лютеранство, неизбежный переезд в Петербург и т.д.), но согласие было дано. И с этого момента жизнь Тани Барцевой целиком была посвящена мужу: она была любящей женой, матерью четырёх его детей, сподвижником в работе. Героически охраняла в трудные дни покой С. Л., ограждала его от малейших бытовых забот. После его смерти (1950) и до последних дней своей жизни она занималась его архивом, публикацией его трудов, а в 1954 году подготовила сборник памяти мужа.

Они прожили в Германии до середины 30-х годов, о чём рассказывает в своих воспоминаниях Василий. Научная карьера С. Л. Франка до прихода Гитлера складывалась благополучно, но потом всё резко изменилось. Его, как еврея, изгнали из университета. Жили трудно и материально, и, тем более, морально. В то время, по рассказам Василия, отпала мечта всей семьи выкупить за 1000 марок из советской России бабушку Полю — маму

Татьяны Сергеевны (существовала и такая форма «деловых» взаимоотношений между Германией и советской Россией!).

В 1936 году С. Л. Франка вызвали в гестапо и предупредили о последующих серьёзных репрессиях. Стало очевидно, что необходимо было уезжать, и семья неизбежно распалась: сам Франк в 1937 году с трудом перебрался в Швейцарию, Василий и его старший брат Виктор оказались в Англии, а мама и сестра во Франции, куда потом приехал и С. Л.

Жизнь каждого члена этой семьи достойна специального рассказа, но вернёмся к автору воспоминаний. Василий в юности мечтал стать художником, но у них война с фашистской Германией началась раньше, чем у нас, и в 1939 году он, по его словам, «понял — это моя война. Что такое гитлеризм, я уже знал не понаслышке. Записался добровольцем в военно-воздушные силы». Знание нескольких языков определило его военное назначение — радиоразведка. С английской армией он прошёл через Алжир, Тунис, Сицилию, Неаполь, Корсику.

Воевали и другие члены семьи. Брат Алёша участвовал в движении Сопротивления Маки, потом в Американской армии, где подорвался на mine и много лет потом жил с израненным телом и душой. Погиб в 1943 году на войне и первый муж Наташи, англичанин. Старшие Франки в начале 40-х годов, живя во Франции, перенесли жесточайшие испытания, прятались по деревням, порой целыми днями таились во ржи, опасаясь за жизнь С. Л. В 1944 году неожиданно в одной из маленьких деревень около Гренобля появился Василий, который высадился вместе с войсками на юге Франции и нашёл здесь бедствующих и голодающих родителей. Воинский провиант, привезённый им, вероятно, спас родителей от голодной смерти.

В 1946 году Василий демобилизовался, работал переводчиком в Англии, затем много лет в Австрии в Толстовском фонде (помощь беженцам), а потом 25 лет вместе с Виктором на радиостанции «Свобода» журналистом в отделе новостей. По его рассказам, самым для него волнующим была подготовка новостей о России.

Россия в разных образах и ликах во все времена — и не только в воспоминаниях, но и в поступках — жила в семье Франков. Дети всех поколений носят русские имена — Пётр, Сергей, Миша, Филипп, Фома, Ксения, Павел, Николай. Дома всегда и теперь общались только на русском языке. Приезжавшие из России гости поражались прекрасному языку Татьяны Сергеевны, в Саратове при встрече с Василием филологи благодарили его за чудесный чистый русский язык, о котором мы стали забывать. Дочь С. Л. Наташа многие годы преподавала русский язык в университете в Лондоне.

Правнуки С. Л. Ксения и Фома, учась на англо-русском отделении в университете Лондона, довольно часто как стажёры жили в Москве. Ксения как переводчица через Красный Крест поехала в Чечню, где пробыла полгода, а потом в Баку. Её брат Филипп принимал участие в реставрации монастыря в Оптиной пустыни. Их отец, Петр, внук С. Л. Франка, православный священник и филолог, много лет читающий курс истории русской литературы, неоднократно бывал в Москве, возил по обмену английских студентов в Ярославль, а недавно приезжал в Саратов, где собрал материал по истории православной церкви, охотно общался с нашими филологами и, конечно, обошёл все «франковские» места в нашем городе. Дочь С. Л., Наташа, с супругом Питером Норманом, великолепным знатоком русской литературы и особенно русского поэтического языка, тоже побывали в Москве.

Но, пожалуй, самые частые и значительные встречи с Россией были у Василия. Он несколько раз бывал в Москве и Питере, на Соловках, а в 1993 году, когда город стал открытым, приехал в Саратов. Возвращение Франков в Россию шло и идёт на фоне самого главного события — возвращения научного наследия философа С. Л. Франка, имя которого так долго и тщательно изымалось из русской культуры. Библиография русских изданий его трудов всё увеличивается, с ними теперь знакомы не только учёные, но и студенты, без знания его книг теперь уже невозможно представить русской мысли на рубеже веков.

В последний год своей жизни С. Л., по свидетельству его сына, задавался вопросом: «Для чего я вообще пишу? — Русская эмиграция вымирает, а Россия для меня закрыта». Но время меняет многое: и русская эмиграция для нас теперь стала живым и притягательным источником самых разнообразных знаний и эмоциональных впечатлений, а Россия стала открытой для философа Франка.

В истории Саратовского университета узаконено и имя С. Л. Франка как первого декана историко-филологического факультета, на хранение в Научную библиотеку семья передала коллекцию ксерокопий, фотографий, документов, в городе работает философское общество им. Франка (председатель проф. В. Фриауф), редкий университетский

историко-литературный курс, не говоря уже об истории философии, может обойтись без обращения к трудам С. Л. Франка.

Десятидневное пребывание Василия в Саратове оказалось очень насыщенным. Поразительно живой, энергичный не по возрасту, неутомимый Василий обладал даром немедленно при первой же встрече завоевывать души и сердца. Первой была и наша с ним встреча: мы «расстались», когда нам было по два года! Мы выросли в разных мирах, мы воспитывались во всех смыслах в разных условиях, на нас влияли абсолютно отличные друг от друга обстоятельства. Поймём ли друг друга, сумеем ли преодолеть то расстояние и время, которые разделяли нас долгие годы. Родные или чужие? И ещё тысячу вопросов я задавала себе накануне его приезда. В первые же часы все мои сомнения были развеяны: лёгкость в общении, душевная открытость, простота (в высшем значении этого понятия!), скромность во всём — во внешнем облике и поведении и даже некоторая застенчивость поражали в этом вновь обрётённом для меня брате, неожиданно ставшем родным, понятным и очень дорогим. Дни были заполнены встречами, прогулками, поездками, а по ночам, по русской традиции и его настоянию, бесконечные беседы на кухне, рассказы, расспросы, но вместо обычного при встречах близких людей вопроса «а ты помнишь?» звучало — «а ты знаешь?..», а чаще всего просьба «Расскажи...». Но неизменно в заключение задавался один и тот же вопрос: «А ты мне завтра сварьшь гречневую кашу? Её так же варила моя мама!». И это после всех моих стараний и кулинарных изощрений!

Особым событием для него стала поездка на машине на место его рождения в Зельман (Ровное). Мы проехали по мосту через Волгу, он с интересом рассматривал окрестности, оживлённо обсуждал с моим сыном автомобильные и дорожные проблемы (оба водители!). Но невозможно забыть его волнение при въезде в этот посёлок, его желание найти кого-нибудь из старожилов, кто мог помнить их семью (нашли всё-таки учительницу, которая от матери слышала об их печальном пребывании в Зельмане). Он всматривался в дома немецкого типа, пытаясь представить — в каком же он родился? Рассказывал, со слов мамы, как они привезли сюда пианино, а потом пришлось его обменять на корову: детей надо было кормить. Василий долго стоял на высоком волжском откосе, всматриваясь вдаль. Много фотографировал, был необычно молчалив. При выезде из Ровно нас настигли гроза и сильнейший дождь, и Василий сказал: «Это хорошо, так и должно было быть», — как бы отвечая себе самому на что-то важное, нам не высказанное.

Во время пребывания в Саратове он неоднократно не только с нами, близкими, но и с совершенно новыми знакомыми настойчиво возвращался к вопросу — стоит ли ему переезжать в Россию? Жить в Мюнхене стало трудно, его жена потеряла работу, остаётся его одна пенсия, а за дом надо ещё выплачивать 12 лет, мальчикам 16 и 13 лет. Планы были разные — переезд в Англию или в Россию, и именно в Саратов. В письмах ко мне он вновь и вновь возвращается к этой мысли. Но в 1994 г. Василий перенёс тяжёлую операцию на сердце, что резко изменило все его планы. «Если бы сложилась по-другому судьба — я бы серьёзно думал о том, чтобы провести свои последние годы в Саратове», — писал он мне 14.12.95 года. В этом же письме: «Для меня это пребывание в Саратове (о котором я вообще не мог даже мечтать) было замечательным и неповторимым. Спасибо тебе и судьбе. Прошло 2 1/2 года, и я считаю себя счастливым, что мне, благодаря судьбе, это удалось».

Он часто в разговорах и письмах употреблял слово «судьба», верил в её доброе предназначение. Но судьба распорядилась иначе: 22 июля 1996 года Василий Семёнович Франк неожиданно для всех скоропостижно скончался в Мюнхене. Его похоронили в Лондоне рядом с родителями и братьями.

В письме от 14.12.95 он написал: «Привет всем, кто меня помнит». Помнят. Помнят все, кому довелось встречаться с этим светлым, добрым, умным, лёгким и поразительно живым человеком.

И последнее: Василий ошибался, когда говорил, что у него «неудавшийся роман с Россией». Это не так. И об этом ему сказали в Саратове на одной из встреч. Он ответил: «Сейчас — да. Спасибо. Простите, если это окажется поздно».

Вот в этом, к глубокому сожалению, он оказался прав. Но роман всё равно состоялся.

Ксения Павловская

Эта книга представляет собой неполный, лишённый зачастую объективности и далеко не самый подробный рассказ о детстве и юности, проведённых в Берлине, городе, в котором прошли пятнадцать лет моей жизни и по отношению к которому я испытываю смешанное чувство любви и ненависти, причём последнего — гораздо больше.

Я решил написать о событиях (или, вернее, о личном моём восприятии событий), имевших место в 20 — 30 годах нашего столетия. Надеюсь, это будет небезынтересно для моих сыновей — Серёжи, Павлика и Ники, для Миши и Пети; для моей жены Сюзанны; и для детей моих детей. Я думаю, что когда меня не станет, воспоминания о том необычном времени не должны кануть в никуда. То, что книга написана на английском, а не на русском языке, имеет самое простое объяснение: на компьютере легче писать по-английски.

Только приступив к работе над мемуарами, я понял, что мой личный жизненный опыт может придать событиям тех лет весьма своеобразную окраску. Столько всего написано уже и о «русском» Берлине, и о довоенном Берлине вообще, и всё же... Воспоминания мальчика, русско-го эмигранта, сына Семёна Людвиговича Франка, полуеврея (важность данного обстоятельства я осознал только лишь с появлением на исторической сцене Адольфа Гитлера), обитавшего в чужом и враждебном мире, его личный опыт, практический и эмоциональный, могут добавить к сказанному о тех временах нечто новое. Может быть, именно в этом и заключается значение моего труда. И если кто-нибудь по внимательном прочтении этой книги решится-таки её опубликовать, я возражать не стану.

Психология ребёнка (а затем и юноши), лишённого по тем или иным причинам привычного окружения (родного языка, культуры, нормального отношения к стране, которую принято называть родиной), необычайно сложна, он не может быть похожим ни на одного из тех, пусть даже близких ему людей, кто родился и вырос в родной стране. Конфликтные ситуации, странные, порой неверные ориентиры — от этого ему не избавиться теперь до самой смерти. Для меня результатом странного этого существования стала борьба за собственную русскость. Я старался, как мог, осознанно или интуитивно, противостоять влиянию окружающей обстановки, и это было трудно. Теперь я с уверенностью могу сказать: сия неразрешимая, довлевшая мне все эти годы проблема оставила в моей жизни неизгладимый след. Не мне судить, плохо это или хорошо; одно я знаю точно — я стал бы совершенно другим человеком и, может быть, мой жизненный опыт был бы куда беднее, если бы я вырос в России. Кое-что я, несомненно, приобрёл — ушёл былой провинциализм, появился иной, более широкий (или, скорее, глубокий) умственный и эмоциональный кругозор.

Одним из следствий того, что я вырос в чужой для меня обстановке, стало резкое субъективное неприятие страны, давшей всем нам (и мне, в частности) приют и спасение. Антинемецкие настроения — на уровне чисто эмоциональном — живут во мне и по сей день, чему я сам отнюдь не рад. Всё дело в том, что несправедливость подобного отношения к Германии и к немцам я осознал, будучи уже человеком достаточно зрелым. И надо же, именно в это самое время мне сделались известны факты о всех тех преступлениях, что совершены были немцами, и во имя Германии. Что ж, проблема, мучившая меня так долго, снова оказалась неразрешённой, и я снова стал германофобом.

Моё сознательное и добровольное вступление в Британские Вооружённые силы (призыв на меня не распространялся) объяснялось тем, что это была моя война, и я чувствовал, что не в праве не принять реального участия в деле приближения победы. Но даже и во время боев, когда столько раз смерть была совсем рядом, для того, чтобы перебороть охвативший меня страх, я шептал вполголоса строки Гете, Шиллера и Гёльдерлина. Я знал, я чувствовал, что та Германия, которая сбрасывает бомбы, — это не настоящая Германия. Я был той точкой, где соединились любовь и ненависть к Германии и к немцам, — помните, пожалуйста, об этом, если вам придёт охота поразмышлять над всем тем, что я вам собираюсь рассказать.

Мне было два года и три месяца от роду, когда в конце октября 1922 года папа, мама, Виктор (которого мы, дети, звали Ви), Алёша, Наташа и я отправились из Петрограда на немецком судне «Обербюргермайстер» в Штеттин, а затем — в Берлин. Отец получил место профессора в Русском Научном институте, созданном и финансируемым правительством Пруссии. Мы смогли

уехать из России, когда, после указа о высылке, правительство Пруссии (или речь должна идти о Веймарской республике?) стало выдавать въездные визы и предоставлять политическое убежище людям, занимающимся научным трудом, и их семьям. Профессура Московского университета вынуждена была оставить Россию практически в полном составе после «сократовского» по сути своей обвинения в «растлевающим воздействием на молодёжь».

Многих известных людей, живших в изгнании, я знал ещё в детстве. То были Н. А. Бердяев, С. Е. Трубецкой, И. А. Ильин, Б. Вышеславцев, Ф. А. Степун, Н. О. Лосский, И. Лапшин, Л. П. Карсавин, А. Кизеветтер, А. Флоровский, А. Боголепов, А. С. Изгоев, В. Д. Брутскус, А. Угримов (по своей воле вернувшийся после окончания войны в Советский Союз), Ю. И. Айхенвальд, В. В. Стратонов, Д. В. Кузьмин-Караваев, Яссинский и многие, многие другие.

Самая первая наша квартира находилась на Карл-Шредерштрассе, 1, в Шенеберге, центре «русского» Берлина. В памяти моей всплывает детский сад: неприятное воспоминание. Ненависть моя к невинному этому учреждению объясняется довольно просто — там заставляли пить тёплое молоко. Отчаянные попытки убедить родителей забрать меня из садика («в детском саду живёт тигр») успехом не увенчались, и ежедневные молочные экзекуции пришлось терпеть дальше. Должно быть, на меня всё это произвело настолько тягостное впечатление, что я и по сию пору терпеть не могу молока, горячее оно, тёплое или холодное. Я даже допускаю мысль, что история с молоком сыграла свою роль в формировании подсознательно негативного отношения к немцам: «Ненавистное молоко — ненавистные немцы».

Хотя отец был уверен, что никогда больше не увидит Россию (особенность, весьма для него характерная, — он часто предвидел политические события), мы всё-таки ощущали себя в Германии временными постояльцами, и чемоданное настроение нас не покидало. Германию мы считали своим домом настолько, насколько считают домом снятую на время комнату (что ж, в 1933 году жизнь опять показала норы, вынудив нас эмигрировать во второй раз). Для отца Германия была второй культурной родиной. Он учился в немецких университетах, писал и говорил по-немецки так же хорошо, как и по-русски, и коль скоро речь заходила о немецкой культуре, чувствовал себя «как дома». Потому-то, в отличие от многих своих коллег, он никогда и думать не думал переезжать во Францию.

Даже будучи ребёнком, я чувствовал, что немцы, простые, обычные люди, нас не любят. Из всех иностранцев особенно плохо относились к русским, может быть потому, что эти два народа не так давно воевали друг с другом. К примеру, дети на улице постоянно дразнили меня «Russki-ro-polski». И так до самой школы. Много позже, юношей, в начале правления нацистов, я играл с мальчиком в футбол. Ударив меня в лицо, он заявил, что только так и следует обращаться с русскими: «Wir haben euch einmal besiegt, das naechste Mal werden wir euch vernichten» («Один раз мы вас уже победили, в следующий раз мы вас уничтожим» — здесь и далее данные в скобках переводы с немецкого и французского сделаны переводчиками. — В. М., Е. З.).

Этот эпизод подтверждает искреннюю мою убеждённость в том, что характерные для нацизма черты существовали в самых широких слоях немецкого народа ещё задолго до того, как он сделался в Германии официальной идеологией, что и давало власть предрержащим возможность постепенно проводить в жизнь принцип ненависти к «другим», будь то евреи, цыгане или же славяне.

Параллельно с этой ненавистью, которая коренилась, должно быть, в «Minderwertigkeitskomplex» (комплексе неполноценности) (кстати, а не исконная ли это черта немецкой души?), существовало необъяснимое поклонение всему русскому. Сталкиваясь с подобным русофильством, я всякий раз поражался полной его алогичности. Я слышал, как старшие братья рассказывали о той лёгкости, с которой им удавалось завоевать немецкую девушку. Всё, что от тебя требуется, — говорили они, — это назваться русским, сделать пару раз что-нибудь эдакое, загадочное, и девушка твоя. «Русская душа» для многих немцев была едва ли не волшебным ключиком от всякой двери.

Ксенофобия, с которой я и вообще большинство русских детей сталкивались на улице, заставила меня прийти к выводу: хочешь — не хочешь, я должен быть лучше немецких ребят, смелее, чем они; уметь переносить боль, и тем доказать своё над ними превосходство. Когда нам

в школе делали прививки, мне пришлось сохранять спокойствие и полную невозмутимость, как бы говоря тем самым: «То-то же, мы, русские, привыкли к боли». И мне было радостно на душе, когда остальные ревели или падали от укола в обморок. В бассейне чувство вынужденного «превосходства» заставляло меня прыгать в воду с самой высокой площадки. Мы, русские, должны уметь играть в футбол лучше, чем немцы, и садина на колене — немцы должны были это понять — равным счётом ничего не значила. Однако же комплекс русского «превосходства» не заставлял меня учиться лучше, чем немецкие мои одноклассники. Вероятно, в его основе лежало чисто физическое, а не интеллектуальное начало.

Что-то искусственное и нездоровое было в этой моей детской браваде. Я был вынужден жить в постоянном напряжении, и всякий раз, когда являлась к тому необходимость, преодолевать, ломать себя, совершать над собственной душой акт насилия. Возможно, здесь и кроется одна из причин моей «германофобии». Я слишком рано перестал быть ребёнком. Надо заметить, что идея превосходства была актуальна для обеих сторон. Немецкие ребята — не все, конечно, — делали всё, чтобы меня унизить. Моей естественной реакцией стали высокомерие и насмешка, хотя в глубине души я знал, что это дурно и даже грешно. Не понимая до конца смысла происходящего, считая неоспоримым самый факт своего превосходства по крови, я становился таким нацистом наизнанку, копируя, как будто в зеркале, нацистскую ненависть к «другим». Я и в самом деле чувствовал себя совсем другим, не похожим на окружающих меня людей, — я говорил на двух языках, принадлежал к другой культуре, другой религии, исповедовал иные принципы. И всё же что-то здесь было не так. Даже и сегодня стоит мне только вспомнить о тех весьма далёких днях, и во рту появляется неприятный привкус. Да, конечно, явились наци со своей теорией, делившей людей на собачий совершенно манер («элитное» и «не-элитное» происхождение) на «достойных» и «недостойных», и именно эта теория в силу некоей извращённой интеллектуальной логики дала мне сознание собственного «превосходства».

С началом правления нацистов (в 1933-м мне было 13 лет) дышать стало ещё труднее. В моём юношеском и даже детском восприятии логика вещей была яснее ясного, к тому всё и шло. С другой стороны, раньше ненависть к иностранцам не была элементом национальной политики; как правило, взрослые готовы были прийти мне на помощь, если я сталкивался с ненавистью и презрением со стороны детей. Теперь же ксенофобия, санкционированная всемогущим авторитарным правительством, становилась единственной официальной политикой. В школе такие настроения исходили от преподавателей. Ребята из моего класса были достаточно умны, чтобы не позволить официальной доктрине испортить существующие между нами отношения.

«Мы — лучшие, мы — Богом избранная раса», — вот, грубо говоря, формула моих тогдашних настроений. Подлинное же различие между нами заключалось в том, что моя позиция, рождённая в чужой, враждебной обстановке, была всего лишь защитной реакцией, и весьма беспомощной, другая же сторона была агрессивна, уверена в себе и весьма решительно настроена. Юношеский дух противоречия, неспособность справиться с трудностями, — всё это заставило меня уверовать в избранность русских. Nazi Weltanschauung (нацистское мировоззрение) заключалось в постулировании общественного строя, основанного на концепции превосходства одной расы над другими, что низводило нас, русских, славян, до положения рабов. Весьма непростой характер моих идейных расхождений с немцами я осознал много позже. А пока, не понимая до конца сути любых расовых теорий, я пришёл ко вполне закономерному, с моей тогдашней точки зрения, выводу: теория верна, нужно только её развернуть на сто восемьдесят градусов.

Попытки сопротивляться такому эмоциональному давлению и попытки найти верный ответ привели к страшной путанице в моей голове. Самым естественным образом я ненавидел нацистов, хотя бы потому, что они стали причиной неразберихи в моей душе и мыслях. Да и могло ли быть иначе, если нацизм представлялся мне закономерным продолжением всего моего берлинского жизненного опыта? Спросить совета у отца или у братьев я не смел. Я стеснялся признаться, что подобные вещи волнуют меня всерьёз. Один из вариантов решения проблемы был в том, чтобы сделать себя ещё более непохожим на немцев. После некоторых раздумий я

решил говорить по-немецки с акцентом, заставляя себя коверкать немецкие слова так, как это делал бы невосприимчивый к чужому языку русский. Потренировавшись некоторое время, я стал делать это уже автоматически, действительно заговорил с русским акцентом и усвоил его настолько хорошо, что впоследствии не смог от него избавиться. Несмотря на то, что я вырос в Германии и почти половину жизни провёл в немецкоязычных странах, результаты этой глупой, но всё же вполне объяснимой «мести» сказываются до сих пор. Более того, в 17 лет я приехал в Англию и заговорил с тем же русским акцентом, но уже по-английски. Последствия моей успешной «мести» оказались роковыми — и до сей поры нет такого языка, на котором я говорил бы без акцента.

Конечно же, тех, кто портил мне жизнь в Берлине, было меньшинство. Оглядываясь назад, я убеждаюсь, что ксенофобия, крайние формы национализма находились чаще всего в обратной пропорции положению человека на социальной лестнице. Носителями, а позднее и проводниками идей немецкого шовинизма, были «низшие» классы и мелкие буржуа. Мальчик, явно из самых низов, плюнул мне в лицо потому только, что я «иностранец»; позже ему подобные швыряли еврейских младенцев в печь. Мне запомнился один случай: возвращаясь домой, я заметил неподалёку от Ноллендорфплатц двух молодых людей, злобно споривших о чём-то с одноногим пожилым человеком, вероятнее всего, инвалидом Первой мировой. Спор разгорался. Внезапно один из молодых людей ударил инвалида в лицо, и тот упал на спину, глухо ударившись о мостовую головой. Те двое бросились бежать, выкрикивая на ходу: «Mit Euch Sozis sind wir noch lange nicht fertig!» («Доберёмся мы ещё до ваших “соци”»). Поскольку особой смелостью я не отличался, я тоже побежал, но в другую сторону.

ШКОЛЫ

Практическое осуществление нацистских расовых теорий на уровне школы происходило медленно. В моём классе, в Грюневальд-Гимназиум (гимназия им. Вальтера Ратенау), было много ребят еврейского происхождения; исчезать они стали начиная с 1935 года, что заметно сказалося на культурном и интеллектуальном уровне школы. Началось это сразу же после того, как любимый наш директор, доктор Фильмар, был уволен и его место на директорском посту заняла новая, весьма одиозная фигура — полугорбатый доктор Вальдфогель. На вид, да и не только на вид, он был совершенный кретин. Я называл его «политрук» за его чисто садистские методы управления школой. Так, к примеру, одним из его нововведений (вероятнее всего, он выполнял приказ свыше, но делал это с радостью) заключалось в том, что уроки физкультуры приравнивались отныне по значимости к дисциплинам традиционно академическим (к немецкому, английскому, математике или, скажем, латыни). И если ты был плохой спортсмен, дорога в следующий класс была тебе отныне заказана. Естественно, система эта направлена была в первую очередь против детей интеллектуального склада, среди которых было много евреев.

Такая политика способствовала резкому повышению в статусе преподавателя спортивных дисциплин Нойманна, вполне отвратительного образчика прусского унтер-офицера, каковым, как я выяснил позже, он в действительности и являлся. Свалившейся на него невесть откуда властью он пользовался а *volonte* (охотно, от души — *фр.*). К счастью, я, не будучи немцем и даже арийцем будучи всего наполовину, сумел стать одним из лучших в классе спортсменом, в особенности, если речь шла о футболе. В его фельдфебельской голове это просто-напросто не укладывалось. Как так могло случиться, чтобы полурусский-полуеврей, то есть никак не немец, мог быть проворней других, быстрее бегать, выше прыгать, забивать больше голов, да и вообще быть физически более развитым, чем представители немецкой расы. Он, должно быть, даже страдал по-своему, как страдают те, чьи взлелеенные бережно идеалы вдруг рушатся перед лицом непостижимого и всё ж таки неоспоримого факта. Должно быть, он чувствовал то же самое, что и вся нацистская Германия, когда чернокожий американец Джесси Оуэн победил представителей немецкой расы на Олимпийских играх в Берлине в 1936 году.

Его отношение ко мне, благодаря моим спортивным достижениям, было странным и весьма противоречивым. Мне удавалось всё то, что он ценил превыше прочего, хотя такого по опреде-

лению даже и быть не могло. Это сочетание любви и ненависти выражалось чаще всего в похлопывании по лицу, в благодарности, скажем, за решающий для всей нашей школьной команды гол — унизительном, как Ohrfeige (пощёчина, оплеуха). Уже в восьмидесятые годы Ханс Брадтке, мой тогдашний одноклассник, рассказал мне один эпизод, случившийся уже после того, как я покинул Германию. Нойманн выстроил перед собой весь класс и стал по очереди подходить к каждому, задавая один и тот же вопрос «Bist du ein Jude?» (ты еврей?). После утвердительного ответа он бил мальчика по лицу; прочих же не трогал.

Я хорошо помню, что где-то вскоре после прихода нацистов к власти — мне было 13 — 14 лет — новый преподаватель выделил меня как типичного представителя арийской расы. Не помню точно, поправил ли я его тогда же, сразу, или не решился. Но как только он понял допущенную оплошность, его отношение ко мне резко переменялось — не в лучшую, естественно, сторону.

В школу я пошёл с 1927 года. Учебный год в Берлине начинается после пасхальных каникул. Мама, чья любовь ко мне неизменно сопровождалась страхом — как бы со мной чего не случилось, — убедила отца не отправлять меня в школу в 1926-м, когда мне было 6 лет и 9 месяцев (тогда так было принято), а подождать ещё год. Не могу сказать, чтобы я многое запомнил из времён начальной школы. Исключение составляет разве что фройляйн Гюнтер, моя первая учительница, добрая старомодная женщина, которая действительно любила детей. После неё меня учила фройляйн Фогт, тоже хороший педагог, благодаря которой я твёрдо усвоил основы математики. Через 4 года, закончив начальную школу, я должен был поступить в среднюю (гимназию). Выбор отца пал на Грюнвальд-Гимназиум, жили мы, правда, от неё далековато, но зато у школы этой была прекрасная репутация. Сдав вступительные экзамены, я был зачислен в первый класс, «Зекста». Директор гимназии, доктор Фильмар, произнёс приветственную речь, обратившись к нам как к «die jungen Herren oder, sollte ich lieber sagen — die Herren Jungen» («Молодые господа, или, я бы охотнее сказал, господа молодёжь»). Когда его уволили нацисты, он собрал нас вместе, довольно смело объяснил некоторые причины своего вынужденного ухода и пообещал, что нам устроят выходной день, когда его не станет. Так оно и вышло.

Пришли нацисты, и вроде бы мало что переменялось в нашей школе, вот разве что... Неподдалёку от школы был мемориал, на том самом месте, где в 1923 году будущими нацистами был предательски убит Вальтер Ратенау, тогдашний германский министр иностранных дел и еврей по происхождению. За несколько дней от мемориала не осталось и следа (сейчас он восстановлен). Постепенно набирали силу антиеврейские законы. Я испытал страшное потрясение, когда узнал, что являюсь «полуарийцем». Сие имело означать деление моей крови на две половины — хорошую и плохую (антирусские настроения тогда ещё не были частью официальной нацистской идеологии). К тому времени я уже знал прекрасно, что мать у меня русская, а отец — исповедующий христианство еврей, но придавать этому обстоятельству существенное некое значение мне и в голову не приходило; прежде всего я ощущал себя русским — и по духу, и по происхождению. С точки же зрения немцев, сей факт был важен необычайно. Мне это объяснили следующим образом — по крови к элите я не отношусь и должен этой непреложной данности и даже самого факта своего существования на свете — стыдиться. Стыдиться, на мой взгляд, мне было нечего, но с данностью пришлось смириться.

По мере исчезновения учеников-евреев школа утрачивала постепенно элитный свой статус и всё больше напоминала тонущий корабль, пущенный ко дну стараниями собственной же команды. О происходящих метаморфозах знали все, но говорить об этом было как-то не принято. Кое-кто из учеников, в основном новички, стали приходить на уроки в форме гитлерюгенда или юнгфолька, чего «старожилы» обычно себе не позволяли. Школа всегда славилась своими либеральными традициями. По счастью, это свободомыслие передалось ученикам: оно и рождало сопротивление характерному для низших слоев общества «кичу». Социальный барьер усиливал деление на «старых» и «новичков». Вакантные места выбывших в неизвестность евреев быстро заполнялись представителями «сомнительных» слоёв, чьё отношение ко мне — иностранцев в школе было немного — было в лучшем случае равнодушным, а чаще враждебным. Мы называли их «Prolet-Arier». Класс поделился постепенно как-то сам собой на две половины,

находившиеся в состоянии перманентной холодной войны; по одну сторону баррикад остались порядочные ребята, причём не только из «стариков», по другую — нацисты, в основном новички.

Всё дело в том, что школа находилась в одном из элитарных берлинских кварталов, где жили в основном евреи. И так уж повелось, что здесь по большей части учились дети из богатых немецких и немецко-еврейских семей, которые приезжали на занятия и убывали после школы домой в роскошных «майбахсах», «мерседесах» и «хорьхах», символах недостижимой роскоши, где за рулём сидели вышколенные шофёры. В донацистские времена я и мне подобные попали сюда благодаря чисто географической случайности: мы жили недалеко от Грюневальда. Со временем места еврейских ребят стали занимать мальчишки из низших слоёв — и принесли с собой нацистское виденье мира.

Моим первым классным наставником был герр Корте, высокий, безукоризненно одетый и абсолютно лысый человек, который во время Первой мировой был в плену в Англии, а потому достаточно хорошо знал английский, чтобы учить языку нас. В первый же день занятий он появился в классе и сразу заговорил по-английски: «Доброе утро, мальчики, пожалуйста, встаньте. Я ваш учитель английского. Меня зовут мистер Корте». Человек он был вполне сносный, водились за ним и некоторые забавные особенности: так, иногда он застывал на несколько секунд с открытым ртом — этакая буква «О». Сие имело означать, как мы выяснили позже, что герр Корте был на что-то или на кого-то сердит. Иногда он мог ударить ученика по лицу — отвратительная форма наказания, принятая в те времена в немецких школах. Я считал Ohrfeige унижительной до крайности и не стал бы такого терпеть даже от собственных родителей. Корте оставался нашим классным руководителем три года. Мне трудно представить его среди нацистов; он был порядочный человек и не настолько трус, чтобы торговать своими моральными принципами.

Повезло нам и с учителем рисования, с герром Нойяром, которого мы называли «Сильвестр». Это был милый, скромный человек, прекрасный рисовальщик; он боялся нас больше, чем мы его. Недавно мне сказали, что он стал довольно известным художником.

Своей любовью к латинскому, который я начал изучать с 13 лет, я обязан доброму нашему и знающему латинисту д-ру Герстенбергу. Предмет свой он любил настолько беззаветно, что трепетное отношение к этому «мёртвому» языку сохранилось во мне (а может быть, не только во мне) и донныне. Мы поняли, что он был еврей, только тогда, когда он просто-напросто исчез, не успевши даже попрощаться с любимыми своими учениками. Латынь давалась мне с трудом, но я её любил — и не в последнюю очередь просто потому, что она усиливала негерманский элемент в тогдашней нацистски ориентированной программе. Место Герстенберга занял д-р Асмус, также добрый, милый и умный человек.

После 1933 года в начале и в конце каждого урока учителя обязаны были повернуться лицом к классу, встать по стойке смирно, сделать суровое лицо и, выкинувши энергично правую руку на уровень глаз, заорать (я не преувеличиваю) «Heil Hitler». Нам велено было отвечать тем же: вытянуть руки, прокричать «Heil Hitler» — правда, надлежащее выражение лица получалось не у каждого. Герстенберг — и это было видно невооружённым глазом — выполнял сей ритуал безо всякого энтузиазма. Бедняга, ему, должно быть, всякий раз приходилось совершать над собой акт насилия. У нас была в те времена дежурная шутка, которая, как и всякая шутка на политические темы, была тогда чревата весьма неприятными последствиями: «Самый подходящий ответ на “Heil Hitler” — “Heil Du ihn doch selber”». (Непереводимая игра слов. «Heil Hitler» по-немецки может быть понято не только как «Да здравствует Гитлер», но и как приказ этого самого Гитлера лечить. Ответ в данном случае: «Сам его и лечи».)

Я никогда не был дружен ни с кем из богатых мальчиков-евреев, слишком явной была разница в социальном статусе. Кроме того, немецкие евреи, особенно преуспевающие немецкие евреи, прекрасно вписывались в донацистские времена в окружающую их среду и восприняли по сей причине большую часть характерных, чисто немецких особенностей, включая и не самые, на мой взгляд, приятные. Меня они не принимали по тем же самым причинам, что и многие немецкие мальчишки. Я хорошо говорил по-немецки, ничем не выделялся внешне, но я был представителем другой культуры, другой социальной, национальной и религиозной среды, и у меня были свои проблемы, зачастую просто незнакомые немецким и немецко-еврейским юношам. Я

полагаю, что внезапная, вынужденная и уж никак незаслуженная трансформация евреев из добродородных немецких патриотов в своего рода париев была для них серьёзной моральной и физической трагедией. Вообще говоря, немецкие евреи были прежде всего немцы, а потом уже евреи. Еврейские буржуа религиозностью не отличались и оставались евреями скорее по традиции, нежели в силу сознательного выбора. Евреи в Германии ассимилировались до такой степени, что не выдвину Гитлер своей бредовой антиеврейской программы, и большая их часть сделалась бы фанатичными сторонниками теории шовинизма, нацистами из нацистов. Евреи — за исключением действительно свободомыслящей и интеллигентной части диаспоры (а таковых в Германии было немало) — националисты. И самые неприятные в немецком тогдашнем менталитете качества — ксенофобия и национальное чванство, корнями уходящие в немецкий шовинизм, — они усвоили безраздельно. С прусской военной кастой они были зачастую связаны и узами чисто родственными: дело в том, что во второй половине 19 века среди прусского офицерства существовала своего рода традиция, основанная чаще всего на соображениях чисто финансовых, — жениться на еврейках с тем, чтобы иметь возможность вести подобающий по статусу широкий образ жизни.

Даже я, не понимая до конца трагической сути происходящих перемен, не мог не замечать, как постепенно, начиная с 1933 года, растёт в Грюневальде число домов и вилл с вывешенными снаружи табличками: «Zu verkaufen» («Продаётся»), особенно это стало заметно в начале 1935 года, когда евреи начали, наконец-то, осознавать: Германия для них больше не Vaterland, но, скорее, общая могила.

Несмотря на явную онемеченность еврейских ребят, двое из них стали моими друзьями. Один был богат, другой — беден. Мальчик из бедной семьи, как и я, жил в Халензее, и его родители, подобно моим, воспользовались возможностью отдать сына в элитную школу. Звали его Петер Винд; он был очень маленького роста. Часто после школы я заходил к нему домой, и мы подолгу играли вдвоём. Иногда его мама приглашала меня на обед или на чашку чая. Это было несколько непривычно: я знал, что в немецких домах гостей угощать не принято, даже если этот гость — ребёнок. Получив воспитание в русском доме, где принято благодарить за еду, я испытал как-то раз у Виндов нечто подобное шоку, когда мама Петера сказала мне, что «спасибо» в подобных случаях звучит грубо и является признаком принадлежности к низшим классам. На этом наша дружба закончилась. И — скоро он исчез из школы.

Моим богатым другом был Фриц Кемпнер. Жил он где-то в Грюневальде. Бедняга, у него была заячья губа — может быть, данное обстоятельство и сделалось одной из причин моего дружеского к нему расположения. Наше социальное происхождение было настолько различным, что он никогда не приглашал меня к себе домой, хотя сам заходил ко мне раза два — когда я сломал бедро. Со стороны матери Фриц Кемпнер был прямым потомком Мендельсона-Бартольди. С тех пор прошло уже пятьдесят лет, но вот недавно я получил от него письмо. Оказывается, в конце 1935 года он эмигрировал в Англию, оттуда — в Америку, стал квакером, женился на женщине с четырьмя взрослыми детьми. Он придерживается левых политических симпатий и даже пытается каким-то образом влиять на политику Соединённых Штатов в Центральной Америке. Я написал ему в ответ. Вряд ли нам когда-нибудь, ещё в этой жизни, доведётся повидать друг друга.

Среди ребят нееврейского происхождения я был дружен с Вернером Велбером; отец у него был доктор в Шмаргендорфе, неподалёку от Халензее. Мы часто ходили друг к другу в гости. Вернер был великолепным спортсменом, лучшим в школе. После войны мы обменялись парой писем. Он тоже стал врачом и по каким-то причинам эмигрировал в Канаду. Он был одним из так называемых «молчаливых», то есть, проще говоря, пассивных антинацистов. Не могу себе простить, что я, хоть и числил его среди своих друзей, подсознательно проводил его всё по той же категории нелюбимых мною немцев. Это было не только несправедливо, но и глупо, потому что союзники в то время были мне до крайности необходимы, особенно такие, как он. Всё дело в том, что я считал ниже своего достоинства «открывать душу» немцам, оставляя эту привилегию для русских моих друзей. Разум ли, чувства мои распорядились так, что сблизился я только с теми из ребят, кто, во-первых, не был нацистом, а, во-вторых, был мне приятен и ценил

мою «непохожесть», проявлявшуюся в том, что у меня другой язык, другая культура, или в том, что я лучше играю в футбол.

Мартинус Эмге — я снова встретил его несколько лет назад — появился в моём классе, когда мне было 15. Его отец, философ из Гиссенского (?) университета, был другом и, возможно, почитателем моего отца. Отец рассказывал мне, что однажды Эмге-старший пришёл к нему с просьбой поддержать его морально и помочь в разрешении мучившей его дилеммы. Дело было в том, что по слабости духа Эмге вступил в нацистскую партию и даже стал членом S. A. Теперь же, когда порочная и преступная сущность партии стала для него очевидна, он не знал, как ему ото всего этого избавиться. «Herr Professor, bitte geben sie mir einen Rat, wie ich aus diesen moralischen Dilemma herauskomme!» («Г-н профессор, пожалуйста, помогите мне разрешить эту моральную дилемму!») Ситуация была поистине трагикомическая. В то самое время, когда Германия в буквальном смысле слова помешалась на нацистских расовых теориях, член нацистской партии обращается к еврею с просьбой помочь ему в попытке нравственного очищения. Когда я в первый раз встретился с Мартинусом Эмге после войны, в 1989 году, на 50-й годовщине нашего выпуска, у меня не хватило духа рассказать ему эту историю.

Одной из «звёзд» нашего класса был Энрико Гильдемайстер, выходец из весьма влиятельной в Перу семьи немецкого происхождения. Его отец был перуанским послом в Берлине. Нацистский комплекс «если ты немец — ты немец всегда» привёл как-то раз к скандалу в школе. Наш учитель немецкого, типичный наци, пытался, как мог, убедить Энрико в том, что «natürlich bist Du ein deutscher Junge; auch wenn Du in Peru lebst, solltest Du Dich stolz fühlen, ein Deutscher zu sein» («конечно же, ты — немецкий юноша; и, живя в Перу, ты должен гордиться тем, что ты немец»). Энрико попытался было возразить, но его грубо оборвали. Несколько дней спустя мы услышали, что учитель был строго предупреждён за то, что высказывал «правильные» вещи совсем не тем людям. Отец Энрико, должно быть, официально выразил недовольство в министерстве иностранных дел. Сейчас Энрико живёт не то на Минорке, не то на Майорке. В наши школьные годы он использовал свою, так сказать, экстерриториальность для того, чтобы открыто критиковать нацистские методы преподавания, чего обычные ученики, естественно, никак не могли себе позволить. Учителя его опасались, в особенности после инцидента с преподавателем немецкого. Как-то раз он даже пригласил меня в резиденцию посла. В памяти моей мало что сохранилось от того визита, помню только, что я по ошибке слишком сильно ударил в висевший у входа невероятных размеров гонг, так, что горничная и швейцар бегом бросились мне навстречу. В 1936 году вышел какой-то скандал с перуанской олимпийской сборной, и послу, вероятно, пришлось поработать всерьёз — в первый, сдаётся мне, и в последний раз за всё время официальной своей миссии в Берлине.

Вместе с волной «пролетариев» в нашей школе появился и некий Фриц (не то Франц) Видеманн. Вскоре мы выяснили, что он был сыном личного адъютанта Гитлера — во время войны этот человек командовал полком, в котором служил Гитлер. Никто, даже одиознейший наш директор Вальдфогель, ничего не мог с ним поделать. Видеманн вёл себя как король. Учителя до смерти боялись и его самого, и того, что он может пожаловаться на них отцу. Я учился в другом классе, но о Видеманне и о его подвигах знала вся школа. О Гитлере он рассказывал следующее: тот вроде бы не дослужился на войне до офицерского чина потому, что «ihm fehlen Führerqualitäten» («ему недоставало лидерских (фюрерских) качеств»).

Граф Хайнрих (Хайо) фон Айнзидель, мальчик с аристократической внешностью, был на два года младше меня, и знал я о нём скорее понаслышке. Он был праправнуком Отто фон Бисмарка, чью фигуру нацистская пропаганда активно использовала в своих целях, сотворивши из неё своеобразного идола. Фон Айнзиделю, как и Видеманну, в школе было позволено едва ли не всё. Так, однажды, получивши от учителя пощёчину, он пощёчиной же и ответил, что, естественно, было абсолютно неслыханным нарушением всех и всяческих норм. Несколько лет назад мы познакомились с ним на встрече выпускников, а затем и сдружились. Оказалось, что он и был тот самый знаменитый фон Айнзидель, один из инициаторов «Kommittee Freies Deutschland» («Комитета Свободная Германия»), организованного немецкими военнопленными после Сталинградской битвы (он был военным лётчиком, и его сбили в 1943). Естественно,

организация эта очень скоро стала откровенно прокоммунистической, и, насколько я могу судить, роль фон Айнзиделя была в ней весьма противоречивой. Его имя и статус, как и в случае с фон Паулюсом, который командовал под Сталинградом 6-ой немецкой армией, использовались Советами для привлечения немецких военнопленных. И — будучи фон Айнзиделем, он просто не мог быть нацистом.

К нашему «клубу порядочных ребят» (не-нацистов) принадлежал также Хорст Крюгер, сей-час он стал известным в Германии писателем и журналистом. Ханс Шмидт, сын книготорговца, державшего магазин на Катериненштрассе, был моим партнёром по футболу, и играл он, надо сказать, даже лучше меня. Он был убит в первые же дни войны, в Польше. Был ещё некто фон Цан, тоже не любивший нацистов, но ханжа и притвора, всегда готовый согласиться с нацистскими взглядами преподавателей.

Среди, так сказать, «нечистых» — а в большинстве своём они принадлежали к «пролетариям» — я отчётливо помню двух ужасно уродливых близнецов. Причём духовное их уродство ничуть не уступало физическому. Я тогда уже верил в бессмертие душ и никак не мог взять в толк, зачем это Господу понадобилось создавать нечто настолько отвратительное. В форме гитлерюгенда, неизменно обтягивавшей их до странности корявые тела, они казались мне тогда карикатурой на род человеческий. Все порядочные ребята единодушно их игнорировали, но им хватало друг друга, и общественное мнение, судя по всему, нимало их не беспокоило. Один из них рекомендовал мне убираться из Германии подобру-поздорову: «wir brauchen keine Auslaender, weil sie wie die Juden, unser Land zugrunde gerichtet haben» («нам не нужны иностранцы, они всё равно, что евреи, и тоже ограбили нашу страну»).

Поначалу нацистская идеология не слишком-то сказывалась на преподавании основных дисциплин. В первые несколько лет казалось, что традиции немецкой педагогической науки слишком прочно встроены в сознание учителей, чтобы податься под напором новых идей. Но постепенно всё изменилось, и я не мог не испытывать сочувствия к честным преподавателям, вынужденным принимать все эти насквозь фальшивые теории. Они знали сами, что преподают нам вздор, мы это знали (или, по крайней мере, чувствовали), и они знали, что мы знаем. Однако новые преподаватели, пришедшие на смену уволенным по расовым или политическим мотивам, казалось, не знали мук совести. Немецкий язык и история были, естественно, самыми идеологизированными предметами, с упором на биологическое и интеллектуальное превосходство немцев и германской расы в первую очередь над евреями (которых именовали не иначе как семитами, не понимая, что арабы — потенциальные союзники — тоже семиты). При необходимости подчёркивалось также и биологическое превосходство германцев над славянами. Поскольку в моих жилах текла и та, и другая кровь, меня эти нападки касались самым непосредственным образом, но я, помню, даже умудрялся находить в них своеобразное мазохистское удовольствие.

Математика, физика и химия не могли, конечно, быть идеологизированы с таким же успехом. Однако же и здесь роль немецких учёных неизменно подчёркивалась в ущерб не-немцам, вроде Ньютона или Реамюра (хотя, по вполне понятным причинам, к Маркони были благосклонны, так, как будто он был самый настоящий немец). Что уж говорить о немецком или об истории. Та чушь, которую несли наши учителя, доставляла мне порой истинное наслаждение. Я-то знал, как оно всё было на самом деле. Спасибо отцу, он сделал всё возможное, чтобы передать мне то, что знал сам.

Молодые русские в Берлине

Несмотря на внутреннее сопротивление враждебной берлинской среде, Берлин был сильнее, и медленный, неостановимый процесс ассимиляции шёл как бы сам по себе, помимо моей воли. Трое старших детей в большой нашей семье привезли свою Россию с собой; они были воспитаны в традициях русской культуры, которая отчасти выжила и после революции. И как-то само собой разумелось, что они по сей причине могли и хотели (что немаловажно) противостоять тотальной германизации. Мне же к тому моменту, когда нам пришлось покинуть Россию,

исполнилось всего два года, и, следовательно, моё становление целиком проходило в Берлине. Русскость была вокруг меня повсюду, но только не во мне самом. Ни родители, ни сам я не хотели, чтобы немецкая культура поглотила меня целиком. Надо было что-то делать. И потому я с радостью воспринял их решение отправлять меня раз в неделю, по четвергам, в вечернюю русскую школу. Я понимал, что мой русский нуждается в профессиональной коррекции. Стариания Виктора читал и писал я бегло, но грамматика и орфография у меня хромали. В специальную русскую школу папа меня отдавать не хотел — я уже упоминал, что он был германофил, говорил по-немецки с детства (а его мать, моя бабушка Розалия, которая умерла ещё до моего появления на свет, по-немецки говорила лучше, чем по-русски). Мы все, за исключением Алёши, ходили в немецкие школы — не забывайте, кстати, что учиться мы начали задолго до того, как нацисты пришли к власти.

Вечерняя русская школа находилась в здании, расположенном сразу за Русской церковью, на Нахродштрассе, 10, в Шенеберге. Настоятелем там был «белый» монах, отец Иоанн Шаховский, ставший впоследствии архиепископом Сан-Францискским. Он умер буквально несколько лет тому назад. Внешность у него была весьма аристократическая, и он был весьма популярен, особенно среди религиозных дам. Рассказывали, что с одной из прихожанок прямо в церкви случился истерический припадок, и она кричала: «Хочу Христосика от отца Иоанна».

Отцу Иоанну помогал другой монах, отец Эммануил, который регулярно проводил лето вместе с нами, в скаутских лагерях. В том же здании размещалась русская благотворительная организация («сестричество»), где доктор Аксёнов принимал и лечил русских бесплатно.

Несколько раз мне доводилось наблюдать помпезные парады русских нацистов — в коричневой униформе, явно предоставленной местными нацистскими властями. Как правило, процессии эти проходили по Нахродштрассе как раз после воскресной службы, для того, вероятно, чтобы произвести впечатление на прихожан (или напугать их растущим влиянием нацистов в русской колонии). На руках у марширующих были повязки со свастикой, выполненной в цветах старого российского флага — в белом, голубом и красном. Они пели дореволюционные военные песни, перемежая их время от времени обыкновенным своим боевым кличем «бей жидов — спасай Россию». Члены РОИД («Русская Организация Национальных Демократов») — аналогия с *Nazional Sozialistische Duetsche Arbeiter Partei* напрашивается сама собой — были публикой весьма сомнительной. Порядочные люди из русских в большинстве своём их презирали. Странников своих РОИДовцы вербовали по преимуществу среди выходцев из низших слоёв общества, для которых нацизм, обещавший избавить Россию от коммунистов, евреев, масонов и инородцев, был вполне закономерным идеологическим выбором.

Надо сказать, что постепенно сложилась новая категория русских, симпатизировавших нацистам, по соображениям или чисто прагматическим, или же из искреннего сочувствия их идеям. Антисемитизм в его самой грубой и отвратительной форме был и, к сожалению, остаётся одной из движущих сил русского мелкобуржуазного сознания. И до сей поры он являет собой реальную политическую силу как в России, так и в некоторых кругах эмиграции. Тогда, в Берлине, многих русских привлекал в нацизме именно антисемитизм, ибо, согласно некоему достаточно распространённому среди этих людей мнению, Россию у них отняли именно евреи. Нацисты обещали уничтожить коммунизм, и люди им верили, даже и не догадываясь о том, что буквально через несколько лет нацистская политика в отношении русских изменится в корне. Принимая желаемое за действительное, они словно бы и не замечали коренного в нацистской идеологии понятия «недочеловека». Самым искренним и наивным образом многие из них полагали, что в грядущей «освободительной войне» им выпадет честь сыграть весьма немаловажную роль — на стороне Германии. Я, помню, много слышал тогда о некоем Меллер-Закамельском, который в русской колонии в Берлине был кем-то вроде гауляйтера. Его фамилию, естественно, тут же переделали в «Мерин-Закобельский». Много дурного говорили также и о бывшем генерале Безкупском, но я за точность этих сведений поручиться не могу. Помню, что даже весьма достойные люди из Германно-Русского союза всерьёз связывали с нацистами надежды на освобождение России и на то, что Германия наберёт достаточную экономическую мощь, чтобы взяться за эту задачу. Отца, как и всех нас, это, конечно же, шокировало. Один из моих приятелей говорил

мне — несомненно, со слов своих родителей — о необходимости выбора между коммунизмом и нацизмом. Демократия в том виде, в каком она существовала в тридцатые годы, в тогдашних форс-мажорных обстоятельствах была просто-напросто беспомощна. «Поскольку коммунизм для нас неприемлем, мы, хотим мы того или нет, должны поддерживать нацистов — пусть даже мы знаем обо всех их грехах, настоящих или возможных, пусть даже они нам и не нравятся».

В скаутской среде отношение к национал-социализму было негативным. Нацисты разрушили немецкое скаутское движение, с которым мы поддерживали постоянные контакты; возможно, немецкие скауты даже помогали нам деньгами. Была и другая причина: нацисты не любили иностранцев, и, следовательно, любые молодёжные организации, объединявшие иностранцев, мягко говоря, не приветствовались, а позже и запрещались. Насколько я помню, ни открытых, ни даже тайных симпатий к нацизму среди скаутов не существовало.

Одним из вдохновителей РОНД был архиепископ Тихон, хотя никаких официальных должностей в этой организации он и не занимал: своими глазами я видел его, собирающего на улице деньги для немецкой благотворительной организации Winterhilfe («Зимняя помощь»). На нём была ряса и повязка со свастикой на рукаве. Мы прекрасно понимали, что в финансовом отношении он целиком и полностью зависел от Меллер-Закомельского, и сказать наверняка — поддерживал ли он нацистов добровольно или по принуждению — я не возьмусь.

Отец рассказывал нам, что на какой-то лекции он — к обоюдному смущению — оказался рядом с отцом Тихоном. Некоторое время они сидели молча, а потом отец спросил архиепископа, не почитает ли тот зазорным сидеть рядом с человеком, в чьих жилах течёт та же кровь, что у Девы Марии и у апостолов. Тихон смутился пуще прежнего и ответил: «Что вы! Что вы!».

После прихода нацистов к власти, в период, когда церковь возглавил Тихон, недалеко от Фербеллинерплатц был построен русско-православный кафедральный собор. Деньги, вероятнее всего, дал Меллер-Закомельский или же берлинская городская администрация, потому как русская община, даже если бы она не разделилась на сторонников и противников Тихона, суммой, необходимой для постройки такого дорогостоящего здания, просто не располагала. (Хочу напомнить, что церкви по большей части располагались в подвалах.) Строительством было приостановлено, потом здание всё-таки достроили — и мы вдруг с удивлением обнаружили, что нижняя часть собора переоборудована под пивную с незамысловатым названием «Dom-Kneipe» («Под Собором»)!

В 80-х годах, будучи в Берлине, я ходил в собор на воскресную службу. «Dom-Kneipe» исчезла.

Убираться к нам ходила хрупкая и довольно симпатичная молодая русская женщина, совершенно глухая; я никак не могу вспомнить её имени. Кажется, у неё было двое детей, и мама наняла её по большей части для того, чтобы не дать им умереть с голоду. После того как к власти пришли нацисты, она стала жить с одним из убийц русского либерала Набокова (отца писателя), застреленного в Берлине в самом начале массового исхода русских эмигрантов. Обоих убийц немецкий суд приговорил к длительным срокам тюремного заключения, но после 1933 года нацисты выпустили их на свободу. Среди русских, симпатизировавших нацистам, эти двое считались героями, ведь это именно они ликвидировали «предателя белого движения». Я помню статью в нацистской русской газете («За Родину» — так, кажется, она называлась), восторженный панегирик их преданности белому делу.

Единственным моим настоящим другом в детские годы был Олег (Леся) Сампсидис, высокий, приятной наружности светловолосый мальчик. Его родители были в разводе. Отец работал таксистом в русской фирме на Рошерштрассе (Халензее), возглавляемой неким Парамоновым, с сыновьями которого — они были оба чуть старше меня — я был прекрасно знаком. Леся жил с матерью, в квартире на Ландсхутерштрассе. Его мама была поразительно красива — типично русской, суровой и немного трагической красотой. На жизнь она зарабатывала шитьём. Был у неё и «друг» — официант в русском ресторане (одна из немногих профессий, «разрешённых» для русских в Германии) по фамилии Попов, хотя, желая подчеркнуть дворянское своё происхождение, он предпочитал именовать себя «фон Попов». Таким образом, у всех у них были типичные для русских эмигрантов профессии — таксист, швея, официант.

Я часто у него бывал; мы вместе делали уроки, хотя он ходил в специальную русскую школу. Мы были с ним ровесники, мы были знакомы с одними и теми же людьми, у нас были общие друзья и подруги. И первый свой любовный опыт я тоже получил в доме Леси. У них снимала комнату молодая, очень милая женщина. Вероятнее всего, она была проституткой, но я в те времена ни о чём подобном даже и не догадывался. Она-то и ввела нас — каждого в свой черёд — в таинственный мир секса.

После войны я виделся с мамой Леси в Мюнхене. Она была замужем за немцем и как раз собиралась эмигрировать в Америку. У неё был сын, лет восьми-девяти от роду, очень похожий на Лесю, за одним только исключением — аристократические лесины черты каким-то образом сложились здесь в лицо совершенно заурядное.

Среда формировала нас — я имею в виду русских подростков — примерно одним и тем же образом: все мы в той или иной мере не любили немцев. С ними можно было поиграть в футбол, поволочиться за их девушками, но мы никак не могли (или, скорее, просто не хотели) сблизиться с ними всерьёз, «открывать им душу». Причиной, я думаю, был подсознательный, на чисто животном уровне, страх ассимиляции. Мы чувствовали себя аутсайдерами. Мне кажется, что даже тех, кто пытался избавиться от весьма неудобного статуса парии, не принимала та, другая сторона. Я помню несколько моих сверстников, которые всерьёз решили слиться со средой; никто из них в этом не преуспел. Я, со своей стороны, не имел никакого желания менять искусственную эту жизнь в русском гетто — и духовном, и чисто физическом, — а потому проблема ассимиляции никогда всерьёз передо мной и не стояла. Расстаться с моей «непохожестью», которая и сводилась-то в конечном счёте к одной только «русскости», — это было не для меня. И, надо признаться, данное обстоятельство доставляло мне даже удовольствие — вполне мазохистское по характеру.

И всё-таки определённой части детей эмигрантов удалость более или менее ассимилироваться (или, по крайней мере, они изо всех сил пытались это сделать). Прежде всего это были люди, в культурном отношении принадлежавшие к низшим слоям общества, и/или дети от смешанных браков. Положение русского эмигранта требовало от человека огромного количества сознательных и тягостных усилий; у меня и у мне подобных постоянный эмоциональный дискомфорт вошёл в привычку. Те же, кто чувствовал себя «дома», просто переставали нас интересоваться.

Сейчас я понимаю, что неприятие немецкого окружения было ошибкой, продиктованной чисто эмоциональным механизмом самозащиты. Мой детский национализм, идеалистическое обожание всего русского были вызваны отчасти страхом полного слияния со средой. Отец, приветствуя моё желание знать русский язык, историю, литературу, культуру, знать и любить всё это, как любит всякий русский человек, настаивал тем не менее и на необходимости узнать и понять культуру немецкую, которую он всегда ценил весьма высоко.

Несколько лет я был платонически влюблён в девушку, годом или двумя старше меня. Звали её Ника (да, Ника, я так её любил, что и тебя назвал в её честь) Занфтлебен. Заговорить с ней было выше моих сил — знак невинной юношеской страсти, — и глупо краснел, стоило только мне на неё взглянуть; или если она вдруг на меня смотрела, пристально, но безо всякого интереса, ещё бы, ведь я в её глазах был всего лишь маленький глупый Вася. Я уверен, что о моих нежных к ней чувствах она даже и не догадывалась. Виктор называл её «Ника Занфтлебенака» — по аналогии с Никоею Самофракийской. Она тоже принадлежала к скаутской организации, и видеть я её мог только на обычных наших воскресных встречах. (В то время мы назывались «бой-скауты» и «девочки-бой-скауты»).

Старшая сестра Ники Татьяна (Тата) была у девочек-скаутов вожатой и дружила с моим братом Алёшей. Они были ровесники. У Алёши, в свою очередь, был друг, тоже Алёша, по фамилии Френкель, сирота, у которого не было ни дома, ни семьи. В конце концов мама предложила Френкелю жить с Алёшей вместе, в одной комнате, надеясь, что Алёша станет благотворно на него влиять. Вышло, однако, совсем наоборот. Как-то раз, году в 1928-м или в 29-м, наш Алёша, Тата, ещё одна русская девушка и Алёша Френкель отправились на прогулку в Грюневальд, где Френкель застрелил девушку из револьвера и ранил Тату (она и Алёша успели убежать), а после застрелился сам. О мотивах происшедшей трагедии я, естественно, так ничего и не

узнал. Френкель и убитая им девушка были похоронены на русском кладбище; мы все присутствовали на прощальной церемонии.

Владимир Набоков (писавший тогда под псевдонимом Сирин) сделал из этого эпизода целую сцену в своём романе «Дар». Упомянул о нём и Альфред Деблин, в «Берлин-Александр-платц».

Когда я понял в конце концов, что из-за собственной стеснительности никогда не добьюсь у Ники успеха (хотя в том возрасте никто из нас, наверное, не смог бы с уверенностью сказать, что это, собственно, значит, «добиться у девушки успеха»), я решил влюбиться в другую русскую, хотя и совершенно арийской внешности девочку, в блондинку по имени Катя Цейсс. Она ходила в русскую школу на Мотцштрассе и к скаутам никакого отношения не имела. В 1948 году, одиннадцать лет спустя после отъезда из Берлина, я, Катя и Леся встретились в Париже. Больше я ни разу в жизни их не видел. Знаю только, что Леся живёт в Соединённых Штатах.

Скауты

Я абсолютно уверен в том, что не будь в Берлине скаутского движения, нам бы едва ли удалось сохранить всё то, что мы называли «наша русскость». Наше участие в движении не позволило окружающей, весьма враждебно по отношению к нам настроенной среде нас поглотить и поработить. Я-таки не смог выяснить, откуда поступала финансовая поддержка. Насколько мне известно, часть денег давало американское отделение YMCA, по крайней мере на самом старте, в начале двадцатых — они вообще с готовностью оказывали помощь русским эмигрантам в Берлине. Бюджет организации должен был быть весьма солидным, поскольку наш руководитель Владимир Сергеевич Слепян — мы называли его «Слепняк» — регулярно получал зарплату. Насколько мне известно, он нигде больше не работал. Летние и зимние лагеря, плата за помещение, содержание персонала в этих самых лагерях, замена изношенного оборудования, поездки и т.д., — всё это было бы невозможно без солидной финансовой поддержки. Помнится, в середине тридцатых мы получили новые палатки. (Нам сказали, что палатки английские и что они остались со времён Первой мировой; а потому мы с благоговением взирали на заштопанные дыры в брезенте, оставшиеся, не иначе, от немецких пуль).

Не думаю, чтобы за нас платили родители. Плата, скорее всего, была делом сугубо добровольным — кто сколько мог. Благосостояние большинства русских семей оставляло желать лучшего, а потому YMCA (мы говорили — «Имка») то и дело жертвовала значительные суммы. Слепян («Шеф») воевал в Белой армии, офицером. Говорили, что его отец был раввином в С.-Петербурге, а после принял христианство и стал православным священником, хотя ручаться за точность сведений я не могу. Старушка-мать Слепяна была шотландкой, и в доме у него (семья включала самого Слепяна, его жену, Любовь Викторовну, его мать, которая вовсе не знала русского, дочерей Нину и Нелли, а позже и сына, Юрия) говорили по-английски. Нина и Юрий эмигрировали в Англию, Нелли, кажется, в США. По-немецки Владимир Сергеевич изъяснялся с большим трудом. Есть у меня такое подозрение, что неумение это было искусственным и целью имело подчеркнуть статус русского эмигранта. Одна из его реплик даже приобрела в русском Берлине известную популярность. Когда пьяный немец попросил у него огонька, Слепян ответил с неподражаемым — до анекдотичности — русским акцентом: «Aus prinzi piellen Gruenden sprecheich nicht mit ertrunkenen Personen» («Я из принципиальных соображений с пьяными не говорю»)*.

Слепян был добрый человек и прекрасный педагог, всегда готовый прийти на помощь — словом ли, делом. Я был и в самом деле слишком мал, чтобы оценить его по достоинству, но я знаю от старших братьев, что человек он был порядочный и дело своё делал хорошо. Если я не ошибаюсь, он был студентом Русского Научного института и, возможно, в начале двадцатых слушал лекции отца.

Судьба его сложилась печально. По каким-то причинам он не уехал из Берлина в самом конце войны, как это сделало подавляющее большинство оставшихся там русских. И после

*Кроме того, Слепян путает немецкие слова, и вместо *betrunkenen* (пьяные) произносит *ertrunkenen* (утопленники).

взятия Берлина этот наивный человек пришёл к победителям и предложил свою помощь. Они согласились; через пару месяцев он был арестован и отправлен в Советский Союз — в лагерь, куда же ещё. Выйдя на свободу, он поселился на Кавказе, руководил церковным хором, пока не умер, как мне рассказывали, от голода, в буквальном смысле слова. Помню, мы очень его любили; он воплощал для нас всё лучшее, что только было в русском офицере.

Идеология скаутского движения была круто замешана на русском патриотизме, впрочем, без особых «правых» излишеств. И царь, и Родина, и православие существовали в качестве своего рода духовных ориентиров, однако все эти ориентиры — за исключением веры — безвозвратно канули в прошлое. Идеалов этих нас лишили злые большевики, которые по неким совершенно необъяснимым причинам умудрились выиграть войну, хотя они явно были «плохие», а белые были — «хорошие», «наши». Они разорили волшебную нашу Россию, и нам из-за них приходится теперь жить на положении парий в чужой стране, которая совсем нам не рада. Мы верили в это всей душой, потому что хотели верить. Россия казалась некоей сказочной страной, невообразимо далёкой, которая живёт теперь своей несчастливою жизнью без нас и безо всякого нашего участия. Большевики, так сказать, приговорили нас к бессрочному изгнанию, безо всякой надежды вернуться к нормальной человеческой жизни с нашей, пусть состарившейся и доведённой до полной нищеты, но всё-таки любимой «госпожой». Я любил мою Россию от всей души, со всею страстной силой юношеского сердца. Несчастливая эта любовь без всякой надежды на взаимность преследовала меня долгие годы, покуда, так или иначе, я не понял, что больше не нужен «ей», совсем, или, скорее, что в силу роковой своей судьбы «она» вынуждена забыть меня, преданного своего обожателя. Я прекрасно понимал, что доведись мне вернуться в Россию (что в конце концов и случилось), я буду чувствовать себя там иностранцем в гораздо большей степени, чем где бы то ни было на Западе (а я ведь так и чувствую себя здесь — иностранцем). И всё-таки ностальгия, безнадёжная, изматывающая, никак не давала мне покоя. И я никак не мог найти рационального объяснения ни этой боли, ни тому восторженному, возбуждённому чувству, с которым я слушал русские песни, смотрел русские фильмы, читал книги и — особенно — говорил с людьми из России.

Умом я понимал, что все эти песни, все эти фильмы фальшивы насковзь (в самом прямом смысле слова) и сознательно рассчитаны на промывку мозгов, в том числе и таким, как я. И всё-таки я продолжал искать в них своё, истинно русское — и продолжаю до сих пор. Доходившая до нас через третьи руки информация, к примеру, об искусственно инспирированном голоде в России и, особенно, на Украине, служила лишним доказательством порочной сущности советского режима. (Отец, к примеру, настрого запрещал маме покупать дешёвых гусей, которых продолжали экспортировать из России на Запад даже и тогда, когда — и сейчас опубликованы на этот счёт неопровержимые доказательства — десятки миллионов русских и украинцев в буквальном смысле слова умирали от голода.) Россию мне было жалко. Но Россия была далеко, а ребёнок, или даже подросток не в состоянии по-настоящему осознать чужие страдания. («Ешь кашу; в Китае миллионы детей голодают...») Мне было жаль Россию и... самого себя за то, что разлука причиняет нам столько страданий.

Сколько раз мы обсуждали чисто гипотетическую проблему: предположим, японцы (речь почему-то всегда шла только о японцах) начнут войну с большевистской Россией — что нам делать в подобной ситуации? Нам, что, брать винтовки в руки и идти стрелять в простых русских крестьян? Ответа на этот «проклятый вопрос» мы так и не нашли, просто потому, скорее всего, что чувства, вроде чувства любви к «своим», к русским были превыше всех и всяческих резоннов. Стал бы я помогать «японцам» освобождать Россию от большевистского ига, и как бы я смог жить дальше, зная, что мне пришлось ради этого русских же — убивать. Разве могли мы в то время, будучи совсем ещё детьми, и духовно, и эмоционально, решить эту проблему, главную моральную проблему всякой гражданской войны. Не могли мы также знать и того обстоятельства, что буквально через несколько лет ту же самую проблему придётся всерьёз решать миллионам русских эмигрантов в самой Германии и миллионам советских военнопленных (я говорю о власовском движении).

Впрочем — извините мне этот краткий экскурс в будущее.

Скаутское движение в Германии было уничтожено нацистами. По неким совершенно необъяснимым причинам русским скаутам было позволено существовать ещё некоторое время после того, как собственно немецкая организация была разогнана методами самыми жестокими. Я думаю, что о нас просто-напросто забыли, потому как никаких других молодёжных организаций, кроме «Юнгфолька» и «Гитлерюгенда», к этому времени уже не осталось.

Закрыли нас вскоре после того, как мы вернулись из летних лагерей 1937 года. Слепая перерегистрировал нас в качестве спортивного клуба, но это означало, что со скаутской формой придётся расстаться. Это было чем-то вроде духовной кастрации. Ни о каких лагерях, естественно, не могло уже быть и речи. Мы продолжали от случая к случаю встречаться, пели вместе, играли в игры, однако главным нашим занятием стала отныне игра в бейсбол с американскими и японскими студентами на Фербелинерплатц.

Так закончилась история русского скаутского движения в Германии, история, которая сыграла немалую роль в собственном моём становлении.

В двадцатые годы, параллельно с русским скаутским движением, создавалось и русско-еврейское. Поначалу вроде бы обе организации существовали вместе, но потом евреи отделились и создали собственное движение. Насколько я помню, отношения между нами всегда были крайне сердечными. Мы довольно часто встречались, устраивали волейбольные матчи, и я никогда и ни от кого не слышал ни единой антисемитской реплики. Руководителем у них сперва был человек по фамилии Вестерман, потом его сменил Левенталь (Левенберг?), с которым я встречался незадолго до начала войны в Лондоне. По вполне понятным причинам 1933 года эта организация не пережила.

Становление

Патриотический пыл, взлелеянный в скаутских лагерях, со временем отошёл на задний план; он прошёл как-то сам собой после того, как в октябре 1937 года я покинул Берлин и вступил в непростую пору становления. Влияние семьи также постепенно сошло на нет. Даже непререкаемый в прежние годы авторитет отца не смог устоять перед обычной юношеской тягой к «освобождению», к «самостоятельности».

Оказавшись в Англии, я вскорости попал под влияние фабианства с его простым рецептом сделать человечество счастливым через посредство чисто экономических мер, весьма по своей сути несложных, а проще говоря — социалистических. Это влияние, источником которого был круг моего тогдашнего общения, попало на благодатную почву здорового юношеского радикализма, в силу которого всякий думающий юноша и всякая девушка становятся социалистами если и не в прямом смысле слова, то хотя бы попадают в чисто эмоциональную зависимость от социалистических идей. Все до единой проблемы, связанные с финансовым, а, как следствие, и с социальным неравенством вполне разрешимы — вот если бы только старшее поколение позволило нам распутать те узлы, которых оно успело понавязать более чем достаточно.

Мои переживания по поводу русского вопроса и связанной с ним личной моей трагедией отошли на задний план. К тому же я начал подозревать, что все мои мысли и чувства, весь мой прежний опыт восприятия коммунизма, уничтожившего «мою», «истинную» Россию, могут оказаться ошибочными, искажёнными тем самым старшим поколением (включая сюда и отца), которому я понемногу учился не доверять. Может, это и впрямь было следствием обычного юношеского стремления к бунту. А может быть — реакцией на ту резкую враждебность, которую питали к социализму ненавистные мне нацисты. Если они — наци — были против коммунистов, значит, в коммунизме не могло не быть чего-то по сути своей позитивного. Вот на этих шатких основаниях и строилось моё тогдашнее наивное виденье мира. (Разве мог я тогда предположить, что некоторое время спустя нацисты наипрекраснейшим образом договорятся с коммунистами и поделят между собой Восточную Европу, дав тем самым начало Второй мировой войне?)

Кроме того, без привычной поддержки отца и Виктора, интеллектуальной и чисто эмоциональной, было всё-таки трудновато. Во многом выручала дружба Поля Скорера (будущего

мужа Наташи, он погибнет в 1943). Не думаю, чтобы он был в восторге от моих социалистических симпатий, но в голове моей — как и в душе — царил хаос, и, побарахтавшись для виду, я подался-таки влево. Гражданская война в Испании и то обстоятельство, что нацисты приняли в ней участие на стороне Франко, сыграли в моём политическом становлении отнюдь не последнюю роль. Я прекрасно знал, что отец симпатизирует Франко (основываясь на опыте Гражданской войны в России), но у меня были теперь свои резоны и мнения, я был за республиканцев и даже вынашивал некоторое время весьма романтическую идею — вступить в интербригады, чтобы воевать с ненавистными наци. Порыв сей как нельзя лучше характеризует господствовавшую в тот предвоенный период в Англии политическую и духовную атмосферу. Как и многие другие, я убедил себя в том, что английские консерваторы суть потенциальные союзники нацистов! В своё оправдание хочу сказать, что «социалистический» мой период длился недолго, хотя нападение немцев на Советский Союз и ввергло меня в очередной душевный кризис. И впрямь, как я должен был реагировать, если на мою любимую Россию, где властвовали при этом проклятые большевики, напали ещё более отвратительные мне нацисты?

Но вернёмся в Берлин: я помню папины слова о том, что Гражданская война в Испании есть в определённом смысле повторение русской Гражданской войны, только в меньшем масштабе. Отец был на стороне Франко, но когда в войну вступили нацисты, он изменил свою точку зрения. Отныне он был «нейтрал» и не считал, что из двух этих зол вообще возможно выбрать лучшее.

Отец смотрел на развитие политической ситуации в 30-х крайне пессимистично. Он не делал особой разницы между Сталиным и Гитлером, хотя и расценивал русскую революцию как событие куда более фундаментальное и исторически значимое, чем нацистскую революцию в Германии. В России практически единомоментно был разрушен весь государственно-политический уклад, со всеми вытекающими отсюда катастрофическими социальными и экономическими последствиями, в то время как в Германии — по крайней мере внешне — жизнь изменилась мало. Русская революция в той или иной степени коснулась каждого из жителей страны, утопический эксперимент по созданию нового, не верящего в Бога человека и по освобождению его от «несуществующего» первородного греха никого не оставил в покое; в Германии же нацисты репрессировали (а позже просто уничтожили) «только» некоторые группы населения. Я разрешу себе несколько вольное обобщение: папа считал, что нацизм не был изначально направлен против немецкого народа, в то время как первыми жертвами большевиков пали именно русский и другие народы, населявшие Советский Союз. Коммунизм был навязан России, этому подопытному кролику истории, куда более жестоким и кровавым путём, нежели нацизм — Германии, где общая социальная ситуация осталась в целом неизменной. (Мне вспоминается в этой связи один популярный на эту тему анекдот: когда одной старушке стали объяснять, что коммунизм — это гигантский эксперимент, старушка ответила: «но ведь они должны были сперва попробовать на собаках».)

После того, как в 1939 году началась война, и особенно после нападения Германии на Советский Союз, отец проникся уверенностью в том, что Германия непременно потерпит поражение. Однако Сталин и Гитлер были для него всего лишь разными воплощениями одного и того же зла, и, если речь заходила об этих двух фигурах, обычная его реплика была: «в один мешок».

Если говорить о мистических — и пессимистических по большей части — взглядах отца на историю, в особенности после массовых убийств, в которых были повинны как большевики, так и нацисты, а затем и после изобретения ядерного оружия, то он пришёл постепенно к выводу, что Бог «устал» от своего творения. Бог вполне мог прийти к выводу, что эксперимент по созданию человека, существа, наделённого возможностью сознательного выбора между добром и злом, закончился неудачей. Человек оказался склонен употреблять полученную свыше свободу во зло. Даже заклятие Сына Божьего, Иисуса Христа, человека ничему не научило. А жаль, потому что эксперимент вполне небезыntenересный. Бог — согласно папиному мнению — мог счесть, что человек вполне в состоянии сам покончить счёты с жизнью при помощи той самой интеллектуальной мощи, которой Бог его наделил и которой человек привык злоупотреблять от всей души. Человек отрёкся от свободы, сделав выбор в пользу зла, а потому оказался недостоин начатого эксперимента.

Будни

Финансовое положение нашей семьи было весьма неблагоприятным. Я мало что об этом знал: дети, как правило, не интересуются или не хотят интересоваться житейскими проблемами. В первые годы нашего пребывания в Берлине отец имел стабильный, хотя, возможно, и не очень значительный доход. Но мы жили неплохо и даже держали служанку. С приходом к власти Гитлера отец потерял место в университете, и наша жизнь сделалась труднее. Я помню, что отец постоянно ездил с курсами лекций в Балтийские республики, в Чехословакию, Югославию, Голландию и Францию — с единственной целью хоть как-то пополнить наш скудный бюджет. Он много публиковался в немецких, голландских и в эмигрантских русских журналах; он продолжал работать в берлинском Русском институте до самого закрытия института нацистами. Когда с деньгами стало совсем плохо, мама вспомнила о полученных в студенческие годы навыках массажа. Она уходила раньше, чем я открывал по утрам глаза, а потом обыкновенно возвращалась, чтобы приготовить завтрак отцу, который был абсолютно беспомощен в такого рода житейских делах.

Насколько я сейчас понимаю, среди маминых клиенток должны были быть и «roules de luxe» (дорогие шлюхи). Однажды я слышал, как мама с негодованием рассказывала об одной из них, любовнице пользовавшегося в те годы дурной славой генерала Мильха. Мильх, вероятно, был еврей, и о нём ходила в Берлине шутка в духе «чёрного юмора». Геринг, защищая своего подопечного, будто бы сказал однажды: «In meinem Ministerium bestimme ich wer Jude ist und wer nicht» («В моём министерстве я определяю — кто еврей, а кто нет»).

Виктор, окончивши курсы русской истории в Берлинском и Пражском университетах, работал теперь в конторе «Hauptgemeinschaft der auslaendischen Studierendeu» (организации, которая занималась проблемами обитавших в Берлине иностранных студентов). Наташа устроилась секретарём в русской эмигрантской коммерческой фирме, торговавшей, насколько мне известно, с Советским Союзом. Таким образом, оба они вносили в семейный бюджет свою долю. Если я ничего не путаю, Наташа оплачивала счета за квартиру.

Когда мы жили на Нойе-Кантштрассе, я в свои 9 — 11 лет зарабатывал на карманные расходы, подавая мячи в местном теннисном клубе. За час беготни мне платили 50 пфеннигов, случались иногда и чаевые. На 50 пфеннигов в то время можно было купить 10 маленьких порций мороженого или 5 пирожных.

В 15 лет я стал зарабатывать куда приличней. Два раза в неделю я шёл на семейное предприятие Редлих, закупал у Редлихов небольшие партии творога и сметаны, ставил продукты в специально приспособленный для этого рюкзак и развозил по друзьям и знакомым, взымая с них за удобство скромную надбавку. Сдаётся мне, что кое-кому из хороших наших знакомых мой товар был не слишком-то и нужен, но у меня покупали. Одним из моих постоянных клиентов был Владимир Набоков, живший на той же Несторштрассе, что и мы, мы в доме под номером 11, он — 21. Довольно часто Набоков или его жена говорили мне: «Васенька, мы тебе заплатим на следующей неделе». Они и до сих пор остались мне должны за несколько порций творога и сметаны! У Набокова была весьма характерная аристократическая картавинка. Я прекрасно его помню — невероятно изысканный, хотя и бедно одетый человек. Помню я и его жену, русскую еврейку (урождённую Вишняк), и их сына Дмитрия, родившегося в 1936, которого я иногда вывозил на прогулку в коляске.

Если мне не изменяет память, Набоковы тогда жили бедно, и им помогала ещё одна русско-еврейская семья, Татариновы, с которыми мои родители также были знакомы.

Купля-продажа была для меня делом абсолютно незнакомым, и в начале своей деловой карьеры я был кем-то вроде любителя-энтузиаста. Так, к примеру, у меня почти всегда оставались нереализованные продукты, которые я отдавал маме безо всякой наценки, а то и вовсе даром. Душа моя была чужда коммерции, и данное обстоятельство мешало мне делать деньги на близких людях.

Как-то раз одна из моих покупательниц, г-жа Тумаркина, рассказала маме, как в ответ на её вопрос о том, что я буду делать с заработанными деньгами, я ответил, что куплю маме необходимый ей в те годы корсет. Мама, должно быть, сочла меня по-настоящему любящим сыном. На

самом же деле я купил себе на Александерплатц прекрасный, хотя и подержанный велосипед, скорее всего краденый, шикарные коньки, брюки-гольф, ещё несколько вещей из разряда тех, что кажутся подростку жизненно необходимыми — и несколько раз водил барышень в кино, а потом в кафе-мороженое, к Кирххайму. Должно быть, по тем временам деньги я делал немалые.

В семье, между тем, с деньгами было совсем плохо. Время от времени, тайком от родителей, нам звонили друзья и просили приехать, забрать пакеты с едой: Копельманы, М. М. Гуревич, Данишевские. С Данишевскими родители познакомились ещё в Саратове, в первые послереволюционные годы. У них тогда была фабрика по производству мыла, и, приехав в Берлин, они открыли точно такую же (на Иоахим-Фридрихштрассе, в Халензее, на той самой улице, где мы жили в конце двадцатых). Однажды Фаня Борисовна, добродушная, с неизменной улыбкой на полном лице дама, говорившая с сильным еврейским акцентом — это был, скорее, даже не русский язык, а некий еврейско-русский диалект — попросила меня приехать. Я приехал — и она вручила мне огромную кастрюлю, полную бульона с плавающей в нём курицей. Обращаюсь к желающим повторить мой подвиг — возьмите большую кастрюлю, налейте в неё воды и проведите на велосипеде 2 — 3 километра, не расплескавши ни капли!

Копельманы — Максим Соломонович и Серафима Абрамовна — были ближайшими друзьями родителей за все наши берлинские годы. У них было трое детей — Надежда, Александр (Алик) и младший, Соломон (Моня), который был всего на несколько лет старше меня. В этот дом я всегда шёл с радостью. В начале тридцатых они жили на той же улице, что и мы, на Гектор-штрассе, в Халензее, и мы виделись довольно часто. Сколько раз мама посылала меня к Серафиме Абрамовне то за чашкой муки, то за яйцом, то за луком.

Между этой семьёй и моими родителями отношения были довольно странные. Они были, если мне позволено будет так выразиться, влюблены в отца, и в то же время интеллектуальная и нравственная его мощь, проявлявшаяся как бы сама собой, абсолютно естественно и безо всякого, даже наималейшего усилия с его стороны, вызывала в них что-то вроде священного ужаса. Симочка (так у нас именовали Серафиму Абрамовну) была маминной ближайшей подругой. Я знаю, что в самые тяжёлые времена Копельманы неизменно нам помогали. Они всегда были готовы поверить папе в долг, долги, надо сказать, возвращались при первой же возможности. Под впечатлением от идеальной этой дружбы, длившейся на всём протяжении берлинского моего детства, я и вырос в счастливом заблуждении, что такая забота друг о друге, такая любовь и такое внимание являются нормой человеческих отношений. Позже мне пришлось осознать всю уникальность этой дружбы, признать наивность юношеских моих заблуждений и свыкнуться с мыслью, что требовать того же от других людей не стоит. И всё-таки моё обычное нежелание (или неумение) ссориться с людьми, почти трусливое по сути своё стремление всеми силами избегать конфликта, возможно, до определённой степени обязано своим происхождением уникальному этому юношескому опыту.

Копельманы оказались достаточно предусмотрительны, чтобы уехать из Германии в Палестину в середине тридцатых. Алик, который совершенно ассимилировался и был, ко всему, квалифицированным специалистом-инженером, остался. Каким-то образом он оказался связан с подпольной коммунистической организацией; его арестовали, приговорили к тюремному заключению — в тюрьме он, должно быть, и погиб. Сразу после войны я оказался в Австрии и некоторое время переписывался оттуда с Серафимой Абрамовной. Она всё надеялась, что немецкая бюрократическая машина, которая, с её точки зрения, никуда не делась и при нацистах, могла помочь её сыну спастись. Если уж человек угодил в тюрьму — так она считала — его уже не могли отправить оттуда на ликвидацию в концлагерь. Она просила меня хоть что-нибудь разузнать о его судьбе. Я сделал всё, что было в моих силах, если учесть царивший тогда в Германии хаос, обращался в Красный крест, в другие благотворительные организации, но так ничего, естественно, и не узнал. Позже Моня прислал мне книгу о нём и о его судьбе, на иврите и на немецком.

Невдалеке от нас, на Вестфелишештрассе, жила и Мария Моисеевна Гуревич. Она была целительница, в истинном смысле этого слова, и обладала способностью — почти мистической — отслеживать боль. Она всегда знала наверное, что у человека болит и какого эта боль рода. Затем она принималась массировать больное место и — буквально — стряхивала боль прочь

с кончиков пальцев. Лечилась у неё только мама, потому как отец в силу своих каких-то резонансов ходит к ней отказываясь; впрочем, позже, когда он стал страдать бессонницей, вылечила его именно она. Помогла она и мне. Когда после восьмидневной пытки у меня сняли, наконец, с ноги гипс, то от долгой неподвижности пришлось болеть колено. Она принесла мне почти моментальное облегчение, помассировав тыльную сторону колена и «стрягнувши» боль прочь.

Мария Моисеевна была из тех добрых и отзывчивых евреев, которых отец считал потомками сподвижников Христа. Возьму на себя смелость утверждать, что отец и сам был из той же породы — добрый, отзывчивый, мягкий, совершенно неспособный сердиться («Танюша, — говорил он, — пожалуйста, посердись на детей»), но знающий при этом свою святую правду. Такие люди, как Григорий Адольфович Ландау, Айхенвальд и, конечно же, Пастернак принадлежат к той же самой категории людей («ласковые» — вот, мне кажется, подходящее русское слово), избранных Богом. Исходя из личного моего опыта, таких людей в силу неких совершенно необъяснимых причин больше всего среди евреев. Не думаю, чтобы это было простым совпадением. Как бы то ни было:

«Однако, странен выбор Бога — Жида призвать себе в подмогу» (Хилари Беллок).

К несчастью, есть и совсем другого рода евреи; мы в те времена с ними почти не знали. Таинственный народ...

У М. М. Гуревич были два взрослых сына, оба врачи, как и последний её муж. У одного из них я лечился в Лондоне, ещё до войны. Её муж, как мне рассказывали, покончил с собой ещё в самом начале века: он просто шёл и шёл себе в море по дну от берега, пока не утонул. Какое самообладание! Мария Моисеевна была искренним и преданным другом нашей семьи. Из переписки отца со швейцарским психиатром доктором Людвигом Бинсвангером я выяснил, что она сносилась с ним ещё в середине тридцатых по поводу нашего тяжёлого материального положения — просила совета. Он ответил, что всегда готов пригласить отца пожить у него, сколько угодно долго, каковым предложением отец и воспользовался, когда пришла пора покинуть Германию. В конце 1937 года он уехал из Берлина к Бинсвангеру, в Кройцлунген, а чуть позже, в самом начале 1938-го, присоединился к маме и Наташе уже в Париже. Пока его не было, мама с Наташей отказались от квартиры, продали всю мебель и уехали, имея в кармане по 10 марок каждая, — всё, что нацисты разрешали взять с собой. На этом берлинский период в истории нашей семьи в основном закончился. В Германии остался один только Виктор.

В 20-е годы на Прагерштрассе открылся русско-еврейский молодёжный клуб. Я часто заходил туда после уроков русского языка. Меня привлекала возможность поиграть в настольный теннис. Один из мальчиков, постоянно игравший там в пинг-понг, был действительно классным игроком. Благодаря ему и я стал играть много лучше и даже выиграл несколько соревнований среди русских мальчиков. Содержала клуб госпожа Богрова, мать убийцы Столыпина. Когда мы пели русские песни, она аккомпанировала нам на рояле. Помню, на отца произвёл неизгладимое впечатление сам факт: мать человека, который, может быть, изменил историческую судьбу России и, в силу некоей нелинейной логики, оказался ответственен и за нашу эмиграцию, пела с нами песни, подавала чай и нежнейшим образом заботилась о собиравшихся в клубе детях. Этакая шутка истории!

Клуб организовал — или просто давал деньги на его содержание — Яков Львович Тейтель (он так и назывался, «Тейтелевский клуб»), который, по иронии судьбы, знал маму ещё в девические годы, в Саратове. К моменту нашей с ним встречи это был очень худой, небольшого роста пожилой человек, проявлявший чрезвычайную активность в деле эмигрантской благотворительности. Весьма вероятно, что именно через него получали финансовую поддержку и скаутские организации. При встрече он имел обыкновение трепать меня по затылку и неизменно просил передать маме уверения в самых искренних его к ней чувствах — «она была такая красивая девочка». Встретив однажды Наташу, он принял её за маму.

Тейтелевский клуб всегда был открыт для евреев, не-евреев и вообще для любого, кому пришло бы в голову зайти, поиграть в пинг-понг и выпить чашку чая с кексом. Клуб разделил судьбу русско-еврейской скаутской организации. Как только нацисты пришли к власти, они его тут же закрыли.

У нас дома

Оглядываясь вспять и сравнивая наш дом с другими русскими домами в Берлине, я могу с уверенностью сказать, что он не был типичен — в смысле гостеприимства. Отчасти это можно объяснить маминной зачастую излишней заботой о папе и о том, чтобы у него было время отдохнуть. К нам заходили, как правило, вечером, на чашку знаменитого «русского чая», который неизменно подаётся в сопровождении чего-нибудь сладкого. Иногда случался гость и к воскресному обеду.

Кто из русских был вхож в наш дом? Одним из самых частых гостей был Осип Евсеевич Бужанский, студенческий друг отца. Они вместе изучали политэкономия, пока отец не понял, что его призвание — философия. Бужанский был весельчак и душа компании, он всегда являлся к нам буквально с ворохом новых шуток и анекдотов, порой весьма рискованного свойства. Отец хохотал во всё горло, и хохот у него неизбежно (как и у меня потом) переходил в кашель. Мама делала вид, что шокирована, хотя иногда (если понимала «соль» анекдота, что с ней случалось не часто) тоже не могла удержаться от смеха. Меня в подобных случаях неизменно отправляли на кухню за стаканом очень холодной воды для мамы (сие означало, что нужно долго стоять у крана и ждать, пока вода не сделается нужной температуры), и я всегда пропускал ключевую фразу, которой и без того, вероятно, не понял бы. Но — я же всё равно подслушивал. И не переставал удивляться, отчего это взрослые смеются над тем, что для меня, ребёнка, вовсе не кажется смешным.

Из сказанного мною об отце может сложиться впечатление, что это был человек весьма серьёзный и не склонный шутить, как то и «приличествует» философу. Отец действительно был натурой глубокой и в житейских делах бывал зачастую беспомощен. И в то же самое время он умел — и имел обыкновение — становиться на удивление добрым и заботливым, ценил хорошую шутку, да и сам, под настроение, шутил иногда весьма удачно. Так однажды он рассказал мне историю о старом русском генерале пушкинских времён, который, будучи поставлен в известность, что у него расстёгнута ширинка, отвечал: «Я привык жить в соответствии со старым русским обычаем — в доме покойного все двери надлежит держать распахнутыми настежь». Он просто обожал анекдоты о рассеянных профессорах (может быть, именно потому, что в каком-то смысле сам был из той же породы), особенно же ему нравилась следующая: рассеянный профессор приглашён на приём. Он входит в дом, видит своё отражение в большом напольном зеркале, бормочет: «Ах, так я уже, выходит, здесь», — разворачивается и отбывает восвояси.

Отдавал он должное и политическим анекдотам, по той простой причине, что они выставляли на всеобщее обозрение нелепости политических систем, в особенности тоталитарных. Но в шутках на русские темы неизменно присутствовала нотка печали. Он терпеть не мог вульгарных шуток, и вообще вульгарности в любых её видах, в чём бы она ни проявлялась, в анекдоте ли, в человеке. В числе характернейших его качеств юмор не значился, однако же он пользовался им на манер некоего средства внутренней гигиены и умел получать от него удовольствие.

Вернёмся, однако, к частым визитам Бужанского. Помимо веселья они означали серьёзные политические дискуссии, в основном касательные до России, до несчастливой её судьбы и мрачного будущего. Иногда отец приглашал его в кабинет (который, кстати, служил ему и маме ещё и спальней), и вот тогда разговор затягивался надолго.

Я не имею ни малейшего понятия, чем Осип Евсеевич зарабатывал себе на жизнь. Отец говаривал в шутку, что всякий уважающий себя еврей должен иметь контору — и у Бужанского вроде как была контора. Несколько раз мы ходили к Бужанским на Рождество; выяснилось, что они с женой, чьего имени-отчества я совершенно не помню, жили много лучше нашего. У них были дочь и внучка, маленькая толстушка примерно моего возраста, которая мне не нравилась, а потому играл я с ней безо всякой охоты. Впоследствии они выехали в Париж и по каким-то причинам задержались там даже и после немецкой оккупации. От родителей я слышал, что Бужанский покончил жизнь самоубийством. Причиной, насколько я помню, было то обстоятель-

ство, что он добровольно зарегистрировался как еврей и привлёк таким образом внимание ко всей своей семье. Жена, дочь и внучка ему этого не простили и превратили его жизнь в сущий ад, отчего он и выбросился из окна.

Рассказывая мне о его трагической смерти, отец, помнится, особый упор сделал на том, что сам по себе факт регистрации был весьма характерен для человека, воспитанного в традициях русской интеллигентности. Согласно неким неписанным, но подлежащим тем не менее строгому соблюдению правилам, сказать неправду было попросту невозможно, к каким бы печальным последствиям это ни вело. Мне было искренне жаль Осипа Евсевича. Он заслуживал лучшей смерти.

По воскресеньям, после обедни, к нам часто заходил о. Григорий Прохоров, священник из церкви, в которую ходили родители, Наташа и (время от времени) я. Его всегда ждала у нас чашка горячего кофе, ибо ему не положено было есть до окончания воскресной службы. После обеда мы садились с ним обыкновенно играть в шахматы. Помню, как, обдумывая очередной ход, он имел обыкновение поглаживать длинную свою седую бороду и, поглядывая на меня лучистыми добрыми глазами, бормотать «добже, добже», каковое слово представлялось мне злошей некоей угрозой, вроде «Вот я тебе сейчас задам». Он представлял собой тип русского крестьянина, невообразимо добрый человек. Его семья осталась в России и он был совсем один. Позже, на кладбище в Тегеле, я поклонился его могиле и молча помолился за него.

Частыми нашими гостями были Григорий Адольфович Ландау и его жена, тихая робкая женщина. Они жили в ужасных условиях, в меблированных комнатах где-то в районе Фазанен-платц. Я был тогда ребёнком, потом подростком, но даже я не мог не оценить его эрудиции, культуры и мягкой, но вполне очевидной авторитетности всего, о чём бы он ни говорил. Он казался человеком очень мудрым и в то же время скромным. Из Берлина они уехали в одну из Балтийских стран, где, должно быть, и погибли. Если Советы не успели «ликвидировать» их во время оккупации Балтии, это наверняка сделали немцы.

Владимир Митрофанович Феодоровский, бывший белый офицер и студент отца в берлинском Русском Научном институте, часто заходил к нам на обед или на чашку чая. Он работал водителем такси. После войны он стал священником и, по просьбе моей матери, хоронил моих братьев. В Берлине он ухаживал за некоей дамой по имени Сара Генриховна Слезберг, страдавшей тяжёлой формой астмы. Её отец был когда-то известным адвокатом в С.-Петербурге. В 30-х годах она приняла православие, Феодоровский женился на ней и увез её в Париж, где ему удалось спрятать её от нацистов.

Ариадна Петровна Дамантиди, красивая и жизнерадостная женщина (она-то в своё время и поставила «Садко»), приходила к нам довольно часто, чтобы «восхищаться» отцом. Из тех, кто бывал у нас, она, кажется, нравилась мне больше всех. Теперь, когда я познакомился с Грецией, я понимаю, что её темперамент, её жизнерадостность (и её глубокий сильный голос тоже) были типично греческими, хоть она и обрусела совершенно. В 1932-м, когда из чисто денежных соображений мы были вынуждены провести всё лето в городе, она взяла меня с собой в домик, который она снимала на лето в деревне, и я провёл там восхитительно долгий месяц.

Заходил к нам Игорь Корнеевич Смолич, автор немецкой монографии о русских святых. Он был человек весьма застенчивый и сильно заикался. Профессор Боголепов приходил обыкновенно вместе с женой и дочерью Алёнушкой, которой я, по-моему, нравился. Профессор Овчинников, папин коллега, напротив, появлялся у нас довольно редко, и я не слишком-то хорошо его помню. Но пасынок его, Сергей Субботин, был героем в глазах молодых русских берлинцев. Он был чуть старше Виктора и Алёши — талантливый актёр-любитель, игравший основные роли в большинстве русских спектаклей, ставившихся в те годы в Берлине.

Помню ещё семью Гефдингов, главой которой был красивый, немного старомодной наружности мужчина, датчанин по происхождению, но также совершенно обрусевший. Он был преуспевающий экономист, ученик Петра Бернардовича Струве (дяди Пети — см. ниже).

Яков Наумович Блох и его жена Елена (отчество забыл) владели в Берлине русской издательской фирмой «Петрополис». Его сестра Раиса и Михаил Горлин, её муж, были поэтами и дружили с Виктором. Во время немецкой оккупации Раиса и её ребёнок уехали из Франции в

Швейцарию, но швейцарские власти выслали их назад, на верную смерть. Позже мы узнали наверно, что Миша погиб. В последние месяцы перед моим отъездом в Лондон жена Блоха занималась со мной английским.

Захаживал к нам иногда и человек по имени Герман Ахиллович Каменко (восхитительные имя и отчество для еврея!) — или фамилия была Каменка? — с густо волосатой и вечно хихикающей женой-армянкой. Ещё один нечастый гость — редактор русской газеты «Руть» Гессен.

Елизавета Александровна Штутцер и её незамужняя сестра Каролина (Линочка) Ферайн были очень дружны с мамой. Их отцом был тот самый Ферайн, миллионер и владелец целой сети московских аптек. После революции они бежали в Берлин, где и зарабатывали на жизнь, обшивая богатых русско-еврейских дам. Чем ещё могли заняться богатые когда-то девушки, разорившиеся дотла и попавшие в чужую страну, на языке которой они с трудом изъяснялись? В прежние времена они сами держали поваров и служанок, и к той трагической ситуации, в которой им отныне приходилось жить, оказались совершенно не готовы, ни морально, ни материально. По счастью, они вспомнили, что умеют шить.

Одним из самых трагических моментов в жизни русской эмиграции в Германии была неспособность подавляющего большинства эмигрантов зарабатывать себе на жизнь так, как они привыкли это делать дома. Подавляющее большинство «порядочных» профессий, за исключением врачебной и, может быть, ещё нескольких, связанных с разного рода коммерцией, были для них невозможны в силу немецких законов. Потому-то многие, если не большинство, устраивались водителями такси, официантами в русских ресторанах, простыми рабочими, горничными и т.д. К тому же множеству женщин пришлось не только заняться совершенно непривычным для них прежде домашним хозяйством, но и мириться с совершенно иным, неизмеримо более низким уровнем жизни.

Сёстрам удалось-таки доказать своё немецкое происхождение и получить таким образом гражданство. У Елизаветы Александровны была дочь Ольга, которая вышла замуж за немца по фамилии Квак (которого я, естественно, назвал как-то раз по ошибке «Фрош» (нем. — лягушка)), совершенно ассимилировалась и даже умудрилась развить в себе выраженные нацистские симпатии. Судьба семьи Ферайн-Штутцер была вполне типична для тех немцев, которые успели в «прежней жизни» совершенно обрусеть. Большинство из них ощущали себя, да и были в действительности русскими, их деды и прадеды уже были православными: они были русскими в России и оставались ими в Германии. Я помню, что отец встретил как-то на улице няню-немку, которая служила когда-то у его сестры Софьи в Санкт-Петербурге. Отец спросил её, как ей живётся в Германии, и получил в ответ: «Ach, wissen Sie, es waere nicht schlecht, wenn es hier nicht so viele dieser Nemzis gaebe» («Ах, знаете, всё бы ничего, если бы тут только не было такого количества этих самых немцев»).

Писатель Оцуп со своей семьёй иногда бывал у нас. В нашем кругу был и знаменитый тогда (но не для меня) Максим Романович Фасмер. Его семья жила рядом с нами, неподалёку от Фербеллинерплац, места, где находился мой футбольный клуб. Они часто навещали нас, а я часто, но неохотно сопровождал своих родителей во время визита к ним. Детей в этой семье не было, и в ходу была шутка о моём усыновлении, что меня ужасно пугало.

Фасмер был высоким, неуклюжим человеком. Когда он пытался обнять и поцеловать меня, сразу было понятно, что у него не было никакого опыта общения с детьми. Его жена была не менее эмоциональна; её нежность навела меня на мысль, что всё-таки существовала тайная договорённость о моём усыновлении. Вот почему до определённого возраста я боялся этих людей; позже я понял, что это была только шутка.

В конце 20-х мы подружились с новыми для нас людьми. Василий Леонтьев, его жена и сын Василий («Василёк») были невозвращенцами, т. е. советскими гражданами, которые не вернулись из зарубежной поездки и остались в Берлине. Не знаю, чем они занимались, но жили они в достатке. Неподалёку от Байришерплатц, в роскошном богатом районе, у них была квартира. Перед отъездом в США они подарили мне великолепное издание гомеровской «Одиссеи» в переводе Жуковского. Я всё ещё храню эту книгу. Книга превосходно иллюстрирована. Виктор

читал мне её в детстве. Так состоялось моё первое знакомство с восхитительным и таинственным миром греческой мифологии.

Помимо «берлинских русских» к нам приходили и оставались ночевать те, кто приезжал в Берлин из Франции, Чехословакии, Югославии или из Балтийских государств. Я прекрасно помню Николая Александровича Бердяева, который был изгнан из России одновременно с нами и жил в Париже. Когда я был маленьким, его визиты откровенно меня пугали. У него был нервный тик: время от времени он открывал рот, высовывал язык, а рука его, подрагивая, поднималась сама собой к затылку, одним и тем же абсолютно бессмысленным жестом, так, как будто у него вдруг зачесалась голова. Случалось это достаточно часто, особенно в моменты умственного напряжения. Маму очень смущала моя манера смотреть на него в такие моменты, вытаращив от ужаса глаза, и она обыкновенно уводила меня из комнаты. Хотя, я думаю, он к подобной реакции, в особенности детской, давно уже должен был привыкнуть. И только строгое воспитание и, в особенности, страх, что вот сейчас на мне остановится ледяной мамин взгляд, удерживали меня от того, чтобы расплакаться. (Отец, кстати, считал Бердяева одарённым популяризатором чужих идей, но ни в коем случае не мыслителем, хоть сколь-нибудь глубоким и самостоятельным.) После войны они встречались уже в Париже, говорили о ситуации в Советском Союзе. Под впечатлением от победы над нацистской Германией Бердяев стал «советским патриотом» и утверждал, что в результате военной победы и перенесённых страданий природа русского коммунизма изменилась и он стал куда более «русским», нежели «коммунистическим». Отец же твёрдо верил, что Сталин как был, так и остался воплощением зла. Авторитет Бердяева был огромен, и советские власти использовали его позицию в качестве инструмента воздействия на определённую часть эмигрантов, убеждая их вернуться в Советский Союз, — и потому отец считал, что дальнейшая судьба этих людей отчасти лежит на его совести.

Иногда приходил к нам некто князь Оболенский. Он жил в Дрездене, где, кажется, работал на фабрике по производству русский сладостей. Он всегда приносил с собой упаковки тянучек и клюкву с толстым слоем сахара. Я любил и до сих пор люблю их — может быть, только потому, что они напоминали мне о недостижимой, но всё ещё глубоко любимой России.

Несколько раз приходил Василий Васильевич (позже о. Василий) Зеньковский. Я снова увидел его в Париже прямо перед войной. Весьма странно, что жил он в одном доме с дядей Лёвой.

Периодически приезжал к нам из Эстонии философ Василий Эмильевич Сеземанн, статный, загорелый, спортивный мужчина. Они с папой на долгие часы закрывались в кабинете. Я помню Алексея и Дмитрия Сеземаннов (его пасынков). Мы с Дмитрием были ровесники. Их мать, как стало известно, была советским агентом в Париже. Последний раз я видел Дмитрия, когда он направлялся из Парижа в Москву. Они остановились в Берлине и переночевали у нас. Я испытывал к нему сложное чувство зависти. Тайно и вопреки собственным убеждениям, я завидовал тому, что он возвращается в Москву, а я остаюсь во враждебной Германии... (Дмитрию разрешили вернуться во Францию в середине 70-х.)

Лев Платонович Карсавин несколько раз останавливался у нас после того, как в конце 20-х уехал из Берлина в Прибалтику. Последний раз он приходил к нам за несколько лет до моего переезда в Англию. В тот раз он просил меня показать ему знаменитый берлинский музей — Пергамон, музей кайзера Фридриха и некоторые другие. В то время он болел простатитом, поэтому чаще посещал музейные туалеты, чем сами музеи. Бедный! Лев Платонович жил с женой и дочерьми в Париже, хотя их отношения — как рассказывала мне мама — складывались так, что в течение нескольких лет они не разговаривали. Хорошо помню его дочь Сюзанну, я часто играл с ней. Она была толстой, и меня не интересовала. Старшая дочь Карсавина, Марианна, вышла в Париже замуж за некоего Сувчинского (позже он стал певцом). Трагическая судьба Карсавина — после оккупации Прибалтики он был арестован Советскими властями и умер в концлагере — хорошо известна и документирована.

К кругу наших друзей несомненно принадлежал Юлий Исаевич Айхенвальд, часто у нас бывавший. Человек характера необычайно кроткого, напоминавший мне стилем поведения и общения — ненавязчивым и полным достоинства — моего отца, он был притом скептик. Когда,

сразу после его смерти, отец писал некролог, он привёл там его же собственные слова: «Бог не дал мне дара верить в него». Он попал под трамвай, возвращаясь от нас. Он умер в больнице, не приходя в сознание. Говорят, что у него был повреждён какой-то управляющий голосовыми связками нерв, и он продолжал непрерывно кричать, пока не наступила смерть.

В конце двадцатых в доме у нас бывал епископ Вениамин — Иван Афанасьевич Федченков. Помню его добрый взгляд, живой ум и долгие беседы с отцом о трагической судьбе русской церкви и о той роли, которую она должна играть в эмиграции. Епископ сохранил веру и преданность Патриарху Московскому и после войны вернулся в Советский Союз, прекрасно зная, что его там ожидает.

Время от времени к нам заходил доктор Альтшуллер — родственник или даже сын близкого друга Л. Толстого. Его сопровождала дочь, очень привлекательная девушка. Они, кажется, уехали из Берлина ещё до прихода Гитлера к власти. Екатерина, дочь профессора, произвела на меня впечатление, поразив своей таинственной красотой.

А теперь позвольте мне рассказать о тех наших друзьях и знакомых, кто, приехав издалека, поселялся у нас надолго. Особенно дорог нам был Пётр Бернардович (а не Бернгардович) Струве — «дядя Петя». Он был близким (и, возможно, единственным) старинным другом отца. Познакомившись в студенческую пору, они остались друзьями на всю жизнь, и основой их отношений служило неизменное уважение друг к другу. Его многочисленные сыновья — Глеб, Алексей, Лев, Аркадий и Константин, которым трудно было в детстве выговорить «Семён Людвигович», всю жизнь по привычке называли отца «Нюнич». Пётр Бернардович был крестным отцом Виктора.

Отец давал уроки философии состоятельному русскому инженеру по фамилии Ольгин. Частные уроки служили дополнительным и наиболее приемлемым источником дохода. Сын инженера — Константин — типичный англичанин по стилю и образу жизни — работал внештатником на радио «Свобода» в Мюнхене. Отношения между нашими семьями вызывали у него удивление. Ольгин, появляясь в нашем доме, никогда не забывал о цветах для мамы и небольшим подарке для меня. Истинно русский джентльмен.

Мы были дружны с профессором Макаровым, его женой и двумя дочками, которые были одного со мной возраста. Если я не ошибаюсь, Макаров, как и Леонтьев, был «невозвращенец», т.е. Россию он покинул официально и остался за границей. В 60-х годах мы с мамой навещали вдову профессора, она жила в Гейдельберге. Профессор Макаров, экономист по образованию, был последним директором Русского Научного института и руководил им до той поры, пока нацисты его не закрыли. В любом случае, институт давно уже утратил свою роль, поскольку к моменту закрытия его посещали лишь несколько студентов.

Дядя Петя приезжал к нам довольно часто — из Белграда или Праги. Несколько раз я водил его в великолепные берлинские музеи, которые неплохо знал по школьным экскурсиям. В последний раз я видел его в октябре 38-го года, когда он приезжал к Глебу в Лондон. Глеб просил меня присматривать за ним и показать ему город. Наибольший интерес у него, естественно, вызвала библиотека Британского музея, где мне и приходилось часами его ждать. Он, кажется, был в очень сложных отношениях с женой Глеба, Юлией Юльевной, и был с нею так груб, что даже меня это приводило в замешательство.

В то время я был по-романтически глупо увлечён британскими «левыми» и неосторожно показал ему одну из книг, которую я в то время читал. Она называлась «Советская демократия» и вышла в наивном фабианском «Клубе левой книги». Он так разозлился, что мне показалось, сейчас его хватит удар, стал на меня кричать: «Потом узнаешь всю горькую правду», — и не разговаривал со мной всю дорогу до дома. Когда на следующий день я зашёл за ним к Глебу, чтобы отвести его в Британский музей, он, как мне показалось, совершенно забыл о вчерашнем происшествии и был со мной по обыкновению мил.

Они с папой были на «ты», но обращались друг к другу по имени-отчеству. На «ты» папа называл при мне только ещё двух человек, своих студенческих друзей — Бужанского и Василия Эльяшевича.

В молодости в духовной и политической атмосфере России конца прошлого века Пётр,

подобно папе и большинству русской интеллигенции, был «левым», естественно, знал Ленина (которого он терпеть не мог и считал злым человеком) и других ведущих социалистов того времени. Потом почти одновременно с папой он полностью разочаровался в социализме. Эта политическая (или, скорее, духовная) метаморфоза, теперь уже неплохо документированная и исследованная, произошла, когда папа всё ещё был студентом (дядя Петя был несколькими годами старше). Вы можете прочитать об этом в воспоминаниях отца, опубликованных в парижском «Вестнике» и, более детально, в его книге о Струве, написанной сразу после смерти дяди Пети в 1944 году.

Вопреки желанию отца назвать книгу «Воспоминания о П. Б. Струве», книга вышла под названием «Биография П. Б. Струве».

До сего дня и папу, и особенно дядю Петю (который из них двоих был более склонен к политике) называют «марксистами». Это касается и безграмотных русских «правых» политэмигрантов из бывшего Советского Союза.

Если исходить из папиного толкования политической деятельности Струве, дядя Петя всегда страстно стоял за справедливость. Когда он верил, что социализм благотворен для России, он поддерживал социализм. Когда он понял, что политические последствия социалистических идей будут представлять опасность, он перестал быть социалистом. Он стал кадетом, уверенный, что эта партия может облегчить положение в стране. Его превращение в страстного и воинствующего антисоциалиста вполне логично вытекало из особенностей его характера: он понял, что ленинский социализм — это чума для России.

В эмиграции русские правые экстремисты постоянно обвиняли его в приверженности социализму. И неудивительно, что после немецкой оккупации Югославии какой-то негодяй из русских обвинил его в том, что он был (в конце прошлого века!) идеологическим союзником Ленина. Его арестовали и поместили в тюрьму в Граце. Там он потребовал полное собрание сочинений Ленина, каковое и было ему предоставлено. Он выбрал все места, где Ленин упоминает о нём в отрицательном или даже оскорбительном смысле, и тем самым вынудил немцев признать абсурдность выдвинутых против него обвинений (Советское КГБ или его предшественники — ЧК, ГПУ, НКВД, конечно, никоим бы образом не освободили его в аналогичной ситуации. Если бы его арестовали в Советском Союзе, ничто не могло бы заставить власти отпустить его на свободу).

Время от времени с ним приезжала жена, Антонина Александровна. Папа как-то намекнул, что в первые годы женитьбы дядя Петя часто бывал неверен жене. Я, естественно, ни подтвердить, ни опровергнуть этого утверждения не могу.

В 1946 году в советском секторе Вены я встретил их сына Аркадия (Адю). К тому времени он был уже совершенно глухим, и, таким образом, общение не получилось. Он жил там в качестве служки при епископе Сергее, который был сослан в Австрию из Советского Союза. Папа говорил мне, что считает Аркадия образованным и умным человеком, который предан своему отцу и даже посвятил ему собственную жизнь, став его личным секретарём. В момент смерти дяди Пети только он один был с ним в квартире, но из-за глухоты не смог услышать последние слова отца.

После службы в церкви, которая находилась в том же здании, что и советское посольство, меня пригласили к епископу на обед. Когда я увидел Адю — просьба учесть, что нормальное общение было совершенно невозможно — он сидел на кухне и чистил епископу башмаки. Мы поцеловались, улыгнулись друг другу, я дал понять, что хотел бы встретиться с ним ещё раз, но он печально покачал головой. Я не знаю, что он имел в виду — либо его положение служки при епископе не позволяло ему общаться с людьми, которые были в гостях у епископа, либо же для меня могло быть опасно приходить в дом в советском секторе. В те времена (сразу после войны) людей часто похищали в советском секторе, и они пропадали бесследно.

Я пошёл в столовую, чтобы принять участие в епископском обеде (в том обеде, который Адя приготовил для гостей — конечно, сам он участия в этом празднестве не принимал). Когда я засобирался уходить, я снова пошёл на кухню, мы ещё раз поцеловались, и я ушёл. Это была печальная встреча.

Папа любил дядю Петю и воспринимал его действительно как великого человека, сравнил его с Гёте по универсальности знаний и образования.

«Toutes proportions gardees» («Все пропорции соблюдены»), — говорил он. У него, как говорил нам папа, была фотографическая память, которая давала ему возможность дословно цитировать отрывки из книг, которые он когда-либо читал. Я помню, как дядя Петя говорил (или, может быть, я слышал это от отца), что такая память надоедает, создаёт проблемы: голова загромождена огромным количеством ненужной информации.

Если не считать короткого периода в 20-е годы, когда они разошлись по какому-то политическому вопросу, их тесная дружба длилась почти полвека.

* * *

В круг наших близких знакомых входил некто профессор Стратонов, также высланный в 22 году. После прихода нацистов к власти он стал представлять для нас некоторую опасность. Смею утверждать, что у папы были доказательства того, что он сотрудничал с нацистами и работал на них осведомителем. Стратонов тоже состоял в штате преподавателей Русского научного института.

В течение первого года нашего пребывания в Берлине мы часто встречались с Гучковым, который до революции играл важную роль в российской политике. Его семья жила неподалёку от нас. Сын Гучкова, Ванечка, был монголоид. Хотя мама впоследствии это и отрицала, она говорила что-то вроде: «Ешьте вашу кашу, а то будете похожи на Ванечку Гучкова». Я, конечно, старательно доедал всё из своей тарелки, так как очень боялся быть похожим на Ванечку. В то же самое время свою карьеру вундеркинда-скрипача начинал Иегуди Менухин, и мне иногда (я уверен, что в шутку) напоминали, что он зарабатывает столько, что родители его могут вполне существовать на его доходы. Так что часть моего детства прошла между «двух огней»: Ванечкой Гучковым (которого я жалел) и Иегуди (которому я завидовал).

Дачи

Следуя чисто русскому традиционному представлению о том, что лето нужно проводить «на природе», вдали от обычного места обитания, мы неизменно снимали на шесть недель летних каникул дачу. Поиск подходящей недорогой дачи — не слишком далеко, но и не слишком близко — всегда был маминым делом. Весной она уезжала куда-нибудь за город, присматривала домик под съём на вторую половину июля и почти на весь август (школьные каникулы) — и снимала тот, который она считала подходящим и доступным по цене. Финансовая сторона дела была достаточно проста: нужно было только найти кого-нибудь, кто снимет на это время нашу квартиру, а вырученные деньги потратить на дачу.

Поскольку ходила по магазинам и готовила сама мама (обычно с Наташиной помощью) — так же, как это было и в Берлине, — дополнительных расходов не было. В это время и у папы в университете тоже были каникулы, и он писал, время от времени уезжая в Берлин на день, если это было необходимо. Летние дни мы проводили строго по расписанию. Если погода позволяла, по утрам ходили плавать. Интересно было наблюдать за отцом, когда он забирался в воду. Он входил в озеро или в реку, пока вода не доходила до пояса, потом плескал воду себе на спину, крестился и нырял, уходя под воду с головой; он плавал стандартным русским «интеллигентским» стилем — саженками. Дальше следовал обед, после которого папа, по традиции, спал; в течение этого времени все вели себя очень тихо. После чая мы неизменно шли на прогулку или за грибами — их мы поедали в тот же вечер. Какая роскошь, какое празднество! Собирать грибы стало привычным времяпрепровождением, я привык к этому, научился различать съедобные и ядовитые грибы. Папа был хорошим грибником, несмотря на близорукость. Во время этих прогулок мы с папой не раз говорили по душам, он рассказывал мне о своей юности. Часто заходил разговор на философские темы, многое мне было непонятным, но меня крайне интере-

свало: что есть бесконечность? что случается с «я», когда мы умираем — умирает «я» вместе со мной или «я» это и есть душа? где есть Бог и что он такое? почему я должен его любить? просто потому что он любит меня? что такое грех и почему грешить дурно? кто заставляет меня грешить — дьявол? и кто он в таком случае? почему Бог позволяет дьяволу существовать? на самом ли деле он всемогущ, если позволяет дьяволу искушать меня? Я задавал отцу вопросы и о менее философских материях — об истории, географии и морали. Разговоры эти дали мне многое. По вечерам мы читали. Иногда папа, чаще Виктор читали нам по-русски.

Самая моя любимая дача была в Ребруке, близ Потсдама. Мы провели там два лета 28 и 29 года — в двух разных местах. Первая была возле ручья, красивого леса, а вторая — в деревне, которая теперь наверняка выросла в маленький городок.

В Ребруке я в последний раз видел папиного брата, дядю Мишу. Он несколько раз приезжал из России в Берлин. В то время ещё была возможность получить разрешение на выезд к родственникам, живущим за границей. Я был поражён внешним сходством братьев, разве что отец был гораздо выше. Добрый взгляд и богатый внутренний мир делали этих людей похожими друг на друга. Несомненно, общей чертой всех троих братьев (включая дядю Лёву, младшего сводного брата) была доброта.

Иногда мы с соседским мальчиком из такой же русской семьи рвали яблоки и вишни с растущих вдоль дороги фруктовых деревьев и приносили свою добычу мамам. Когда отец узнал об этом, он рассердился и сказал — я помню это почти дословно — «Из-за таких, как вы, хулиганов у нас и произошла революция. Отсутствие уважения к чужой собственности — вот один из корней российской трагедии». Он имел в виду, что эти деревья принадлежали деревенской общине, другими словами, мы совершили кражу. По мнению отца, именно отсутствие уважения к чужой собственности и сделало возможной и неизбежной революцию в России. Немцев с этой точки зрения он считал нацией более цивилизованной.

Весьма типично для отца было рассматривать мораль как неотъемлемую часть социальной политики. Он был уверен, что общество не может существовать, а тем более развиваться нормально без внимания к вопросам морали. Это рано или поздно, но неизбежно приведёт к социальным катаклизмам.

Во время нашего летнего пребывания в Ребруке нас часто посещал Кузьмин-Караваев (который был выслан вместе с нами). Не могу сказать, что хорошо помню этого человека, но вот обилие растительности на его лице и голове не забыл. Более всего меня поражало то, что Кузьмин-Караваев исповедовал католицизм. С точки зрения моего детского наивного национализма тот факт, что русский стал католиком, — предательство всего русского. Папа имел обыкновение уходить с ним на долгие прогулки, и мне всегда казалось, что целью этих прогулок были попытки отца помочь ему преодолеть заблуждения и вернуться к истинной вере. Между прочим, весьма характерно, что в среде интеллигенции все серьёзные разговоры непременно происходят во время прогулок, и в особо важных местах собеседники неизменно останавливаются, а когда эпизод обсуждения окончен, прогулка возобновляется.

В Ребруке с папой случилось то, что мама называла нервным срывом. У него началась бессонница; даже я стал его раздражать, чего раньше никогда не было. Я никогда раньше не видел его в таком состоянии. Маме как-то удалось достать немного денег, и папа уехал в санаторий в Баденвайзере (Шварцвальд), где, кстати, умер Чехов. В Берлин мы вернулись без него. Это, как ни странно звучит, было к лучшему, потому что папа страдал *Reisefieber* (горячка, повышенная суетливость во время путешествия) и заставлял всех спешить без надобности, хотя времени было предостаточно. Мы все понимали, что он заботится о нас же, но это мешало нормальному ходу дел и необходимой для поездки организованности. Из-за его *Reisefieber* мы оказывались на вокзале не меньше чем за час до отхода поезда.

В первый раз, как я уже говорил, мы жили в Ребруке в отдельном маленьком доме возле ручья. Там я научился плавать (сам), кто-то научил меня ловить раков. Мы часто ели их на обед, хотя мне было очень жаль их, когда мама бросала их в кипящую воду. В тех же местах жила русско-еврейская семья по фамилии Ламперт. Татьяна Савельевна (мама знала её ещё в студенческие годы), её муж Илья Исаакович, суровый не улыбочивый человек, что большая редкость

в среде еврейских интеллектуалов. Я всегда его боялся, как боялись его и два его сына — Женя и Алёша. Женя был ровесник Наташи, Алёша на несколько лет старше. Женя часто брал меня с собой покататься на велосипеде (я сидел на раме). Однажды мы покатались под горку, и у нас отказали тормоза. В это время его и мои родители смотрели на нас. Естественно, они были напуганы. Не помню, как мы остановились. Ламперт был очень сердит и наказал Женю, а мама обняла меня и поцеловала, радуясь счастливому исходу.

Два лета — 34 и 35 года — мы провели на берегах Мелензеи — одно из целой цепи озёр, образованных рекой Хавел. Мы снимали часть дома прямо на берегу большого озера. Домовладельцами были: престарелая дама фрау Ройтер и её старая мать, фрау Сорока, которая умерла как раз в период нашего пребывания в их доме. Так я впервые столкнулся со смертью, неизбежность которой не давала с тех пор мне покоя. Я помню страшный шок, который я испытал, увидев эту странного вида куклу, лежавшую в гробу, которая совсем недавно была человеческим существом и которую я хорошо знал.

Во время нашего пребывания на Мелензее произошло событие, которое даже на мой политически непросвещённый взгляд должно было иметь (и в самом деле имело) зловещие последствия. После смерти Гинденбурга мы узнали, что к власти пришёл Гитлер. Немецкие вооружённые силы вынуждены были принести ему присягу. Это означало, что единственная сила, могущая противостоять его политическим амбициям, была нейтрализована. С этого момента мрачный путь дальнейшего развития Германии стал очевидным для всех, у кого были глаза, кто умел видеть. Папа начал понимать, что дальнейшая жизнь в Германии для нас невозможна. Для него, для истинного германофила, воспитанного в лучших традициях германской мысли и философии, это была настоящая трагедия. Вторая эмиграция за 10 лет? Отец был политически зрелым человеком и (позволю себе заметить) обладал даром предвидения в политическом отношении и был уверен, что Гитлер непременно развяжет войну. Может быть, в первый раз со времени нашего приезда в Германию (я был слишком юн, чтобы в полной мере осознавать тяжесть ситуации) мы начали понимать серьёзность нашего положения.

В 37 году мама организовала пансион для евреев. К этому моменту фашисты уже четыре года находились у власти, и для такого шага нужна была значительная смелость. Вскоре на местном пляже появилась табличка: «Fuer Hunde und Juden ist das Baden verboten» («Собакам и евреям купаться запрещено»).

Я не очень хорошо помню большинство наших пансионеров, могу только сказать, что они все очень были похожи на немцев, как это обычно бывает с немецкими евреями. Один из них, герр Юкер, научил меня курить, и я курил в малиннике и постоянно жевал мятные конфеты, чтобы мама не унюхала запах табака. У нас жила вместе со своим другом, немецким евреем, русская актриса Лидия Дурова, очень красивая женщина. Так получилось, что она стала первой женщиной, которую я увидел совершенно голой, — и счёл, что это не так интересно, как мне казалось.

Незадолго до того, как я уехал из Берлина, мама попросила меня нанести визиты кое-кому из тех людей, которые жили в пансионе, чтобы собрать с них плату за телефонные переговоры. Требуемую сумму мне отдали все, кроме одного — не помню его имени, он буквально выбросил меня из квартиры, сказав, что он расплатился полностью и не желает иметь дела с паршивыми гоями. Я был слишком удивлён и смущён, чтобы ответить ему. Поразительна непорядочность и ненависть, которую еврей выразил по отношению к нам, хотя его, наверное, можно было понять.

Поздней осенью того же года, вскоре после того, как я уехал в Англию, хозяйка той виллы, где располагался пансион, начала процесс против папы и мамы, обвинив их в том, что они задолжали ей арендную плату. Дело слушалось в суде Шарлоттенбурге. Процесс был прекращён после того, как судья встретился с папой и вынес о нём сугубо личное, очевидно, весьма благоприятное мнение, несмотря на то, что папа был евреем. Я помню, как папа бодро рассказывал нам об этом инциденте как иллюстрации относительно либерализма нацистского режима по сравнению с условиями Советского Союза, где подобный случай просто не мог бы иметь место. Только представьте себе: еврей, иностранец, которого признают невиновным только на основании личного впечатления судьи, и сочтут при этом, что немецкая женщина, может быть, даже член

нацистской партии, лжёт, и приговорят её к штрафу. По мнению папы, старые здоровые либеральные традиции немецкой бюрократии не могли быть уничтожены за несколько лет нацистского варварства. К сожалению, это сопротивление было недолгим и традиции были совершенно «gleichgeschaltet» («уничтожены») в течение нескольких лет. Другим примером относительного либерализма немецкой бюрократической системы при нацистах был тот факт, что мне разрешили не вносить ежемесячную школьную плату, которая в то время составляла около 20 марок. Когда наша финансовая ситуация оказалась плачевной, папа написал письмо в дирекцию школы и объяснил ситуацию, после чего они взяли расходы на себя. Шёл 1934 год. Я уверен, что несколькими годами позже для него, иностранца и еврея, подобного исключения бы не сделали.

Дядя Лёва

Иногда к нам из Парижа приезжал дядя Лёва, папин единоутробный брат. После смерти дедушки, Людвиг Семёновича, в 1881 году (он был военным врачом и получил медаль «За храбрость» в период русско-турецкой войны и титул «непотомственного дворянина») бабушка Розалия Моисеевна, урождённая Россиянская, вышла замуж за Василия Ивановича Зака, химика, в конце 80-х годов. Их сын Лев был на 14 лет младше папы. Последний раз дядя Лёва приезжал в Берлин в 36-м году, тогда он и написал знаменитый папин портрет. Мне дядя Лёва всегда очень нравился, его лёгкая сутулость и прекрасная — скромная и слегка насмешливая — улыбка, но я никогда не был с ним близок. В 38-м году он приезжал в Англию на выставку своих работ. Рецензии появились в серьёзных газетах и были весьма лестными, но, несмотря на это, он продал только несколько картин. В тот же год и на следующий год, когда мама и папа уже жили в Париже, я побывал у дяди Лёвы, познакомился с тётей Надей и двумя их детьми — Зозей и Васей. Они были примерно моего возраста. Ни с кем из них я никогда близко не сошёлся.

Дядя Лёва был необычайно одарён как художник — его портреты были чудесны, особенно портрет дедушки, и прочие его работы обладали той же мистической глубиной, как написал про него папа, но его стиль, само направление его работы не совпадали с модой 20 — 30-х годов. С моей точки зрения, он был более глубок и более талантлив, чем многие из тех живописцев, которые достигли в этот период мировой известности. К несчастью, добиться признания ему оказалось не так легко; первые 20 — 30 лет эмиграции он жил на грани бедности. Во время немецкой оккупации он скрывался во французской провинции и жил где-то неподалёку от Гренобля, где прятались от немцев и мама с папой. Только после войны он добился определённой известности и первый раз со времён революции вышел из крайне стеснительных финансовых обстоятельств. Это случилось после того, как он стал «абстракционистом». Мне он объяснил, что это было частью, ступенью его внутреннего становления, он просто не мог писать так, как раньше. Одна из картинных галерей Парижа подписала с ним контракт, по которому регулярно выплачивала скромную сумму в обмен на его работы. Незадолго до смерти тёти Нади случилось нечто необычное. Некий её дальний родственник, с которым, как я понимаю, она даже не была знакома, умер и оставил ей весьма значительную сумму денег. Так что последние годы семья дяди Лёвы жила в относительном комфорте. После войны все они перешли в католицизм.

Так случилось, что мне довелось увидеть дядю Лёву за неделю до его смерти в 1980 году. В молодости он писал стихи и публиковал их под девичьей фамилией матери — Россиянский. Читатели литературы считали его одним из величайших поэтов его времени. Когда я был в Москве в 1988 году, знаток литературы Осповат сказал мне, что Россиянского хорошо знают и ценят те, кто знаком с дореволюционной литературой. После смерти дяди Лёвы в Париже вышла книга его стихов, а в 1993 году его именем была названа парижская площадь.

Натура его, природа была похожа на папину, но по характеру они были совершенно различны. В отношении дяди Лёвы к другим людям был отблеск папиной доброты, как было что-то отцовское в глубине восприятия мира, в постоянном ощущении непосредственного и глубоко личного контакта Бога с человеческой душой. Я не слишком разбираюсь в поэзии и вряд ли могу оценить уровень его дарования, но существует мнение, что глубина его стихов сравнима с глубиной папиной души. Упокой, Господи, душу его. Насколько я знаю, его брак не был счастли-

вым. Папа и мама говорили мне, что у него серьёзная связь с какой-то француженкой — фактически он жил у неё чаще, чем дома. В конце 30-х, когда папа и мама переехали во Францию и поселились в предместье Парижа Фонтане-о-Роз, он имел обыкновение наносить им визиты с этой женщиной. А на следующий день мог приехать с тётёй Надей. Всё это, как мне рассказывали, очень не нравилось папе и особенно маме. Я догадывался, что они просили дядю Лёву прекратить визиты с любовницей.

Наши берлинские дни

Я начал ходить в школу после пасхальных каникул 27-го года. Конечно, в школу меня водили и забирали из школы — чаще всего папа, — потому что приходилось пересекать очень шумную улицу Курфюстендам. Мой старый друг Ханс Брадтке, с которым я возобновил дружбу, когда встретил его уже в 65-летнем возрасте, вспоминал о моём отце так: «ein wuerdiger grosse Mann mit einem Spazienstock» («Какой-то высокий человек с бородой и тростью»). Позже, после того как мы недолгое время жили в Шенеберге на Нойскантштрассе, мне было уже девять лет, и мне разрешали ездить в школу на автобусе, а в возрасте 14 — 15 лет — на велосипеде. Путь в школу от последнего нашего места жительства я проделывал пешком минут за 20.

Как мы жили? В квартире на Хекторштрассе, 11, нашей последней квартире, где мы жили до того момента, как нас вынудили уехать, было три с половиной комнаты, большая кухня, ванная, туалет и маленький балкон. Она была на втором этаже так называемого гарденхауза (садового домика), что, согласно типичной берлинской довоенной (до 1-ой Мировой войны) планировке, выглядело как дом во дворе дома. Папа с мамой жили в самой большой комнате, в которой был выход на балкон, мы с Виктором занимали вторую комнату, а Наташа занимала крошечную комнатку рядом с кухней, Алёша, когда он приезжал, жил в одной комнате со мной и с Виктором. У нас, естественно, не было холодильника — тогда его могли позволить себе только очень состоятельные люди. Иногда мы покупали большой прямоугольный кусок льда, который тогда продавали на улице, приносили его домой и клали в ванну, а сверху — свежую пищу. В ванной не было горячей воды. Чтобы принять ванну, приходилось топить углем печь, таким образом все принимали ванну в один и тот же день, обычно это было по субботам. Несмотря на финансовые трудности, у нас всегда был телефон. С тех пор как нацисты ввели практику прослушивания телефонов, мама переходила на шёпот, когда хотела сказать что-либо критическое в адрес существующего режима. Каждое утро, чтобы умыться, мы грели воду на газовой плите. Завтраков я не помню, разве что кофе, разбавленный эрзац-кофе — так выходило дешевле. Когда в том была необходимость, я ходил по утрам в маленький молочный магазинчик в нашем же доме и покупал булочки, молоко, масло, что-нибудь ещё, что было нужно и не выходило за рамки наших финансовых возможностей. Каждое утро папа получал «Vossische Zeitung», либеральную берлинскую газету и русскую газету «Руль». Обе газеты прекратили своё существование около 33-го года. Когда я возвращался из школы, большой и обильный обед был уже готов (Наташа и Виктор работали, Алёша жил своим домом или вообще был в Лондоне или Париже). Обед состоял неизменно из хлеба, четверти фунта масла, того же количества колбасы и сыра. Изредка бывали сардины или маринованная селёдка. Время от времени мама готовила жареную картошку. За столом никогда не было спиртного, даже пива — папа этого не выносил и рассказывал нам, что он перестал пить ещё в студенческие годы, после того, как он выпил немного шампанского, и закончилось это очень неприятной (невыносимой, по его словам) болью в плечах. Крайне редко мама доставала к чаю немного сладкого вина (это всегда была Tarragona) — по случаю особенных гостей. Я как-то незаметно от всех его попробовал, на вкус оно было прекрасно.

Мамины пироги и особенно пирожки были великолепны. Я любил с капустой или с мясом и рисом, или с грибами и рисом. Не думаю, что я пробовал что-то вкуснее маминых котлеток. Обычно мама готовила что-то вроде макарон (очень мягкие, на русский манер, и никоим образом не недоваренные — таковые вообще считались несъедобными) с мясным соусом (шарики, сделанные из прокрученного мяса и помидоров), картофельные котлетки неизменно подава-

лись с грибным соусом или рыбные котлетки с соусом из хрена. Иногда она делала котлетки из риса. Эти полагалось подавать под томатным соусом — и Боже упаси с чем-то другим. Мама очень вкусно жарила селёдку (особенно по весне, когда селёдка жирнее), хотя я терпеть не мог сам процесс приготовления рыбы из-за запаха. Она также мариновала селёдку или макрель. Общим любимым блюдом была варёная рыба с варёной картошкой и рубленным яйцом, политая растопленным маслом — «рыба по-польски». Были всевозможные запеканки — блюдо, похожее на блинчатый пирог, курник, сделанный из куриных субпродуктов (куры по тем временам были очень дороги). Основным блюдом, естественно, был борщ или щи, подаваемые с гречневой кашей. Отец любил гречку с молоком. (Интересно, что именно гречневая каша называлась собственно кашей, и никакая другая, овсяная каша называлась «овсянка».) А ещё были эти великолепные голубцы. Непрокрученное мясо подавалось редко — это было слишком дорого. Тем не менее изредка мама готовила тушёное мясо с варёной картошкой. Великолепно! Я также любил ленивые вареники — нечто таинственно русское, не имеющее аналогов (шарики из творога с яйцом и мукой отваривались, потом обжаривались в масле и подавались со сметаной). Никто, кроме избранного Богом народа, то есть русских, — не способен изобрести ничего такого мистически великолепного, как вареники. В последнюю неделю перед постом были блины с какой-нибудь простой закуской и, естественно, без водки. В доме она была настрого запрещена, хотя мама любила вспоминать, как её отец, Сергей Иванович, всегда выпивал две рюмки водки перед обедом или ужином.

Мама была ограничена в её кулинарных изысках строгим вето на лук. Папа просто не выносил вкуса лука и чеснока. Позже она призналась, что добавляла лук в некоторые блюда, и папа этого не замечал. Однажды, когда она приготовила котлетки без лука, он сказал, что у них неправильный вкус. Виктор тоже делал вид, что он тоже не любит лук, стремясь хотя бы в этом быть похожим на папу.

Мама была прекрасным импровизатором в том, что касалось кухни. Я часто удивлялся, как она умудрялась кормить семью из шести человек с тем мизерным количеством денег, которые были в её распоряжении. В течение этих пятнадцати лет в Берлине никто из нас не мог сказать, что лёг спать голодным.

За стол все садились в одном и том же порядке. Мама сидела во главе стола (так было ближе к кухне), папа сидел справа от неё, напротив меня. На другом конце стола, напротив мамы, было место Виктора. Следом за мной, напротив Наташи, которая сидела справа от папы, было место Алёши, если он приезжал в Берлин. Мы должны были перекреститься до еды и после, но молитва не читалась. После еды все дети целовали маме и папе руки, а они целовали нас в лоб. Я был научен целовать руку замужней женщине при встрече и при расставании и щёлкать каблуками не на немецкий манер, когда мальчик должен одновременно поклониться и выставить зад. В общем, я был воспитан в духе традиций дореволюционной интеллигенции — либеральных, но жёстких. Невозможно было представить, чтобы я вдруг встрял в разговор взрослых, хотя, будучи ребёнком, я играл в семье определённую роль и даже имел свои обязанности. Я должен был выносить мусор, приносить уголь из чулана, время от времени ходить в магазин и вытирать посуду.

Приезд Алёши всегда был для нас событием. Он был тогда танцором в балетной труппе и редко оказывался в Берлине. Его присутствие сразу меняло атмосферу в доме на диаметрально противоположную. Его богемный образ жизни, странная безответственность перед другими людьми и особенно перед самим собой, а проще говоря, нежелание справляться с любой сколько-нибудь серьёзной проблемой («само как-нибудь всё решится»), его жизненный принцип — «была не была» (наслаждайся жизнью сейчас и плевать на последствия) были очень привлекательны для тинейджера, потому как казалось, что всё это может сделать жизнь более лёгкой, красивой, поразительной, чем она на самом деле была. Его жизненная философия была проста, но даже в те годы я понимал, что она неверна, я чувствовал это инстинктивно, без какого бы то ни было интеллектуального обоснования. И всё-таки, учитывая, что я был воспитан в очень интеллектуальном окружении — притом мама была любящим, но абсолютным монархом, а папа

любящим, но абсолютным авторитетом, — его приезды вносили радостное разнообразие.

Когда Алёша приехал в Берлин с труппой де Базиль в 36 году и остался на целый месяц, мне этот его приезд очень понравился и запомнился, потому что я («Васенька») стал любимцем большей части его коллег — как мужчин, так и женщин. Я говорил по-немецки, хорошо знал Берлин и местные обстоятельства и таким образом был для них как бы полезен. Они давали мне самые разные поручения — одна танцовщица просила сопровождать в магазин женского белья, другая хотела, чтобы я был её переводчиком, когда она ходила к дантисту, и держала мою руку, пока ей сверлили зубы. Жена ведущего танцора просила меня выяснить, что случилось с её бриллиантами в гостинице. Выяснив, что они украдены, я сходил с нею в полицию и с гордостью чувствовал себя её антрепренёром. Большинство танцоров оказались очень милыми людьми, и жизнь их была отлична от той, к которой мы привыкли. Их окружала аура романтизма. Я проводил почти всё свободное время в театре Скала, где они выступали, несколько раз меня нанимали клакером на представления, раз или два я появлялся на сцене в массовке в батальных сценах. Мне представлялось, что я член этой романтической, безответственной и при этом невероятно привлекательной группы людей. После спектакля меня часто водили обедать, или мы ходили в пивную. Там меня кормили и угощали пивом и познакомили с таинственным напитком под названием «водка», к которому с тех пор я развил в себе некую полулюбовь-полуненависть. Алёшины приезды в Берлин наполняли мою жизнь волшебством и очарованием, хотя в глубине души я понимал, что его богемный (или, скорее, цыганский) образ жизни был не для меня. Я завидовал ему и не хотел (точнее, не мог) быть на него похожим.

Примерно в то же самое время в Берлин приехал Фёдор Шаляпин и давал концерт в том же театре Скала. Я и кто-то из моих друзей, не имея денег на билеты, ждали за сценой. Когда он появился после выступления, он показался нам огромным. Он был, судя по всему, в хорошем расположении духа, принялся обнимать всех, кто к нему тянулся, и стал приглашать всех на обед в очень дорогой ресторан «Hofberg». Я был слишком напуган и очень смущён, чтобы принять его приглашение — какая жалость!

Позже мне сказали, что в этот день он не мог петь и мастерски отработал программу речитативом. Это было за год до его смерти.

* * *

Мама обожала кошек, я тоже. Когда мы жили в последней из Берлинских квартир, кто-то подарил нам — или мы купили? — сибирскую кошку, которую мы назвали Муркой. Она жила с нами около трёх лет и умерла при родах. После её смерти одного из котят мы утопили, в другом безуспешно пытались поддержать жизнь, кормя его тёплым молоком и согревая бутылочкой с тёплой водой. В ту ночь, когда Мурка умерла, я принёс её к папе с мамой, рыдал и хотел, чтобы они целовали её мёртвое тело, приговаривая: «Вы любили её, когда она была жива, любите же её мёртвой». Я её похоронил за нашим домом. Мурка, когда была в добром расположении духа, имела обыкновение лежать на высоком комод в столовой и мурлыкать. В тот вечер, когда у нас был Густав Густавович Кульман (я расскажу о нём позже), он как раз объяснял политическую ситуацию в Европе и комически искажил какое-то русское слово так, что мы все расхохотались, а Мурка упала с комода и разбила вазу. Он сказал, объясняя германскую оккупацию, что мир висит «на волоске», поставив ударение на втором слоге. Это звучало очень комично, особенно если учесть, что он человек эмоциональный и говорил громко. Мы не могли удержаться от смеха, и Муркино падение спасло нас от очень неудобной ситуации.

Кульман, франкоязычный швейцарец, занимал какой-то важный пост в Лиге Наций, других международных организациях, где он служил до и после Второй мировой войны. Через него я получил стипендию от «Фонда по спасению детей» и визу для выезда в Англию. В 1946 году, после моей демобилизации, он устроил меня на работу в «Межправительственном комитете по делам беженцев», где сам занимал достаточно высокий пост.

В начале 20-х годов Кульман каким-то образом оказался связан с русскими делами и русскими беженцами. Он был павиным студентом в Русском Научном институте в Берлине и

остался верен дружбе во все последующие годы. Без его помощи у меня возникли бы серьёзные трудности с эмиграцией в Англию; наши паспорта оставались советскими.

Позвольте мне объяснить вам один нюанс. (Я исхожу из информации, которую я узнал из письма Виктора в 1959 г.) Мы прибыли в Германию в 1922 году, имея на руках паспорта, заверенные печатью правительства Советской России. Другого выхода у нас не было. (Когда мы были высланы, Советского Союза как такового ещё не существовало. Согласно договору между Германией и Советской Россией, подписанному в 1922 году в Рапалло, немецкая сторона не выдавала советских граждан, имевших нансенские паспорта.) У нас же были советские паспорта, которые регулярно продлевались советским консульством в Берлине, официально мы не были людьми, лишёнными гражданства, на самом деле являясь таковыми. Несмотря на факт высылки отца (специально оговорено было, что возвращение на родину грозит смертной казнью), чиновники из советского консульства каждый раз бывали вежливы и обходительны, занимаясь нашими документами. Они даже высказали предположение о том, что отец может вернуться, поскольку «ситуация в Советском Союзе улучшилась со времени нашего изгнания». Такой разговор состоялся где-то в 1936 — 1937 гг.

Условия договора, заключённого в Рапалло, относились ко многим, покинувшим Россию вместе с нами. Те, кто уехал из Германии в другую страну, смогли рассчитывать на статус беженцев и получение нансенского паспорта, который выдавался русским беженцам во всех странах, исключая Германию.

Не предоставлялось никакой возможности официально избавиться от советских паспортов. Я слышал, что кому-то удавалось найти выход из такой нелепой и трагичной ситуации. На адрес советского консульства высылалось оскорбительное письмо, нотариально заверенное, которое попадало в Министерство внутренних дел Германии. Дорога в консульство закрывалась, поскольку основание для этого считалось весомым. Думаю, что отец не смог в силу своего характера принять участие в таком шантаже.

Посещение советского консульства являлось маминной обязанностью (потом, возможно, этим занимался Виктор). Отец никогда там не появлялся. Однажды и мне пришлось побывать в консульстве. Это было в 1937 году, незадолго до моего отъезда в Англию.

Музыка

Музыка всегда много значила для меня, несмотря на то, что, к несчастью, ни отец, ни мама не обладали хорошими музыкальными данными. Отец принадлежал к музыкально образованным людям, но, к сожалению, не имел голоса. У мамы, напротив, был приятный голос, но отсутствовал слух, и её восприятие музыки происходило на дилетантском уровне. В детские и юношеские годы моё музыкальное образование диктовалось отцом, чья ежедневная игра на пианино (исключение составляли лишь летние месяцы) являлась неотъемлемой частью жизни нашей семьи. Пианино, которое отец брал в аренду, было одним из допустимых предметов роскоши в доме. Сразу после дневного сна отец, как правило, садился за пианино.

Не скажу, что он хорошо играл, но прочитывал музыку вполне профессионально. Обычно он старался избегать трудных моментов, неподвластных его технике. Очарованный красотой музыки, он закрывал глаза и раскачивал в такт головой. Любимым композитором отца был Шуберт, он также играл Бетховена, Баха, Шопена, Шумана, Мендельсона. Нравилась ему музыка Грига, Дворжака и, конечно, многих русских композиторов — Чайковского, Римского-Корсакова, Мусоргского, Бородина, не очень сложные произведения Скрябина. Иногда я и Виктор под аккомпанемент отца исполняли Шуберта, Шумана, Мендельсона, Грига, простые арии из «Князя Игоря», «Садко», «Хованщины», из опер Чайковского. Представление проходило на чисто дилетантском уровне. С этого времени я люблю музыку Шуберта, ощущаю духовное родство с композитором. Я часто думал, что если бы Бог даровал мне гениальные музыкальные способности, я неизменно создал бы нечто в духе Шуберта.

Музыка Вагнера никогда не звучала в исполнении отца. Думаю, ему не нравились оперы

Вагнера. Правда, мама часто вспоминала, как в С.-Петербурге они с отцом слушали постановку «Лоэнгрина» и иногда фальшиво напевала любовную песню из этой оперы. В школе мне приходилось проходить через так называемую «промывку мозгов», слушая немецкие псевдогероические оперы Вагнера. Нацисты провозгласили Вагнера своим композитором, играя на его антисемитских и националистических настроениях, и впоследствии сделали его проводником своей идеологии в музыке. Я не любил музыку Вагнера, не отвечавшую моим вкусам и пристрастиям. Моё отношение к ней сохранилось и по сей день. Привлечение музыки Вагнера под знамена нацизма произвело на меня столь негативное впечатление, что я и теперь подхожу к оценке его творчества, пользуясь отнюдь не музыкальным критерием. Отдавая себе отчёт в неправомерности такого подхода, я понимал, что сторонние эмоции не должны мешать восприятию музыки как таковой. И тем не менее я не могу слушать мелодии Вагнера, не думая о стоящих за этим именем нацистах. С моей точки зрения, музыка доставляет такое же эмоциональное, даже чувственное наслаждение, как и созерцание красоты материализованной. Фактор объективности не играет никакой роли в нашем общении с музыкой. Должен признать, что моё отношение к Вагнеру продиктовано эмоциями, и я искренне сожалею, что не смог по достоинству оценить его творчество. Причину этого я вижу в том, что так и не сумел простить факта нацистской идеологизации музыкального гения. Именно нацизм я обвиняю в том, что было искажено моё понимание музыки Вагнера и я был лишён возможности в полной мере насладиться его произведениями.

Иногда к нам заходил профессор Александр Михеевич Мелких, хорошо игравший на флейте. Заменяв партию скрипки флейтой, они часто играли вместе с отцом. (В начале 60-х годов я встречался с этим человеком в Вене; пожилой худой человек невысокого роста.) Вспоминаю, как Елизавета Штутцер, будучи почти профессиональной пианисткой, исполняла у нас в доме некоторые произведения Скрябина, трудные для отца. Отец был большим поклонником музыки Скрябина, хотя не признавал так называемую «современную» музыку. Он рассказывал, что Скрябин, прочитав одну из его книг, предположительно сказал следующее — если бы он раньше познакомился с трудами Франка, то писал бы иную музыку.

За несколько месяцев до своей смерти отец говорил: «Музыка Моцарта не есть Богом данная». Возможно, благодаря внутреннему озарению, дарованному лишь избранным в преддверии ухода из этой жизни, отец услышал совершенно необыкновенную музыку, ничуть не похожую на музыку Моцарта.

Мне кажется довольно странным то, что, несмотря на своё мистическое понимание музыки, отец оставался приверженцем довольно ограниченного, очень субъективного и, я бы сказал, традиционного русского подхода к оценке музыки.

Так, например, отец не ценил и не понимал Брамса, за исключением его известных венгерских танцевальных мелодий. Музыка Листа была трудна для отца, а потому просто игнорировалась им. Малер не был популярен в те годы; отец, вероятно, даже не знал его произведений. Не существовала для него музыка Дебюсси и Равеля. Вивальди и его современники, за исключением Баха, были едва известны в 30-е годы. Интересно, что отец знал и любил (как и я, но по другим причинам) оперетту. В студенческие годы он многие вечера проводил в театре оперетты; билеты в оперу стоили очень дорого. Штраус, Миллёркер, Ланнер были любимы им, как и большинство австрийских композиторов, авторов «лёгкой музыки». Нравилась отцу оперетты Оффенбаха, знал он и некоторые произведения Делиба.

В нашем доме не было радио, лишь когда-то, в моём раннем детстве, Ви и/или Алёша собрали детекторный приёмник. Отец считал существование радио в доме неким посягательством на уединённость. По этой причине я был лишён возможности слушать камерную оркестровую музыку. Моё музыкальное образование, таким образом, было ограничено теми произведениями, которые исполнялись дома — отцом и гостями. Только приехав в Англию и познакомившись с великолепной коллекцией пластинок Поля (мужа Наташи), я узнал иную музыку. Действительно, впервые в жизни я оказался во власти звуков симфонии Бетховена и Брамса, песен Дебюсси, исполняемых Мэгги Тэйт (англичанка, восхитительное сопрано) и Одой Слободской. Всё это стало возможно благодаря изумительной коллекции пластинок Поля, которая открывала мне неизвестный ранее волшебный мир музыки. (Камерную музыку я понял и оценил в

зрелом возрасте, придя в восхищение от чистоты и красоты звучания каждого инструмента, от удивительной мелодии, рождаемой их гармоничным слиянием.)

Спустя много лет, уже в послевоенное время, отец признался, что отказ от радио был неверным поступком, хотя бы потому, что это лишило нас и его самого возможности слышать, учиться понимать и ценить музыку во всём её многообразии.

Однажды я получил билет на сольный концерт польского пианиста-вундеркинда. Будучи знаком лишь с любительской игрой отца, я был поражён тем мастерством, с которым мальчик исполнял произведения для фортепиано. Через год после этого Наташа и я попали в оперу на «Дон Жуана» Моцарта. После спектакля отец спросил, понравилось ли мне, на что я ответил — «нормально». Реакция отца была простой: «Дурак». Потом я понял, что он боготворил музыку Моцарта, особенно его оперы. Он ставил рядом Моцарта и Пушкина, подчёркивая их духовную близость. «Светлая печаль» роднила этих людей, вводила их в круг сынов божьих, творящих словом ли, звуком доброе дело своего создателя. Я представлял себе Моцарта проводником божественной музыки на земле, равно как и Пушкина. Казалось, оба творили без видимых усилий, легко, словно по мановению волшебной палочки. Моё восприятие музыки было и остаётся эстетически-духовным. Никакое другое искусство не действовало на меня столь сильно и глубоко; звучащая мелодия находит отклик в моей душе быстрее, нежели созерцание живописного полотна. Я знаю, что обладаю некоей внутренней предрасположенностью к общению именно с музыкой, а не с живописным шедевром Боттичелли или древнегреческой скульптурой. Музыка, как ничто иное, близка к Богу.

Я люблю музыку, и мне это состояние нравится. Я признаю в музыке мистическое начало, но это не означает, что я не могу воспринимать её как забаву и развлечение. До недавнего времени я воображал себя знатоком музыки. Повзрослев и став более сдержанным в своих оценках, я полюбил самую разную музыку, особенно ту, что называется «лёгкой венской». Я был настолько глуп, что сравнивал творчество Шопена, Чайковского, с одной стороны, и Баха, Моцарта, с другой, признавая музыку последних лучше. Теперь я понимаю, что они не подлежат никакому сравнению. Музыка — либо прекрасна, либо — нет. Прошло немало времени, прежде чем я оценил и полюбил Ллойд Вебера, музыку «Битлз» как современное искусство, но я ещё далёк от понимания тех песен, которыми восхищаетесь вы, Павлик и Ника. Надеюсь, придёт время и вы поймёте, что эта музыка не вечна; она рождена днём сегодняшним, с ним она и уйдёт. К несчастью, мне пришлось оставить уроки музыки, когда я уезжал в Англию. Я очень сожалею об этом, потому что к тому времени я достаточно хорошо играл на пианино и через несколько лет мог бы достигнуть исполнительского уровня отца. Когда мне было 6 — 7 лет, известный тогда русский вокальный квартет Кедрова выступал у нас в доме с программой русских классических и народных песен. В силу своего возраста я не смог по достоинству оценить их мастерство, но на родителей они произвели впечатление.

В 1913 — 1914 годах родители со старшими детьми жили в Мюнхене, где отец работал над книгой «Предмет знания». Когда в 50-е годы мама поселилась у меня в Мюнхене, она показала мне улицу и дом Клеменштрассе, Грюневальд, где они жили в начале века. Мама вспоминала, как отец, она и дядя Петя Струве ходили в Принцрегентен Опера на оперу Рихарда Штрауса «Кавалер Роз», дирижировал которой Бруно Вальтер. Их места находились сбоку от сцены, и, если верить маминим словам, Бруно Вальтер чаще, чем на сцену и оркестр, смотрел на неё! Я вполне готов верить ей; она была очень красива. Отец находил оперы Штрауса скучными; красота и изящество музыки Штрауса оставили его равнодушными.

* * *

Две наших последних квартиры были в Халензее, на севере граничащим с Шарлоттенбургом, на западе — с Грюневальдом (помните школу?), на юге — с Шмаргендорфом и на востоке — с русским Шенебергом, близким моему сердцу; здесь проходили встречи скаутов, также как и в

здании церкви на Находштрассе; именно в Шенеберге концентрировалась общественная жизнь русских — здесь находилось кафе-мороженое Кирхайм, киоск под названием «mich» («мне»), где продавались пирожки и, может быть, водка, а также здесь был центр русско-еврейской молодёжи. В Шенеберге жили многие мои друзья. В своё время именно отсюда эмигрировали русские семьи во Францию и Югославию. Русский Берлин постепенно исчез под натиском всё возрастающего нацистского влияния. Моим единственным средством передвижения был велосипед, тот самый великолепный велосипед, который я купил благодаря успешной торговле творогом и сметаной. Уезжая в Англию, я отдал велосипед Виктору, который ездил на нём до своего отъезда из Берлина в последнюю довоенную весну.

Я не очень хорошо помню нашу предпоследнюю квартиру, знаю, что находилась она на втором (с точки зрения русских) этаже в Gartenhaus (дом, располагающийся за домом) и была очень тёмной. Улица носила название Хекторштрассе. На углу улицы был молочный магазин (Померше, Майерлин), где обычно мама делала покупки; на другом конце улицы находился овощной магазин. Напротив нашего дома была аптека, а на углу Дамашкиштрассе — небольшой рынок. (Не помню, так ли называлась улица в то время.) Однажды так случилось, что во время игры в футбол на Хекторштрассе мяч попал в витрину магазина. С тех пор я стороной обходил этот магазин, хотя витрина, к счастью, осталась целой и невредимой. Этот эпизод пришёл мне на память, когда спустя 60 лет я вновь оказался в Берлине. Магазины уже не было на том месте, но память сыграла со мной шутку, заставив ожить это воспоминание. Стоя перед несуществующим магазином, я испытывал неловкость и смущение. В первых числах января 1933 (за несколько недель до прихода нацистов к власти) мы переехали на новую квартиру на Несторштрассе, находившуюся недалеко от нашего прежнего места жительства. Мне (но не другим членам семьи) всегда нравились переезды, они нарушали режим нашей повседневной жизни, вызывая некоторый элемент хаоса. Нарушался порядок приёма пищи, постоянно происходил процесс упаковки-распаковки вещей, приводивший к полной неразберихе, в которой долго невозможно было найти нужную вам вещь без помощи мамы, роль которой необычайно возрастала в периоды переезда с квартиры на квартиру. К моему глубокому разочарованию, так привлекавшая меня перемена в нашей повседневности продолжалась не очень долго. Привычный распорядок дня восстанавливался довольно скоро благодаря неистощимой энергии мамы.

Мы поселились на Несторштрассе буквально за 2 недели до смены власти. Виктор и Наташа рассказывали мне, что по дороге домой они видели горящее здание Рейхстага. Нацисты использовали этот пожар (возможно, учинили его сами) как предлог для установления тоталитарного режима правления. Для меня, 12-летнего ребёнка, мало что изменилось; родители восприняли приход нацистов к власти как зловещее повторение русской революции (в несколько ином, не столь кровавом варианте).

Сын нашего привратника скоро вступил в ряды штурмовиков и с гордостью и высокомерием носил коричневую форму. Родители этого молодого человека были порядочными людьми, простыми берлинцами, вероятно, имевшими социал-демократические взгляды. Сын же представлял собой подобие моего школьного учителя (Нойманна). Записавшись в отряд S.A., он перестал здороваться с нами, иностранцами, беженцами, к тому же людьми еврейского происхождения (возможно, этого он не знал). Этому человеку так нравилось ощущать себя хозяином. Каждый раз, проходя мимо их квартиры, я боялся встретить его. Но встречи наши случались довольно часто, так как у него было много работы по дому, до тех пор, пока он не начал маршировать в своей униформе. Вся нагрузка легла на плечи его родителей. Внешне он не выглядел типичным представителем Herengasse — невысокий, кривоногий, темноволосый; очки с толстыми линзами делали его маленькие глаза ещё меньше. Хохмайстерплатц — огромное поле, позже превращённое в парк, было местом проведения парадов отрядами штурмовиков; здесь же они проводили военные и учебные занятия. Я отчётливо помню, как они бросали гранаты в чучело человека и стреляли в воображаемого врага, кололи штыками манекены. Они производили впечатление людей, безоговорочно верящих всему, что говорили сержанты и офицеры: Германию предали евреи и «Sozis» в Первой мировой войне; немецкая армия не потерпе-

пела военного поражения. Согласно Dolchstoss-Legende*, непобедимую немецкую армию разрушили, не дав одержать военную победу, социал-демократы и способные на всё злобствующие евреи. Всему этому верили те, кто хотел верить в силу немецкого военного могущества. Многие и многие, подобные сыну нашего привратника, маршировали на площади, охваченные жаждой мести за позорный Версальский договор и уверовавшие в своё предназначение отомстить за Германию. Зловещие последствия всего этого не были секретом для тех, кто, подобно отцу, верно оценивал происходящее. Большинство желали новой войны только затем, чтобы на практике осуществить теорию своего превосходства, доказать, что они заслуживают победы над недалёкими французами, самонадеянными американцами и англичанами и Nаваніе Untermenschen (гаванскими недочеловеками). Шовинистическим духом были пропитаны любые выступления этих людей. То, что предстало перед моими глазами на Хохмайстерплатц, было лишь репетицией того, что произошло через несколько лет. К счастью, первые 2 года войны я провёл в Англии, позже мне пришлось воевать против Германии в Алжире, Тунисе, на Сицилии, в Италии, на Корсике, во Франции и Греции. Я воспринимал эту войну как свою, хотя бы только потому, что в полной мере осознал все возможные для человека немецкого происхождения последствия победы нацистов. В отличие от английских солдат, моих товарищей, я непосредственно видел и слышал тех молодчиков, поющих, марширующих, швыряющих гранаты в манекены на площади, олицетворяющих собой зло и потенциальную угрозу. Глубокое впечатление произвели на меня организованные бойкоты еврейских магазинов. Я был свидетелем того, как стоящие у витрин штурмовики не пускали людей в магазины. Требовалось определённое мужество, чтобы попасть в один из таких магазинов, минуя строй нацистов. Мама всякий раз проделывала это, демонстративно произнося с сильным русским акцентом: «Ich bin Ausländerin und ich kaufe wo ich will» («Я иностранка, и покупаю где хочу»).

Браво, мама! Я не обладал её мужеством, как и большинство других. Штурмовиков окружала огромная толпа, хранившая молчание, но явно одобрявшая их действия. Иногда из толпы раздавалось хлопанье, поддерживавшее всё происходящее. Мамина смелость удивляла меня; правда, она была единственной в семье, в чьих жилах не текла еврейская кровь. С другой стороны, её дети были рождены от брака с евреем, а это ставило её в один ряд с теми израильскими неевреями, которых в наши дни палестинцы обвиняют в пособничестве и подстрекательстве. Наташа рассказывала мне, как она слышала бормотание проходивших мимо штурмовиков: «Juedisch? aber huebsch» («Еврейка? Однако хорошенькая»). Случались в то время и примеры проявления настоящего гражданского мужества. Некоторые немцы были искренне расположены к нам, хотя не могу сказать точно, происходило ли это оттого, что мы — русские или оттого, что они знали о еврейском происхождении отца. В течение нескольких лет отец писал статьи, посвящённые русской проблеме, для протестантского журнала в Лемго «Ein Hirt und eine Herde» («Пастух и стадо»); журнал поддерживал с ним отношения, несмотря на его происхождение или именно потому. Пастор Гердер стоял во главе этого объединения, в котором вторую роль играл и пастор Эвербек. Практически это был единственный источник дохода для нашей семьи в те годы. В беседах с отцом они всегда подчёркивали своё неприятие царившей в Германии духовной атмосферы. (В связи с этим я хочу сказать, что отец прислал нас не включать эти статьи в возможное будущее собрание сочинений, считая их написанными ниже своего интеллектуального уровня. Тем не менее, я сделал это и надеюсь, он бы понял меня. То, что они были написаны в период тяжёлого материального положения в семье, будет совершенно очевидным для любого серьёзного исследователя.) Но не все люди, исповедовавшие протестантскую веру, были такими. Главой церкви в Германии нацисты назначили имперского епископа Мюллера, который был известен своими антисемитскими проповедями. В то время был популярен такой политический анекдот:

Христос сошёл с распятия в церкви, где служил Мюллер, и взял за руку богородицу, сказав:

* «Легенда об ударе в спину». После поражения в Первой мировой войне в Германии утвердилось мнение о том, что война была проиграна только из-за начавшейся в 1918 г. революции — отсюда и термин.

«Пойдём, в этой церкви нам нет места».

Учителя, преподававшие нам в школе религию, хранили молчание о еврейском происхождении Иисуса Христа («полубог, полуеврей», как сказал Виктор в одной из своих программ), всячески подчёркивалась его всемирность; причём превозносилось германское начало. (Римляне переселили германское племя на территорию Иудеи, чтобы там был рождён Иисус Христос. Явно политические, а не религиозные причины послужили мотивацией для таких абсурдных псевдонаучных предположений.) Ветхий Завет полностью игнорировался. Подобные антисемитские настроения исходили задолго до появления нацистов от главы Русской церкви в изгнании епископа Тихона, имевшего дурную репутацию (носившего свастику на рясе).

Проявления человеческой глупости, с которыми я каждый день сталкивался в школе, стали столь часты и очевидны в те сумасшедшие годы, что я иногда воспринимал их с юмором. Примеры: Христос и его ученики принадлежали к арийскому племени, которое за несколько веков до появления Иисуса переселилось на Средний Восток с территории современной Германии. Евреи предприняли попытку завоевать это племя, но героизм, присущий всем арийцам, помог им дать отпор натиску ненавистных евреев. Ещё один пример: Христос был предтечей Гитлера, поскольку ему было исторически предопределено появиться в точное время и в точном месте; подобно Христу, Гитлер способен изменить историю и судьбу человечества, спасителем которого ему предназначено быть. В псевдомистицизме нацистских теорий главенствующую роль играл мотив предопределённости. Христу-арийцу было суждено появиться в определённое время, как и Гитлеру, чтобы спасти немецкую расу от порабощения евреями. Другой пример из области биологии: породистая элита сильнее, здоровее, иначе говоря, лучше полукровок (например, полуариец, полуеврей). Нечистокровные люди или собаки потеряли право на существование. История: несмотря на то, что Колумб открыл Америку (этот факт не оспаривался), именно немцы дали цивилизацию вопреки дьявольским проискам евреев. Все важнейшие научные и философские открытия были сделаны немцами. (Сравните, пожалуйста, с аналогичными притязаниями Советов; анекдотично звучали призывы к признанию за русскими всех научных и культурных открытий.) В тех случаях, когда не было доказательств (Ньютон, Ватт, Реомюр), «находились» мамы, бабушки... немецкого происхождения. Таких примеров было множество. Эти вопросы получили более компетентное рассмотрение и были описаны лучше и полнее, чем сделал это я.

Проявление глупости, вульгарности вызывало во мне искажённое, мазохистское чувство удовлетворения. «Я гораздо умнее их. Я уверен в своей правоте, а они вынуждены верить этой чепухе; сделать что-либо я бессилён, несмотря на то, что я знаю об их глупости». Так моими умом и душой завладело ощущение воображаемого превосходства. Уехав из Германии, я стал замечать, что мои ощущения и переживания по этому поводу переместились на уровень подсознания. Время от времени, вопреки моему желанию, они опять возникали во мне с новой силой; я могу всё это объяснить с логической точки зрения. Хотите пример такого нравственного атавизма: я всё ещё не могу не испытывать радости по поводу проигрыша немецкой футбольной команды. Мне стыдно в этом признаваться, но это так.

Папа и мама

Будучи ребёнком, я не мог оценить интеллектуальные способности отца, но я чувствовал его мудрость, данную от природы. Он был просто отцом, всегда готовым, за исключением часов работы или послеобеденного сна, ответить на вопрос, пусть даже глупый, и помочь сделать домашнее задание. Особенно часто я обращался к нему за помощью, когда дело касалось математики и французского языка, который я начал изучать в 15 лет.

Позвольте мне привести выдержку из аттестата зрелости, полученного отцом в 17 лет 4 июля 1894 года по окончании школы, чтобы вы оценили способности отца (это было в городе Нижний Новгород, в Лазаревском институте). (Не забывайте, что 5 — лучшая оценка, 1 — худшая.)

Русский язык — 5,
логика — 5,

латинский язык — 5,
греческий язык — 5,
математика — 5,
физика и математическая география — 5,
история — 5,
география — 5,
немецкий язык — 5 (немецкий знал с детства),
французский язык — 5.

Карьеристом он никогда не был; он просто не мог им быть.

Мне нравились наши прогулки с отцом, во время которых мы любили «пофилософствовать».

Мы вели пространные разговоры о жизни, её целях и значении, о смерти и жизни после неё, о том, что такое личность с философской точки зрения, о звёздах и бесконечности. В наших беседах я, как правило, был стороной вопрошающей, отец же старался подробно и доходчиво объяснять всё то, что интересовало меня. (Если я уже рассказывал о наших беседах с отцом, прошу простить меня за повтор; слишком много они значили и значат для меня.)

Я придумал игру с таинственным смыслом, в которую мы с отцом часто играли. Каждый из нас касался языком ложки и передавал её другому для той же цели. Так происходил обмен нашими «я». Отец становился мною, а я был его «я». Внешне мы оставались сами собой, обмениваясь душами. В моём детском представлении это было настоящим волшебством; изменив своё непостижимое «я», превратиться на время в отца, т.е. стать таким же умным, взрослым. Вот чего я не мог понять, так это его радости по поводу превращения в моё «я». Несмотря на разницу в возрасте, в знаниях, в опыте, моё крошечное «я» было столь же важным и значимым, как и его взрослое, умное «я». Содержанием такого «я» была душа человека, несущая в себе доброту — доброту, а не разум. Согласно правилам нашей игры, мы пребывали в превращённом состоянии до тех пор, пока повторно не касались языком ложек друг друга.

В возрасте 8 — 9 лет я узнал, что отец считал меня интеллектуально одарённым, не лишённым духовных задатков ребёнком, подающим определённые надежды. По мнению отца, я унаследовал его склад ума, а из соединения его природного ума и мамино благоразумия должно что-то непременно получиться. («Благоразумие», как он чувствовал и понимал, не есть залог успеха.) К сожалению, он горько ошибался. Во мне были заложены от природы задатки, которым не суждено было воплотиться. Ви был единственным из четверых детей, кто действительно унаследовал отцовский склад ума, и его по праву можно отнести к кругу типичной русской интеллигенции, представителем которой и являлся отец.

Позвольте мне попытаться объяснить, что значило понятие русская (смею предположить, что это понятие есть — или было — типично русское) интеллигенция; это значит честный ум, порядочность, жертвенность и чувство ответственности перед самим собой и другими, что абсолютно исключает снобизм и карьеристское отношение к делу. К чертам, присущим русскому интеллигенту, относится и любовь к людям, гуманизм, не совсем верное с религиозной точки зрения обожествление человека. В среде русской интеллигенции считаются неприличными разговоры о деньгах, чрезмерное к ним внимание, хотя материальное положение их всегда было ненадёжным. Помощь друг другу оказывалась по велению души сердца, как нечто само собой разумеющееся. (Русские врачи в Берлине лечили бесплатно, услуги русских адвокатов были бескорыстны.) Быть интеллигентом вовсе не значило иметь университетское образование. Душаю, определённый склад ума и духовность были единственной прерогативой интеллигента. Конечно, подразумевался и интеллектуальный вид деятельности или способности к таковому. Не могу не сказать и об отрицательных моментах, к которым я причисляю ощущение исключительности, принадлежности к избранным кругам. В целом русская интеллигенция сыграла позитивную роль в развитии общества в дореволюционной России. Я горжусь тем, что происхожу из этого круга и близок со многими его представителями. К сожалению, мне недостаёт многого из того, чем обладают эти люди, и я чувствую, что не вправе причислить себя к ним. Познакомившись со многими представителями современной русской интеллигенции и позволив себе провести сравнение, я пришёл к выводу, что за годы гибельного господства коммунистических идей

имидж русской интеллигенции претерпел значительные изменения. И всё-таки я придерживаюсь мнения, что такие люди, как Илья Франк, его сын Александр, дочь Глеба Франка Анна, Азадовский, покойный Поливанов, Борисов, Осповат и многие другие, с которыми мне посчастливилось встретиться и подружиться, сохранили в себе то, что позволяет отнести их к этому единственному в своём роде кругу людей. Отец полагал, что лучше всего русского интеллигента можно представить в образе монаха негиллистической религии. Образ интеллигенции подобен монашескому, с его обычаями и распорядком. Только здесь возможно столь беспресловенное соблюдение правил, столь категоричный подход к людям и их поступкам, такая преданность общему делу. Но интеллигент не отказывается от борьбы, он жаждет управлять миром, нести людям свою веру. Он активно любит человечество, в отличие от монаха. Такова была точка зрения отца на проблему русской интеллигенции в годы, предшествовавшие революции.

Отец и Виктор ценили интеллектуальные способности и порядочность человека гораздо больше, чем успешную карьеру или наличие у этого человека денег как таковых. (Вспоминаю мамин рассказ. Сразу после их с отцом свадьбы мама пожаловалась ему, что не хватает денег на покупку шляпы и попросила написать статью, гонорар за которую она смогла бы потратить на приобретение понравившейся шляпки. Он категорически отказал ей, заявив, что не способен написать статью, не будучи погружён в суть предмета.) Отца и брата, в отличие от большинства людей, не интересовали деньги; извлечение выгоды из своей известности ведёт к утрате истинных ценностей. Они (отец в большей мере, чем Виктор, сказало влияние мамы) глубоко верили в божественное предназначение человека на этой земле, в присутствие бога в душе каждого и во всеобщую трагедию, первопричиной которой является греховность человека. Большинство исторических событий, по мнению отца, происходило из-за неспособности человека верно распорядиться свободой выбора, дарованной ему Богом; приняв дар этот, человек злоупотребил им. Отец твёрдо верил, что честность по отношению к самому себе есть обязательное условие самосохранения; этим чувством человек должен руководствоваться в своей жизни. Я убеждён, что, следуя именно этому принципу, отец жил и работал. Отец верил в Бога, рассматривая жизнь как испытание, пройти через которое дано немногим. «Возвращением на родину» называл он смерть и последующую жизнь на том свете. Виктор разделял взгляды отца, но, с моей точки зрения, был лишь бледной тенью отца.

Отец был пессимистом в оценках будущего человечества. Человек, созданный по образу и подобию божьему, столь явно проявил свою несостоятельность, так легко уступил силе зла (невообразимая жестокость, вошедшая в практику в Советской России, почти равнозначная жестокость нацистов, создание атомной бомбы), что отец сделал вывод о грядущем конце жизни на земле не в философском, а в историческом плане. Человек создал технику, способную уничтожить его самого, что и произойдёт, рано или поздно. Но такие мысли ничуть не уменьшали веру отца в божественное назначение человека, предавшего своего создателя. Будучи скромным, отец не интересовался тем, что могут подумать о нём другие. Незадолго до смерти отца мама прочитала ему, что написал отец Василий Зеньковский о выдающейся роли Франка в истории русской философии, причислив его к величайшим современным философам. Отца это оставило равнодушным; он заметил, что Богу виднее.

Тщеславие было абсолютно чуждо характеру отца, хотя он хорошо понимал свои достоинства как философа и ощущал свою богоизбранность.

Полагаю, что отец считал свой талант чем-то незаслуженным, «Божьим даром». Выступая по философским, религиозным, историческим, литературным или политическим вопросам, отец никогда ничего не доказывал. В этом не было необходимости. У него был иной стиль общения; влияние его авторитета было не заметным, но очевидным, что свойственно лишь «избранным». Если кто-то не соглашался с его взглядами, отец, не навязывая своей точки зрения, спокойно и аргументированно убеждал человека. Я никогда не видел его по-настоящему рассерженным (хотя проявление глупости и отсутствие культуры у человека приводили отца в смятение, делали его печальным).

Активную неприязнь вызывали в отце «умные дураки». Когда кто-нибудь из них вступал в спор, отец спустя некоторое время покидал «умного дурака» и уходил читать в свою комнату. Особенно злоеущей отцу представлялась разумная глупость, которая, по его мнению, была в

ответе за все трагедии, выпавшие на долю человека (инквизиция, коммунизм и т.п.). В связи с этим мне вспоминается один случай. Эрнст Шуле — один из студенческих друзей Виктора — был одним из тех, кого в Германии называли «Salon-Kommunist» (на английский я бы перевёл как «сочувствующий»). Эрнст в разговоре о революции настаивал на том, что она была исторически необходима. Отец некоторое время слушал этого молодого человека, пытался даже с помощью аргументов переубедить его, а потом просто ушёл в другую комнату, сославшись на усталость.

Не любил отец и карьеристов, чувствуя в этих людях душевную непорядочность, нечто близкое к нравственной проституции. Самую большую неприязнь («ненависть» в данном случае, чувство нехарактерное для отца) вызывала у него интеллектуальная непорядочность в любом её проявлении. Отец часто замечал, что большинство людей играют роль в этой жизни, стараясь показаться более умными или привлекательными, чем они есть на самом деле. «Игра», как правило, становится второй натурой. Некоторые люди, по рассказам отца, продолжали актёрствовать и на смертном ложе.

Если отец что и ненавидел, так это коммунизм и нацизм. Он считал обе системы виновными в разрушении стран и гибели народов. Эта идеология, её воплощение на практике, подобно дьявольской силе, вызвала к жизни всё то злое и порочное, что есть в человеческих душах. Идея насильственного счастья, идея создания общества, в котором человеку был обещан рай на земле, осуществить которую предполагалось с помощью изменения экономических законов, влекущих за собой перемены и в человеческой природе, — эта идея была ужасно глупой и нелепой. Отец утверждал, что социалисты, уверовавшие в свою способность создать рай на земле, были движимы искажённым чувством любви к человечеству. Когда их цели оказались призрачными, что было неизбежно, они не усомнились в их недостижимости, а обвинили в происшедшем самого человека, которого они хотели осчастливить, но который по каким-то причинам отказался от такого счастья. В порядке вещей для этих людей было то, что попытки достичь утопии привели к наказанию и последующему физическому истреблению тех, кто не пожелал принять грядущее счастливое будущее. Таким образом, в определённый момент каждый революционно настроенный социалист, имевший когда-то возможность воплотить свои идеалы, волей-неволей превращается в кровожадного тирана. Любовь к роду людскому, вдохновенная и направляющая его, неизбежно переходит в ненависть, когда он осознаёт, что задача силой сделать человека счастливым больше не стоит перед ним. (Отец даёт подробное объяснение этому в своей книге «Ересь утопизма». Прочитайте эту книгу в зрелом возрасте.)

Иной подход был у отца к рассмотрению явления нацизма. В основе нацистской идеологии никогда не была любовь. Отец отмечал, что поиск социальной справедливости являлся сильнейшей движущей силой коммунизма. Вспомните коммунистические призывы, обращённые к кругам обеспеченной и политически ориентированной молодёжи, например, к кругам английского высшего общества; примите во внимание, что каждый молодой человек (я — не исключение) стремился, начинал воспринимать социализм как единственно возможный путь её достижения. Если в 20 лет человек не социалист, значит он либо негодяй, либо идиот; если он и в 30 лет остаётся социалистом, он также или негодяй, или идиот. Это один из моих любимых каламбуров.

В идеологии нацизма абсолютно отсутствовала идея исправления существующей несправедливости. Основным её мотивом была ненависть по отношению к тем, кто, в силу своего рождения, не оказался среди избранных. Такова движущая сила любой формы фашизма. Кроме того, отец считал нацизм идеологией недалёких людей, поскольку, как и социализм, но с различной силой, нацизм взывал к низменным инстинктам, живущим тайно в каждом из нас. «Бедная Россия», часто повторял он, «бедная Германия».

Россия, русская литература, русская культура и история, всё, что они несут в себе, отец любил, но спокойно, сдержанно, без сентиментальности. Он часто вспоминал дореволюционную Россию с её экономическими, социальными, духовными особенностями, пытаясь найти объяснение тому, что с ней случилось потом, с точки зрения истории, морали. Триумфальную победу большевистской революции отец считал несчастливой случайностью, не вызванной исторической необходимостью. (Исторические события, по его мнению, в большинстве своём не поддаются никакой логике.)

Из рассказов отца я узнал многое о России до революции. Отец был убеждён, что социальная несправедливость, несомненно существовавшая, была бы преодолена той прежней потенциальной жизнеспособностью России, если бы большевики не отбросили её назад к каменному веку. Внутренние резервы России, нравственные и культурные особенности её народов, по мнению отца, сыграли бы свою роль.

По своим убеждениям, стилю жизни, духовной сущности, отец вне всякого сомнения был русским человеком. Но он никогда не отрицал своего еврейского происхождения, гордился своей принадлежностью к народу, который был избран, чтобы дать людям Иисуса Христа.

Он уже давно был дружен со священником-интеллигентом о. Агеевым и принял крещение у него в церкви в Ларинской гимназии 3-го мая 1912 года.

Когда Семён Людвигович Франк и Татьяна Сергеевна Барцева поженились в Саратове, 22 июня 1908 года (по старому стилю), маме пришлось принять лютеранство, так как православная церковь не допускала смешанных браков. Только в Берлине, спустя много лет, она официально вновь приняла православие.

Папина мать — Розалия Моисеевна — была против свадьбы. Ей казалось, что провинциальная девушка 21 года слишком молода для её сына (отец был почти на 10 лет старше мамы), и, что главное, она бы предпочла девушку еврейского происхождения. У отца уже были некоторые отношения с женщиной (полуеврейкой). Из воспоминаний дяди Лёвы я знал, что бабушка с уважением относилась к отцу и потому приняла его выбор. Мама рассказывала, что в их первую встречу она не преминула напомнить маме об ответственности, лежащей на плечи жены Семёна Франка.

Нельзя сказать, что отец был здоровым человеком. Насколько я помню, он всегда страдал от бессонницы и ему приходилось регулярно принимать снотворное и/или успокоительные средства. Причину этого я вижу в сложной организации его нервной системы. Были у него и проблемы с желудком. По предписанию доктора он каждый день принимал по 2 ложки жидкого парафина. Позже (1938) у него обнаружилась стенокардия; он стал ходить очень медленно; мы видели, как он начал быстро стареть.

Когда мы встретились с отцом в 1944 году в освобождённой Франции, спустя 5 лет после нашей последней встречи в Фонтане-о-Роз, он показался мне стариком, хотя ему было только 67 лет. Я с сочувствием наблюдал, как трудно ему давалось каждое движение. Годы, проведённые в оккупированной Франции, опасность, которой он подвергался в то время, состарили его преждевременно. Не мог он и не переживать по поводу судьбы послевоенной Европы, что также отрицательно сказало на его здоровье. Наташа высказывала предположение, что постоянное, как правило, преувеличенное беспокойство мамы по поводу состояния здоровья отца психологически повлияло на него, убедив в том, что дела его плохи. Воздержусь от высказывания своего мнения, поскольку не очень разбираюсь в этих вопросах. Одно несомненно — отец был беспомощен и всецело зависел от мамы, коль скоро дело касалось жизненной практики; его кроткий (но не слабый) характер, готовность любым путём избежать конфликтных ситуаций в повседневной жизни позволяло маме самой принимать решения в делах второстепенной важности. С одной стороны, он отлично понимал и верно оценивал своё духовное и физическое состояние, поэтому трудно поверить, что мама смогла бы его убедить в том, что ему хуже, чем это было на самом деле. Но легко могу себе представить, как мама, жалея отца, говорила: «Семёнушка, ты не должен делать того-то и того-то. Ты знаешь, как это расстроит меня...».

Думаю, что совместная жизнь моих родителей была счастливой, достойной восхищения. Мне никогда не приходилось быть свидетелем их ссор, несмотря на то, что было множество причин для их разногласий (в том числе и постоянное беспокойство за Алёшу). Нравственный авторитет отца был столь высок, что мама никогда не ставила под сомнение и даже не пыталась возражать отцу. Конечно, в практических делах отец почти всегда подчинялся решению, принятому женой, и тогда наступал матриархат.

Если бы не мама, отец мог бы погибнуть в Советской России. Энергичные проявления материнской природы продолжались и в период их жизни в оккупированной немцами Франции.

Она призналась нам, и я легко поверил, поскольку это было в мамином характере, что она смогла бы в те годы добровольно объявить себя еврейкой, чтобы погибнуть вместе с мужем.

Позволю себе продолжить воспоминания о взаимоотношениях в нашей семье. У мамы была очень неприятная черта (прошу прощения, но это типично для женщин) — она могла не разговаривать с кем-то часами или даже в течение нескольких дней, когда чувствовала себя обиженной. Хорошо помню её сидящей за обеденным столом с ледяной маской на лице, ведущей разговор с нами, но абсолютно игнорирующую отца. На всех это производило самое неприятное впечатление. Если она прекращала разговаривать со мной — что случалось несколько раз — это было настоящим наказанием. (Если она называла меня «Василий» вместо обычного «Васюта» или «Васик», или «Вася», значит, я чем-то рассердил её.) Если не обращать внимания на эту черту её характера, мама всегда была готова отдать всю себя своей семье; чего стоила только проблема накормить нас. Мама активно старалась помочь другим (отец Григорий Прохоров, Игорь Корнилович Смолич, Ариадна Петровна Диамантиди...): деньгами или анонимными посылками с продуктами. В мои обязанности входило отвозить эти посылки на велосипеде и оставлять их у привратника, строжайше наказывая сохранять анонимность помощи. Мама всегда говорила, что наше окружение, как правило, еврейские семьи (Копельманы, Данишевские, Мария Моисеевна Гуревич, Блохи и другие) были очень щедры в те трудные годы. Хочу напомнить, что русские эмигранты тех лет были бедны в сравнении с нынешними. Деньги, отдаваемые для пожертвований, доставались им чрезвычайно тяжело. Маме одной приходилось устраивать наше довольно сносное существование; язык она знала очень плохо. Благодаря её организаторским способностям и неистощимой энергии, нам как-то удавалось преодолевать те невообразимо сложные препятствия и проблемы, что вставали перед нашей семьёй.

В те годы следовало помнить о смертельной опасности, которая угрожала отцу, еврею, жившему в нацистской Германии. Более того, мы вынужденно оставались советскими гражданами — иначе говоря, наша семья принадлежала к народу, причисляемому нацистами к Untermenschen (недочеловекам). И наконец, у нас не было стабильного дохода. Отец был уволен из берлинского университета и потерял место в Русском Научном институте; деньги он зарабатывал только за счёт написания статей и чтения лекций за границей, что было связано с определёнными трудностями в получении виз. Чтобы хоть как-то обеспечить наше существование, мама восстановила навыки массажистки (она училась этому в студенческие годы; тогда существовала мода на общественно-полезный труд). Виктор и Наташа имели скромный, но постоянный заработок; Алёша всегда давал повод для беспокойства о нём, но он оставил Берлин и путешествовал по миру с балетной труппой. Революция, последующее изгнание лишили нас всего; мы стали никому не нужными, бездомными беженцами. Спустя 11 лет после изгнания из России, в той стране, что стала нам на время домом, произошли страшные события. Во второй половине 30-х годов стало совершенно очевидно, что необходимо уезжать из Германии. (Мне, ребёнку, отъезд казался счастливым событием, благодаря которому я мог бы больше не посещать ненавистную нацистскую школу.) Я часто слышал, что если бы не мама, мы могли бы давно уже погибнуть (быть убитыми или умереть от голода) в те роковые годы. Она обладала удивительной энергией, направленной на достижение, казалось бы, невозможного, и была движима любовью к тем, ради которых она была готова на любые жертвы. Мама относилась к тем «героическим русским жёнушкам», которым суждено было появляться время от времени в истории России и становиться выдающимися личностями.

И всё-таки в мамином характере было нечто такое, что вызывало у нас неприязнь, особенно когда мы стали взрослыми людьми. Она была эгоцентрична (в большей степени, чем эгоистична); её деятельная любовь, казалось, исходит из того, что именно такой вид любви, жертвенной, доставляет удовольствие ей самой. Она настаивала на нашей абсолютной зависимости от неё; мама ревновала нас к нашим жёнам, подругам настолько, что это делало невозможной нашу жизнь вместе с ней в одном доме. Мама не могла примириться с тем, что мы выросли и даже начинали стареть. В последние годы своей жизни, когда она жила со мной, я замечал за ней проявления обычной женской зависти, что удивляло и даже раздражало меня. Её значительность, женское достоинство должны были удерживать её от демонстрации черт, напоминающих мне женщин, с которыми мне доводилось жить и которым было далеко до маминого положения, образования, социального статуса. (Я задавал себе вопрос, а не завидовала ли мама

отцу, его авторитету, окружению, состоящему из поклонниц.) Мама возражала против разрыва родственных уз (речь шла о нас). Её сущность восставала против неизбежного разрыва, который характерен для взаимоотношений между детьми и родителями. Так или иначе, она не могла простить Алёше то, что он жил иной жизнью, в окружении поклонниц. Мама считала несправедливостью (чьей? Бога?), что у такого отца должен быть именно такой сын, более того, относила это к трагической и незаслуженной ошибке творца. Были и такие моменты во взаимоотношениях мамы и Алёши. Должен сказать, что мама была трудным человеком; причина этого крылась во множестве её достоинств. При всех своих достоинствах и недостатках она, несомненно, была удивительной женщиной.

Вот что мне хотелось рассказать вам о маме, об её участии в жизни каждого из нас (включая отца).

Отец был довольно медлительным человеком. Правда, как он рассказывал мне, в юности он занимался «спортом», но довольно странным видом — догонял на улице прохожих. (Любовь к спорту я, наверное, унаследовал от мамы; отца я не мог даже представить себе делающим спортивные упражнения или просто физическую работу; во время прогулок он, правда, быстро ходил.) Отца нельзя было назвать красивым, но он был высокого роста, обладал хорошей фигурой — прямая осанка, длинные ноги. По рассказам мамы, на пляже отец пользовался повышенным вниманием у женщин, что, однако, не производило на него никакого впечатления. Самым замечательным во внешности отца были глаза, взгляд которых был обращён внутрь, будто бы отец стремился рассмотреть движения души. Можно сказать, что он видел предвечного бога, кого он считал «другом», нашедшим обитель в его душе. «С юношеских лет меня мучила мысль о том, что есть мудрость. Осознав невозможность её достижения, если только Бог не дарует её мне, я пришёл к Богу», — приблизительно так звучало одно из его любимых высказываний. Эта мысль изложена на старославянском языке на надгробном кресте могилы отца на кладбище в Хендоне. Отец очень много курил; его часто можно было видеть с сигаретой. За несколько месяцев до смерти он бросил курить, объяснив, что курение, как и пища, отвлекает его. Думаю, что его отвращение к никотину и пище было вызвано сознанием приближающейся смерти: «возвращение на родину», как называл отец окончание жизненного пути. «Одурел» — было последним словом, которое отец произнёс, в последний раз придя в сознание, после чего он скончался. Случилось это днем 10 декабря 1950 года. Рядом с ним были все члены нашей семьи, кроме Алёши и меня (я был в Австрии). Последние дни перед смертью отец отказывался принимать морфин, чтобы облегчить боли, мучившие его перед концом. Только в самый последний день он попросил врача сделать ему укол. Доктор Беркла-Вей говорил нам, что никогда раньше не встречался со столь настойчивым отказом пациента снять боль с помощью инъекций. Отец был против всякой «химии», нарушавшей, как он считал, естественный процесс ухода из жизни. Он с радостью ожидал возвращения на свою родину, желая встретить этот момент во всеоружии своих интеллектуальных и духовных сил. Удивительная смерть; естественный и закономерный конец его жизни. Моё стремление как можно полнее представить картину духовной жизни отца, думаю, может послужить оправданием такого экскурса в прошлое.

Ви и Алёша

Когда 25 июля 1920 года я появился на свет, Виктору было 11 лет и 3 месяца, а Алёша приближался к своему десятилетию. Виктор, по просьбе родителей, стал моим крёстным, что было очень разумным решением, поскольку в то время всякое могло случиться с родителями. Революция, гражданская война не исключали ни для кого возможности погибнуть, умереть от голода, исчезнуть. Красные, заняв тот или иной населённый пункт, начинали вешать тех, кто выжил при белых, и наоборот. Отец и мама вспоминали, что и они не раз подвергались такой опасности. В 1921 году отец (и все мы) благополучно вернулись в Москву, избежав гибели и всех ужасов гражданской войны в провинции. Предполагалось, что в случае смерти родителей Виктор, мой крёстный отец (крёстной матерью мне стала бывшая мамина учительница француз-

ского языка из Саратова), должен был взять на себя ответственность за мою жизнь. Рассказывали, что на церемонии обряда крещения у Виктора было распухшее лицо, потому что всего несколько дней назад он упал с крыши дома, угодив прямо в заросли крапивы. Оказалось, что братья играли в войну; они, сняв рубашки, сражались с красными, вообразив своих врагов в виде кустов крапивы. Героическая борьба неизменно оканчивалась их поражением, но они страшно гордились своими многочисленными ожогами.

Свидетельство о моём рождении было написано на немецком языке, так как родился я в немецкой деревне. Так случилось, что в те грозные годы у администрации были только бланки свидетельств о смерти, поэтому слово «Todesurkunde» («Свидетельство о смерти») было перечёркнуто, а вместо него написано «Geburtsurkunde» («Свидетельство о рождении»); заменили «Gestorben» («умер») на «Geboren» («родился») и «Begraben» («погребён») на «Getauft» («крещён»). Я должен был предъявить это странное, в каком-то смысле уникальное свидетельство в берлинской школе, где оно было оценено. Это имело неожиданные последствия: пока не было установлено моё неарийское происхождение, нацисты считали меня Volksdeutscher, тем более с такой фамилией, как моя. Моей реакцией был яростный протест.

В детские и юношеские годы моё отношение к Виктору было особенным. Он был для меня кем-то вроде мини-папы или Ersatz-Papa. У меня всегда находилась масса таких вопросов, которые я бы не отважился задать отцу, а Виктора мне было не стыдно. Вопросы эти часто были связаны с моей пробуждающейся сексуальностью. Виктор, например, предупредил меня об опасности заразиться венерическими заболеваниями; он также пытался смягчить те специфические и часто трагические ситуации, в которые попадал русский подросток, живущий вне своей родины. Любовь к России, её истории и культуре не должна была иметь ничего общего с жестокой реальностью Советской России, о которой я слышал только с чужих слов. Невероятно трудно было эмоционально постичь всё это. Воспитанный в духе любви к России, я очень болезненно воспринял необходимость делить её на Россию реальную и Россию, прошедшую через насилие.

Виктору было 13 с половиной лет, когда мы были изгнаны из России. Он и Алёша (ему было на год меньше) многое успели впитать в себя, на всю жизнь сохранив духовные, культурные особенности нашей родины. У меня же не было такой возможности на опыте понять, что есть Россия. (Нам с Наташей судьбой было уготовано увидеть Россию, узнать её и печалиться о ней уже в старости. Хочется думать, что моя преданность России таким образом была вознаграждена.)

Именно Виктор научил меня ценить классическую русскую литературу. Он любил читать вслух, и это случалось довольно часто, не только во время моей болезни, когда я неделями лежал в постели. Когда Виктор изучал историю в берлинском университете, он рассказывал мне интересные эпизоды из истории покорения Сибири, Кавказа. Я гордился тем, что именно русские, преодолев Берингов пролив, достигли Калифорнии и Мексики. В моём детском воображении отважные русские представлялись мне бегунами, развившими наивысшую скорость и продолжавшими бежать уже по инерции. Я узнал и о жестокости русских, и о той пользе, что приносило с собой местным народам их пришествие. Стремился Виктор к этому или нет, но ему удалось возбудить и усилить мой патриотический дух. Мучительно трудно ощущать себя русским, зная сложную трагическую историю России, её горькую судьбу, прямыми или косвенными свидетелями и жертвами которой мы являемся. Я буду всегда благодарен брату за то, что он помог мне прийти к осознанию во многом спорной, но уникальной и в то же время трагической роли России в истории. Ощувив себя частичкой этой истории, я понял, что волею судеб стал тем, кем я был — эмигрантом. Я был, если можно так сказать, невольным свидетелем и жертвой тех исторических событий, что заставили нас жить невероятно далеко, во всех смыслах, от страны, которую я считал своей родиной.

Поселившись в Англии, я получил на Рождество подарок от Виктора, который я сохранил до этого дня: тетрадь со стихами Александра Блока, посвящённую трагической судьбе России во времена татарского нашествия. Стихи были написаны каллиграфическим почерком. Он писал:

Берлин, 24. 12. 38

Дорогой Вася, вот тебе ещё один подарок: несколько стихотворений Блока о России. Я их недавно «открыл». Даже если ты их уже знаешь, не мешает их иногда перечитать. Они немного туманны (кое-какие слова я объясняю в примечаниях), но, по-моему, очень годны для одиноких вечеров в Лондоне, Париже, Берлине и т.д. и т.д.

Целую тебя. Твой Ви.

В конце письма значилось: *«А под конец одно чудное английское стихотворение Стувенсона. Если так лет через 35 — 40 я умру до тебя, то ты последние три строки выгравируй на памятнике. Слушай!*

*Under the wide and starry sky
Dig the grave arid let me lie
Glad did I live and gladly die
And I laid me down with a will.*

*This be the verse you grave for me:
Here he lies where he longed to be;
Home is the sailor, home from the sea,
And the hunter home from the hill».*

Спустя 34 года его не стало, просьба его осталась невыполненной, частично потому, что во время своей болезни, перед смертью Виктор попросил меня сделать следующую надпись на памятнике: «Да будет воля Твоя». Прости меня, Ви!

Наши взаимоотношения складывались постепенно. В мои детские, юношеские годы — годы жизни нашей семьи в Берлине — он для меня был больше, чем просто старший брат. Когда Виктор учился в университете в Праге, в своих письмах я обращался к нему не иначе как: «Дорогой брат, отец и друг», кем он в действительности и был; именно он, никто другой, научил меня любить Россию. Особое чувство благодарности я испытывал по отношению к брату ещё и потому, что он познакомил меня и дал мне верные ориентиры в мире русской поэзии. Помимо классиков (Пушкина, Лермонтова, Тютчева, Фета и др.), я ценил Гумилёва, Анну Ахматову, Есенина, чьи произведения читал мне Виктор. В стихах Гумилёва меня привлекала их особая мужественность и мистические мотивы, Ахматову я любил за поэтический романтизм, а Есенин был мне близок искренним чувством любви к России. Многое я знал наизусть.

Виктор любил читать вслух. Во время нашего пребывания в немецком посёлке — я был тогда совсем маленьким — он перечитал нам все книги русских авторов, какие только можно было найти в деревне. К концу своей жизни, когда мы оба жили в Мюнхене, Виктор не оставил своего любимого занятия и прочёл несколько книг своей подруге, англичанке. Иногда доводилось и мне послушать его чтение на английском.

Трагично сложилась судьба Виктора; через несколько лет после войны неожиданно умерла его жена Лорна; в детском возрасте умерла от астмы его падчерица Анна; потерял он и свою вторую жену, Марию. Всё это не могло не сказаться на его характере. Складывалось впечатление, что он превратился в отшельника, отгородившегося ото всех. Та непосредственность, что отличала наши взаимоотношения, казалось, исчезла безвозвратно. Общение с ним стало причинять боль; разговор протекал с видимым усилием и напряжением; не осталось и следа от той лёгкости и естественности, что были характерны для прежних лет. Виктор стал напоминать улитку, прятавшуюся в свой домик при чьём-либо приближении; правда, быстрота, с которой он прятался в свой «панцирь», зависела от того, насколько близок бывал ему тот или иной человек.

Одной из причин перемены в его характере, возможно, стала его неудачная женитьба во второй раз, на Марии (матери Анны). Эта женщина пользовалась его великодушием, несколько старомодными взглядами на вещи. (Пусть она простит мне такое отношение к ней.) Насколько он был несчастлив с ней, я понял, когда после её смерти он абсолютно переменялся; произошло его возвращение к самому себе прежнему. У него появилось желание учиться управлению

машиной, он стал строить планы на будущее, собирался найти квартиру в Лондоне, где он должен был поселиться (вместе с приёмной дочерью, которую звали Миранда) после выхода на пенсию в 1974 году. По мнению его коллег, на Радио «Свобода» Виктор был «персона грата», он мог продолжать работать там ещё многие годы. Это было вполне вероятно, так как Виктор был единственным профессиональным русским журналистом на Западе, более того, он был высококультурным, образованным человеком, интеллигентом в полном смысле этого слова (в его русском значении).

Виктора не стало 2 сентября 1972 года. Казалось бы, он абсолютно вылечился от серьёзного заболевания, мучившего его около пяти месяцев. С ним случился удар с последующим параличом левой стороны тела, он не мог двигаться, не мог говорить; только шептал. Я воспринял это как подсознательное стремление организма (позже Виктор в письме к Наташе говорил о загадочном «Х», управляющем и координирующем борьбу с врагом — болезнью) сохранить уходящую энергию. Викторе провёл в больнице почти 2 месяца. Всё это время я был с ним, стараясь отдать ему всё то внимание, заботу и любовь, которую он заслужил. Я знал, что всё это так необходимо брату, и выполнял свой долг с радостью. Так неожиданно возобновились наши прежние близкие отношения, что для меня было величайшим даром. Он поправился, вернулся из больницы домой; в Мюнхен приехали Миранда и Сюзанна, которая была с девочкой, пока Виктор не уехал в Англию. Проведя пару недель в одном из отелей Борнмута, он скончался сидя за столом в своем любимом Реформ Клубе.

Не странно ли, что смерть настигла обоих братьев одинаково, в положении, когда они сидели. Да ниспослёт мне Господь столь же лёгкую смерть! «Непостыдную и безболезненную кончину, молим Господа.»

Болезнь Виктора сопровождалась душевными переменами в нём. Взгляд стал добрее, улыбка его говорила о том, что он познал нечто действительно важное, непреходящее. Не раз он повторял нам, что только теперь понял божественную мудрость слов «Да будет воля Твоя». Когда душа его блуждала меж двух миров, реальным и тем, другим (он называл это «анфилада»), казалось, ему открывалась божественная истина «доброты» (нет в английском языке варианта, адекватного переводу). Виктор считал, что, не имея духовного ориентира, нельзя понять такие строки Гёте:

Nicht an die Gueter haenge dein Herz,
Die das Leben vergaenglich zieren.
Wer besitzer, der lerne verlieren,
Wer im Glueck ist, der lerne den Schmerz.

Удивительным, даже сверхъестественным кажется мне то, что Виктор и Алёша, каждый по-своему, испытали равные по силе и глубине душевные перемены. Они каким-то необъяснимым образом, на подсознательном уровне (говоря сухими терминами языка живых существ) ощущали приближение смерти и смогли прийти к осознанию того, что любовь, нежность, доброта, детски чистое и искреннее понимание Бога и вера в него, — единственное, что действительно имеет значение.

Ви было что терять, но он понимал, что вещи материальные есть наименее важное из того, чем может владеть человек. Алёша же не имел буквально ничего и сделал для себя тот же вывод.

Виктор, по его желанию, был похоронен вместе со своей первой женой Лорной в Хайгейте. Могила Алёши находится рядом с папиной в Хендоне; там же покоится и мама. Она умерла в 1984 году в возрасте 98 лет, когда уже в живых не было её мужа и двух сыновей.

* * *

Алёша был красивым, высоким и сильным. Отец считал, что он был слишком хорош, чтобы это могло пойти во благо ему. Когда я был маленьким, я ужасно боялся всяких грабителей, разбойников и коммунистов, но был совершенно уверен, что ничего плохого не случится, пока

рядом Алёша. Алёша, конечно же, всех победит и спасёт меня. В то время скорее он, чем Виктор, был моим героем.

Так сложилось, что Алёша всегда был причиной всех волнений и тревог для своих родителей. Я думаю, отец отдавал себе отчёт о том, что мало что может изменить «цыганский» (как он называл) характер сына, в котором абсолютно отсутствовало чувство ответственности. Алёша не был способен ходить в школу каждый день, а потому родители даже и не пытались зачислить его в немецкую школу. Несколько лет Алёша посещал русскую Масинг-школу в Берлине. Когда ему исполнилось 14 лет, стало очевидно, что дальше учиться бесполезно, и он пошёл учеником на автомобильный завод «Адлер». Отсутствие силы воли сказывалось даже в том, что он не мог себя заставить вставать по утрам. Я хорошо помню, как тщетно мама пыталась поднять его с постели. Довольно скоро Алёша был уволен, устроился на работу в другом месте, но и там в результате последовало увольнение. О нём можно было сказать — «юродивый»; счастлив лишь оттого, что живёт как «птичка божья», говоря словами Пушкина. Алёша абсолютно не думал, не заботился о последствиях своих поступков, будущее ему рисовалось весьма далеким. Краткий миг настоящего — вот что действительно имело (подсознательно) для него значение. Все эти черты и чёрточки характера делали брата довольно привлекательным, потому что в основе всего лежала беззаботная «непосредственность», наслаждение жизнью в каждый её момент. Он жил одним днём, не заботясь о будущем.

После нескольких неудачных попыток устроиться на работу Алёша попал в цирк, где неожиданно для всех и для него самого обнаружил удивительные способности. В 1928 или 29 году он был принят в знаменитую школу балета Эдуардова на Калькройтштрассе (кто за него платил? Возможно, это делали родители, пока в этом не отпала необходимость). Со временем он стал искусным танцором. В доме на нашей улице Алёша снимал комнату, за которую платила, конечно же, мама (возможно, из денег Алёши), потому что у него деньги долго не задерживались. Когда они у него появлялись, он не мог найти себе места, пока не потратит их все, главным образом на других. Хорошо помню комнату, где он жил, и его хозяйку, фрау Циффер. Однажды, когда я зашёл навестить брата, — с ним было так весело — фрау Циффер угостила меня яблоком. В конце того же месяца Алёша получил для оплаты счёт за квартиру, к которому была добавлена одна марка со следующим пояснением: «Одно яблоко для вашего брата».

Ещё один эпизод приходит мне на память. Как-то раз я свистом подозвал брата к окну и попросил у него 10 пфеннигов на мороженое. Он бросил мне монетку на мостовую, потом неожиданно посыпались монеты ещё и ещё, с условием, что я смогу их поймать, пока у меня в руках не оказалось что-то около пяти марок — в то время огромная для меня сумма. С появлением его подруги я был изгнан.

Когда Алёша принимал участие в мюзикле «Das weisse Roessel» (Белый Конь (шахматный)), который поставил Эрик Чарл, он несколько раз брал меня с собой в театр (был ли это Шиффауердамм?); я часто заходил к нему в гримёрную, где познакомился с настоящими «звёздами» — немецким евреем Зигфридом Арно, который потом эмигрировал, узнал Тамару Десни и молодого баварца, исполнявшего одну из главных ролей в оперетте — его звали Юстл Бэйерхаммер. Он стал настоящей звездой. Моим другом стал Александр Свэн, удивительный танцовщик. Когда я встречал его, он приглашал меня на ланч или в кафе-мороженое. Узнав о том, что он гомосексуалист, я перестал видеться с ним.

Перед тем как Алёше предстояло отправиться в турне с балетной труппой, мама попросила Александра (не зная о его склонностях) присмотреть за её сыном: «Ich moechte Ihnen gerne ein Kind (Alyoscha) schenken» («Хотела бы подарить вам ребёнка»), не подозревая о том, какой скрытый смысл таит эта фраза на немецком языке. В 1953 году мы встретились с Александром в Афинах. Александр всё ещё восхитительно танцевал на сцене. Прежнего интереса ко мне у него уже не было, и на этот раз я смог позволить себе угостить его (и его друга) обедом. После постановки «Weisses Roessel» Алёша танцевал в оперетте Оффенбаха «Прекрасная Елена», которую поставил всё тот же Эрик Чарл в одном из шикарных театров на Курфюрстендамм. Позже я узнал версию возможной причины его увольнения. В первом акте сразу после увертюры на сцену был внесён деревянный ящик, из которого появилась статуя греческого бога.

Археологи приступили к исследованию, но вдруг статуя ожила и начала танцевать. В тот роковой вечер Алёша немного выпил перед спектаклем и заснул, находясь в коробке. Проснувшись и обнаружив себя в самом центре сцены в лучах света прожекторов, он вдруг перекрестился (!). После короткой паузы, вызванной его замешательством, он начал танцевать.

Так был положен конец карьере балетного танцовщика в Берлине. У брата был роман с русской танцовщицей, довольно популярной в те годы. Звали её Ксения Десни (сестра Ивана Десни). Думаю, что она очень любила брата; когда по его просьбе я позвонил ей после отъезда Алёши из Лондона, она была очень расстроена, услышав по телефону мой голос, а не голос брата.

Алёша был талантливым артистом; у меня хранятся фотографии, на которых он и берлинская прима-балерина Сабина Росс танцуют вместе в сценических постановках. Некоторое время брат входил в балетную труппу, в которой танцевала другая прима — Рут Хирш (еврейка). На Курфюрстендамм в витрине одного из популярных фотографов была выставлена фотография этой женщины. Однажды вечером Алёша, разбив витрину, украл её фотографию. Его арестовали и приговорили к штрафу по возмещению нанесённого ущерба. Бульварная пресса, подхватив сообщение об этом происшествии, «раздула» из него сентиментально-романтическую историю: «Veriebter junger Russe stiehlt Photo seiner Angebeteten» («Влюблённый молодой русский крадёт фото своего кумира») или нечто подобное. Рут Хирш этот случай сделал дополнительной рекламой, насколько я помню, она сама возместила ущерб и пригласила брата на ужин.

Репутация Алёши была окончательно подорвана; греческий бог в его исполнении, осеняющий себя крестом, — такого ещё не бывало. Алёша уехал в Париж, где был принят в балетную труппу Монте Карло де Базиль (или это был Войцеховский). Он никогда не танцевал ведущие сольные партии возможно потому, что не был достаточно талантлив для этого, но, скорее всего, потому, что был слишком ленив. Алёше удавались характерные роли в постановке «Князя Игоря», «Петрушки», «Щелкунчика». Преподаватель Эдуардова считала, что красивая внешность брата — его ценнейшее качество.

Во время поездки в Австралию в 1935 — 36 гг. Алёша познакомился со своей будущей женой, Бетти Скорер; брат Бетти Поль стал мужем Наташи. Бетти танцевала на сцене под псевдонимом Елизавета Суворова. По возвращении в Европу она получила наследство и приобрела участок земли на Лазурном берегу в городке Ла Фавьер, где жили многие русские (Метальников, композитор Гречанинов, Оболенский и др.). Построив на участке два небольших домика, они обеспечивали своё скромное существование за счёт содержания пансиона для англичан (Алёша часто проматывал получаемые деньги). Мама, отец и Наташа после отъезда из Берлина некоторое время жили у брата. После начала войны пансион Бетти перестал функционировать, и они остались без средств к существованию. В 1941 году Бетти вместе с матерью (до войны не пропускавшей ни одной театральной премьеры в Лондоне) и дочерью (Маруся родилась в 1940 году) вернулись в Англию (через Португалию). Алёша, не будучи британским подданным, не смог получить визу в Англию и всю войну оставался во Франции, как и родители. Отъезд Бетти в Англию положил конец их семейным отношениям. Родители полностью возлагали вину за это на Алёшу. Брат не был создан для спокойной обыденной семейной жизни.

Получив серьёзное ранение в 1944 году в октябре месяце, Алёша приехал в Англию, но Бетти больше не хотела иметь с ним ничего общего. Самолюбие его было оскорблено; до сих пор он оставлял женщин, а теперь был брошен он сам.

Алёша и его романы. Как я уже говорил, Алёша был высок ростом, несомненная сила, тёмные волосы, прекрасные черты лица; он играл на гитаре и в цыганской манере исполнял цыганские и русские песни. Он пел под Вертинского, Лещенко, Морфесси, причём делал это превосходно. Его особая для женщин привлекательность таилась в романтической беззрелости. Пожалуй, ему ни разу не пришлось добиваться женщин. Они искали его расположения. Уверен, что Бетти женила его на себе; он был слишком ленив или не хотел дать себе труд заняться столь тривиальным делом. Не могу сказать, что верность жене, другой женщине были отличительной чертой брата, да и любил ли он кого-нибудь вообще. Иногда им владело искушение, иногда женщина брала инициативу в свои руки, и он уже не думал о возможных или вероятных последствиях.

Сила воли со знаком «минус», как называл это отец, определяла эмоциональное состояние Алёши. Он жил одним днём, не будучи способным правильно оценить последствия. Получая удовольствие от каждой минуты жизни, Алёша, в отличие от обычного человека, не умел делать верных выводов из своих поступков. Удивительно, как он смог избежать тюрьмы, поскольку в его характере абсолютно отсутствовал фактор, удерживающий от совершения поступков, наказуемых обществом. Может, просто повезло?! На память мне приходит следующий случай. Алёша после войны жил в Англии. Он довольно часто встречался с русскими друзьями, которые приглашали его на обед или ужин. В один из таких визитов на стол подали гуся. Когда после обеда хозяева легли отдохнуть, Алёше ещё захотелось полакомиться гусём, он отправился в кладовую, и скоро от птицы ничего не осталось. Ему стало так стыдно, что он тут же убежал и больше в этом доме никогда не появлялся. Кажется, довольно яркая иллюстрация того, что брат был абсолютно не способен задуматься о том, к чему могут привести его поступки. Отец верил, что помимо внешности Алёша обладает каким-то особым «талантом», делающим его столь популярным у женщин. Если бы он руководствовался здравым смыслом и больше думал о себе, он мог бы жениться на богатой женщине и жить безбедно. Но, к сожалению, его неудачная женитьба была вполне типична для него, как и закономерный итог его семейной жизни.

В детстве Алёша был для меня героем, и я страстно желал совершать столь же отчаянные и безрассудные поступки; хотел, как и он, не заботиться о деньгах или о соблюдении светских приличий, которые, я думал, сковывают личность цепями условностей. В действительности же я ошибался, считая, что его романтическая беспечность, желание нарушать запреты идёт от его активной жизненной позиции. Потом я понял, что всё это объяснялось его «отрицательной силой воли». Он просто не мог быть «нормальным» человеком, но не в силу каких-то экстраординарных способностей, а лишь потому, что был лишён того нравственного начала, делающего обыкновенного человека обыкновенным.

В своих детских чувственных фантазиях я завидовал Алёше и мечтал о той любви, что дарили ему женщины. Иногда его знакомые заключали меня в объятия, целовали, потому что я напоминал им брата. Однажды мы гуляли с ним по Берлину и встретили симпатичную молодую немку, шедшую нам навстречу. Алёша сказал, что женщина должна непременно оглянуться, когда мы разминемся с ней. Так и случилось. Тот факт, что он не потрудился дать дальнейшее развитие этому происшествию, говорил о его пассивном отношении ко всему. К чему беспокоить себя, не в последний раз.

Мама рассказала мне о двух случаях, имевших место во Франции, сначала оккупированной итальянцами, затем — немцами, доказывавших его беспечность, неспособность правильно оценить последствия, которая на этот раз граничила с глупостью. В Ла Фавьер оккупационными властями был организован митинг, на котором Алёша решил посвистеть, чтобы таким образом продемонстрировать своё несогласие с выступавшими. Мама уверяла меня, что при подобных обстоятельствах русский военный немедленно выстрелил бы в свистевшего. Когда в 1943 году они ехали поездом из Южной Франции в Гренобль, где прятался отец, Алёша в разговоре с немецкими солдатами позволил себе рассказать антинацистские анекдоты. Отец в это время находился в соседнем вагоне.

Алёша добровольно вступил в ряды французского движения сопротивления, откуда, спустя несколько месяцев, вышел. Вероятно, он не мог вынести строгой дисциплины или не чувствовал себя способным подниматься рано утрами.

Во время одного из рейдов по выявлению лиц еврейского происхождения, проводимых немцами в Гренобле, Алёша был подвергнут осмотру, после которого его отпустили, так как он не проходил обряд обрезания. Парадоксально, но это и спасло отца: он был отцом необрезанного, значит, не евреем.

Свобода пришла в 1944 году, когда появились американцы. Алёша добровольно вступил в американскую армию, где ему выдали форму и винтовку. Очень пригодилось ему знание языков — английского, французского, немецкого. Вскоре джип, в котором находился брат, подрывался на mine близ Эпиналя и брат был серьёзно ранен. Потеряв два пальца правой руки, Алёша уже не смог играть на гитаре; другой осколок прошёл через правый глаз и остался в мозге. В

американском военном госпитале Алёше была сделана операция, что спасло ему жизнь. После всего случившегося сильно проявились негативные черты его характера. Мама навещала брата в госпитале.

Американцы не знали, как дальше поступить с братом, и решили репатриировать его в Советский Союз; Алёша при каждом удобном случае подчёркивал своё русское происхождение, а американцы отличались политической близорукостью. Алёшу спасло вмешательство Густава Кульмана. Из Франкфурта-на-Майне Алёша послал телеграмму в Лондон родителям: «Меня посылают к тёте Марусе» — мамина сестра Маруся осталась в России. Вмешательство Кульмана было успешным, и Алёша вместо Москвы оказался в Лондоне. Все попытки получить пенсию как воевавшему на стороне Америки были тщетны, поскольку официально Алёша не был зачислен в вооружённые силы США. Элеонора Рузвельт уделила внимание этому делу, но даже её вмешательство не принесло желаемых результатов. В конце концов Алёша стал получать пенсию от немецкого правительства.

Жизненные обстоятельства складывались всё хуже для него; нам же нужно было общаться с ним, особенно от этого страдала мама. У неё не хватало ни сил, ни времени понять его физическое и психологическое состояние, изменить которое было невозможно. Она упрашивала, умоляла, требовала от него то, на что он был неспособен. Алёша старел, становясь всё более полным и лысеющим человеком, от прекрасной внешности не осталось и следа. Он постоянно нуждался в помощи, моральной поддержке, внимании и участии, поскольку сам о себе заботиться не мог. И тем не менее, он переносил всё: физическую боль и признание своей жизни как неудавшейся. В душе его рождалась наивная, почти детская, но глубоко прочувствованная вера.

В последние месяцы (возможно, годы) своей жизни Алёша был всё также сложен в общении, этот 90-килограммовый ребёнок, имеющий проблемы с алкоголем (спиртное было запрещено, потому что ранение в голову стало причиной эпилептических приступов, провоцируемых алкоголем), но он стал открывать в себе удивительно трогательное чувство доброты. Алёша часто говорил: «Моя душа ликует — Господь со мной». Эти слова можно прочесть на надгробном памятнике на могиле брата в Лондоне, где он был похоронен, рядом с могилой отца. Дарует ли мне Господь возможность быть погребённым вместе с ними, в семейной могиле.

Алёша скончался 9 января 1969 года в возрасте 58 лет. Произошло это в Мюнхене, в квартире, где я жил тогда; хозяйкой квартиры была Галина Митина. Алёша был мёртв, а недокуренная им сигарета продолжала дымить, и на подносе стояла чашка ещё не успевшего остыть чая. Мы сидели за столом и завтракали, когда я вдруг заметил, что он закрыл глаз (свой единственный глаз) и по телу его пробежала дрожь. Я рукой поддержал его голову, чтобы он не ударился о стенку. Дрожь прекратилась. Живущий рядом с нами доктор констатировал смерть. Ни он, ни я не ждали этого; его последние слова были: «Когда ты вернёшься с работы?».

Непонятным, даже сверхъестественным кажется мне то, что смерть настигла обоих моих братьев, когда они переживали равные по глубине душевные метаморфозы. Да ниспошлет мне Господь тот же дар, пусть незаслуженный. Не могу не поделиться, что такое духовное перерождение даруется тем, кто заслужил это (не в общепринятом обыденном смысле этого слова). И Виктор, и Алёша ощущали приближение своей смерти; сошедшее на них озарение привело их к осознанию того, что любовь, нежность, доброта, детски чистое и искреннее понимание Бога и вера в него — единственное, что действительно имеет значение в этой жизни и в последующей.

Мама называла Виктора Дон Кихотом. Виктор, несомненно, обладал интеллектуальными способностями, был духовно близок отцу, но в молодости его часто постигали неудачи. И только в начале войны, став сотрудником Би-Би-Си, он начал постепенно продвигаться по служебной лестнице. Скоро Виктор возглавил русский отдел Би-Би-Си. В период работы на Радио «Свобода» таланты Виктора получили должную оценку. Он стал настоящей звездой на мюнхенском радио. Написанные им статьи по русской литературе и сегодня остаются выдающимися работами. Сын Пастернака, Евгений, рассказывал Наташе, что самое сильное и глубокое впечатление из всего написанного об отце оставила статья, автором которой был Виктор Франк. К сожалению, брату не удалось закончить свою книгу, посвящённую Пастернаку.

Можно говорить о трагическом факторе, присутствовавшем в его жизни. «Смерть окружает меня». Он заслуживал иной судьбы; последние месяцы своей жизни (период после его болезни) он познал истинное значение жизни и смерти и в полной мере осознал значимость этого открытия. Да упокой, Господь, душу его.

Когда Виктор выписался из больницы и находился в санатории близ Мюнхена (я часто навещал его там, иногда со мной приезжала мама), стали заметны происходившие в нём духовные, эмоциональные перемены. Он становился другим человеком в эмоциональном плане; исчезли его прежние напряжённость и «недоступность», с ним стало легко и приятно общаться. Во время болезни Виктор бросил курить — «Мне это не нужно» — но вернулся к этой привычке, когда стал выздоравливать. Я заметил ему, что довольно глупо курить, когда не чувствуешь в этом необходимости, не зная тогда и не понимая, что это были последние дни его жизни и он был прав в своём стремлении насладиться ими.

Наташа

У нас с Наташей всегда были близкие отношения, но я не могу сказать, что её влияние на меня было равнозначно влиянию братьев. С самого моего рождения она заботилась обо мне, став, по существу, моей второй матерью, что, несомненно, должно было оказать на меня некоторое психологическое воздействие, но это было в очень раннем возрасте, когда я был малышом, только начинавшим ходить. Влияние братьев начало сказываться в том, что им удалось привить мне любовь к футболу и научиться хорошо играть в него (для меня это было чем-то большим, чем просто занятия спортом, это был способ заявить о себе в чуждом мне окружающем мире). Виктор и Алёша оказали воздействие на моё интеллектуальное и духовное формирование. Наташа, в силу различных обстоятельств, не сыграла такой роли в период становления моего характера. Она всегда была рядом, я чувствовал её любовь и заботу. Я был абсолютно счастлив, живя с ней, её мужем, чьё влияние на меня трудно переоценить и кого я с гордостью называю своим старшим другом. Но к моменту встречи с Полем я был уже вполне взрослым человеком. Моя юность закончилась в Берлине.

Несколько лет Наташа провела в Швейцарии, где она была кем-то вроде гувернантки и выучила французский. Потом она переехала в Париж; когда она вернулась в Берлин, она курила.

Наташа не знала, как оправдать этот факт маме (мама никогда не одобряла курение, хотя отец и двое сыновей имели такую привычку) и не нашла ничего лучшего, чем сказать, что с ней приключилось нечто ужасное. Мама тут же вообразила, что Наташа ждёт ребёнка, но вздохнула с облегчением, узнав о пристрастии к сигарете. Студенческий друг Виктора Эрнст Шуле, немного говоривший на русском с сильным немецким акцентом, часто появлялся у нас в доме, главным образом из-за Наташи. Он был одним из так называемых «Communists» типичный представитель интеллектуалов 30-х годов. Думаю, его можно было отнести к сочувствующим. Но возможный интерес к Наташе смешивался с интересом к русской семье, членам которой он не очень доверял из-за негативного отношения к советскому строю и коммунизму. Прошло немногим более десяти лет со времени нашего изгнания, но слишком свежо было воспоминание моих родителей о жизни при коммунистах.

Поэтому поддержка и оправдание молодым человеком идей коммунизма часто становилось источником горячих дискуссий. Отец часто сердился, считая, что спорить с ним бессмысленно.

В летний период, когда наша семья жила за городом, в квартире оставались Виктор и Эрнст, работая над своими диссертациями. В доме поговаривали, что постоянный звук печатной машинки подозрителен и наводит на мысль, что молодые люди занимаются антинацистской пропагандой. Однажды ранним утром в доме был произведён обыск. Гестаповцы установили, что Шуле был сыном католического священника (был найден чемодан, принадлежавший «Feldkurat Schuele» («Фельдкurate Шуле»), тут же остановили обыск, извинились и покинули дом. Но оказалось, что именно этот чемодан был набит пропагандистской коммунистической литературой! Впоследствии Шуле стал корреспондентом немецкой газеты в Москве. Виктор просил его взять

интервью у нашей двоюродной сестры (Марина Барцева — дочь маминого брата Николая), установившей мировой рекорд в прыжках с парашютом. Виктор считал, что это вполне оправданный, даже в период «Великого террора», повод для интервью. Шуле разыскал Марину, взял интервью и сказал, что он является другом Виктора. Недавно Марина рассказала мне, что сразу после их беседы она доложила в соответствующие органы о встрече с немецким корреспондентом. Не сделай она этого, ей бы предъявили обвинение в связях с западной разведкой. За общение с иностранцем Марина была арестована и провела несколько месяцев в тюрьме.

После войны мы узнали, что Шуле погиб на русском фронте. Судьба. Погибнуть от рук тех, кем он восхищался.

Швейцарский студент (?) Ричард Штанге, молодой человек огромного роста, также ухаживал за сестрой. Летом 1938 года я встречал его в Лондоне. Хотя он и угощал меня чудесным обедом, я не особенно любил его, и более того, был против каких бы то ни было отношений с Наташей.

Сын Поля и Наташи — Миша родился в «день подарков», на второй день рождества в том же году, меня просили быть его крёстным.

За несколько дней до начала войны Поль и Наташа сняли дом в предместье Лондона Голдерз Грин. (Наташа и сейчас там живёт.) В конце августа мы с Виктором вернулись из Франции. С началом войны Виктор был принят в службу радиоперехвата на Би-Би-Си и переехал в Ивишем, графство Вустершир. Я остался с Наташей, пока она с ребёнком не переехала в Глостершир. Поводом для переезда послужили начавшиеся ночные налёты на Лондон. Я присоединился к ним (в Ивишем я выращивал помидоры; таков мой вклад в победу), пока в октябре 1941 года не было принято моё заявление о зачислении в английские военно-воздушные силы. В октябре 1942 года я попал в Северную Африку, где принял участие в боевых действиях. В начале 1942 года я неожиданно серьёзно заболел. У меня обнаружили воспаление спинного мозга, и я был отправлен в инфекционную больницу в Труро. Первые 3 — 4 недели я был в тяжёлом состоянии. Виктор и Наташа очень волновались за меня. Навещая меня в больнице, они приносили книги, одну из которых, «История Сан-Микеле» (автор Аксель Мунте), я люблю читать и сейчас. Прочитайте эту книгу в зрелом возрасте. Виктора успокоили его коллеги — некий Катков — сказав, что менингит уже не является смертельной опасностью. «Твой брат скоро поправится, но, к несчастью, останется идиотом». Пророческие слова?

Поль был зачислен в ряды английских военно-воздушных сил в чине офицера и был направлен в радиоразведку. По странному стечению обстоятельств, я оказался в том же подразделении. В конце августа 1943 года Поль погиб, когда в корабль, на котором он находился («Н. М. S. Egret»), попала бомба. Случилось это в Бискайском заливе. Наташа получила письмо от капитана корабля, в котором подробно сообщалось об обстоятельствах гибели её мужа. Тело найдено не было.

Маленький

В нашей семье я был самый младший, «маленький», что давало мне массу преимуществ. Насколько я могу судить об этом, я не был избалованным ребёнком в привычном смысле этого слова (это было невозможно хотя бы только потому, что мамина любовь ко мне всегда соседствовала со строгостью), но, в силу разницы в возрасте между мной и тремя старшими детьми, я всегда находился в центре внимания и любовного отношения со стороны всех остальных. Много в нашем доме делалось исключительно в расчёте на меня. Мама часто говорила: «Оставьте это для маленького» или «Не шумите: маленький спит». Отношение ко мне братьев станет понятно, если вспомнить, что именно они научили меня играть в футбол, играть лучше, бегать быстрее и проворнее, чем большинство немецких мальчишек. Они всегда были готовы поделиться со мной своими знаниями и умением, идёт ли речь о футболе, об общих знаниях, о философии.

Только став отцом двух маленьких мальчишек, я понял, что по-иному отношусь к ним, чем к Серёже, когда ему было столько лет, сколько им. Я объясняю это тем, что с появлением на свет

моих младших сыновей я переступил порог «зрелого» отцовства. (Своеобразие моего взаимоотношения с Серёжей шло от трагичной ситуации в семье.) По той же причине, в большей или меньшей степени, любовь отца ко мне проявлялась сильнее, чем к старшим детям. Было бы неверно утверждать, что он любил меня по-иному. На наши взаимоотношения с мамой влияли специфические черты её характера. Она всегда была строгой, но справедливой и любящей мамой. Все мы, а я особенно, ощущали её постоянную заботу. В общем, я пребывал в атмосфере всеобщей заботы и покровительства, что не мешало им негласно давать мне возможность принимать участие в их делах и поступках. Всё это создавало своеобразный образ жизни или, скорее, особый дух семьи Франков. Я знал, что это мне есть место во всех событиях, которые происходили в нашей семье, и ради меня может быть сделано много только потому, что я «маленький» (но и у меня были свои обязанности и своя доля ответственности). Я знал, что могу задать любой вопрос на любую тему и немедленно получу на него исчерпывающий ответ. Меня окружали исключительно знающие, внимательные люди, мои родные.

Возможно, такая обстановка в семье послужила причиной «инфантильности» (чрезмерно сильное выражение) моего характера. Даже теперь, в старости, я продолжаю подсознательно относиться к себе, как к «маленькому», и давно удивляюсь тому, что стал взрослым, и не желаю верить в то, что становлюсь стариком; я просто психологически заблеваю, когда мне говорят, что очередная болезнь, типичная для моего возраста, добавляется к моему «послужному списку». Вот поэтому я часто совершаю поступки и испытываю ощущение, не свойственные людям моего возраста. За время моей сравнительно долгой жизни я сознательно научился успешно справляться с трудностями «роста», позже — старения; в моём подсознании всё ещё идёт борьба между жестокой и неизбежной реальностью моего возраста и состоянием зависимости от других. Это лишь моё предположение, но мне кажется, что момент моей физической смерти я встречу, ощущая себя молодым душой.

Действительно ли это так или это всего лишь самообман, судить не мне. Возможно, мы должны жить и чувствовать в соответствии со своим возрастом или, может быть, мы должны позволить собственному ощущению своего возраста определять нашу жизнь?

* * *

Ещё не достигнув возраста половой зрелости, я ощущал почти гипнотическое воздействие на моё воображение тайны взаимоотношений полов. Ничего не зная, я чувствовал, что эта странная волшебная сила часто управляет жизнью человека. В семье эти вопросы никак не обсуждались. Считалось, что секса просто нет, или, хуже того, секс существует, но от него должно отказаться. Такое отношение к проблеме вело к нелепым, даже жестоким поступкам, что прежде всего относилось к маме. Она могла зайти в мою комнату, когда я уже спал и проверить, была ли у меня эрекция. Мама не наказывала меня за это, но по выражению её лица и голосу я понимал, что она категорически не одобряет этого и считает проявлением дьявольских сил, результатом непристойных мыслей (грязных сновидений, если она знала, что это такое). Всё, что связано с сексом, казалось ей, идёт от дьявола; думаю, где-то в самой глубине души она оспаривала Божий замысел продолжения рода человеческого столь неприличным способом, да ещё и доставляющим наслаждение мужчине и женщине. Мне было стыдно признаться в этом Ви. К счастью, со мной это длилось недолго. Теперь я понимаю, что, несмотря на присущие отцу пронырливость и прозорливость, он оставался «в плену» 19 века, викторианского пуританства. Но ему принадлежит и рассуждение о том, что влечение полов — это некая условность Бога, чтобы быть уверенным в непрерывности продолжения рода человеческого. Отец отрицательно относился к психиатрам, подобным Фрейдю. Его мнение на этот счёт было следующим: в каждом доме есть туалет, однако Фрейд думает, что каждый должен жить именно в нём, считая это место главным в доме... Подобно многим великим людям, Фрейд стал пленником своих собственных, несомненно величайших открытий. Отец отмечал, что некоторые психиатры («Psyche» на греческом означает «душа»!) отрицают само существование души, уверовав в то,

что человек находится в плену своего подсознания. В возрасте 13 — 14 лет в школе нас ознакомили с брошюрой, посвящённой теме секса, выглядело это наивной попыткой школы (или нацистского министерства образования) дать сексуальное воспитание мальчикам, болезненно переживавшим сложный период достижения половой зрелости. Нам было строго наказано передать брошюру родителям, не вскрывая обложку. Я, конечно, не смог побороть любопытство и прочитал, после чего, запечатав обложку, отдал отцу. Он познакомился с содержанием брошюры и вернул её мне. Его смущённый вид (никогда прежде я его таким не видел) доставил мне некоторое злорадное удовольствие, за которое мне сейчас стыдно. Ничего нового для себя я не узнал из этой книжки, поскольку источником моего знания жизни были школьные друзья. Мне и теперь непонятны стеснительность и замешательство отца, что не позволили ему говорить с нами о проблемах взаимоотношения мужчины и женщины и попытаться объяснить нам тайну продолжения рода на земле. Несмотря на его мудрость, он был совершенно беспомощен в объяснении детям столь важных и деликатных материй.

Мне кажется, такое положение вещей было вполне типично для среды русской интеллигенции. В юношеские годы я относился к сексу — или, скорее, к сексуальному влечению — как к таинственной и (возможно, определение покажется шокирующим, но, на мой взгляд, подходящим) Божественной силе. (Вспомните, что Шницлер верил во взаимную связь сексуального влечения и страха смерти.) Незадолго до отъезда из Берлина я стал мужчиной; имея столь ничтожный опыт, я не переставал поражаться той огромной роли, что играет в жизни человека (и моей жизни тоже) влечение к другому человеку. Иногда я слышал, как братья делились впечатлениями от встречи с девушкой, и это настраивало меня на то долгожданное время, как я вырасту и отведаю наконец-то запретный сладкий плод.

Процесс формирования и становления моего характера проходил в несколько этапов. Отчётливо помню то эмоциональное состояние, которое сопровождало пробуждение национализма. Идеи скаутского движения способствовали воспитанию моего юношеского патриотизма; я всей душой стремился к России. Тосковал я по русским людям, «живому» языку, испытывая чувство жалости к себе, вынужденному в силу исторических обстоятельств жить в чужой стране. (Мы, русские девчонки и мальчишки, называли немцев «Laestige Inlaender» («несносные аборигены»), в ответ на обращение к нам «Laestige Auslaender» («несносные чужеземцы»). Теперь я понимаю, что, несмотря на все наши трудности, это было несправедливо). Все мои юношеские годы меня не покидала тоска по «моей» стране. Будучи уже взрослым человеком, я не мог отделаться от странного, почти физического ощущения себя иностранцем, независимо от того, в какой стране мне приходилось жить. Позже я начал понимать, что моя «непохожесть» даёт мне некоторые преимущества, одно из которых состоит в том, что я могу чувствовать себя везде «как дома». Со всей детской непосредственностью я переживал своё открытие в мире животных и насекомых, души которых оказались безгрешными. Эта трогательная наивная вера не позволяла мне убивать мух, комаров. Я часто «спасал» бедных насекомых, попавших в сети паука, с радостью отдавал себя на съедение комарам, получая от этого своеобразное удовлетворение. Я искренне убеждал своих родителей разделить мои взгляды на этот вопрос. Должно быть, им трудно было пережить присутствие такого идеалиста, который ревел всякий раз, как кто-нибудь из них убивал муху. В течение года я пребывал в этом сентиментальном настроении; потом всё прошло. С тех пор (а может быть, и тогда) я с удовольствием ем говядину или курицу, не испытывая волнения по поводу загубленных безвинных душ.

Когда мне исполнилось 9 лет, я решил стать художником. Дядя Лёва, а мои родители считались с его мнением, считал, что я не лишён таланта. Правда, много позже он говорил мне, что преобладающее большинство людей творческих — включая его самого — остаются без денег и куска хлеба. Дядя Лёва предложил мне стать торговцем картин. Всё, что было нужно, это небольшой начальный капитал, немного знаний (скорее интуиции) и много удачи. К сожалению (или к счастью), я не последовал его совету; мои творческие амбиции испарились с началом войны. Летом 1939 года я с родителями жил в Фонтане-о-Роз (предместье Парижа) и Александра Экстер дала мне несколько уроков по живописи, темой которых была композиция.

Я приходил к ней через день, по утрам. Александра Экстер жила на Авеню де Роз, в 10

минутах ходьбы от нашего дома. Преподавала она превосходно, но я был плохим учеником. В свои 19 лет я был абсолютным глупцом, не понимая, насколько неповторимым художником была Александра Экстер и как многому я мог научиться у неё. Она была высокой, невероятно полной дамой. Её движения, манера говорить, мужской тембр голоса наводили меня на мысль о том, что она лесбиянка. Её муж — не помню его имени — был гомосексуалистом. Он выполнял всю домашнюю работу, часто мы встречались с ним на рынке, где он торговался с продавцами, с невероятным акцентом произнося французские слова. Приводить дом в порядок и готовить пищу входило в его обязанности. Во время наших занятий раздавался стук в дверь, потом на цыпочках входил хозяин дома и предлагал нам кофе. Мои уроки не оплачивались. Александра Экстер принадлежала к кругу русской интеллигенции, что исключало денежные расчёты между ней и отцом. Она была очень ласкова со мной, называя меня Васюша, так меня никто прежде не называл. (Васюта — так обращалась ко мне мама, когда не сердилась на меня; отец обычно говорил «дружок»; Наташа называла меня Сюта, а братья — Васик.)

Я необычайно сильно увлёкся рисованием в то время и стал проявлять интерес к истории искусства. У меня собралось несколько книг (которые я так и не прочитал, просмотрев лишь репродукции). На книжной полке я соорудил замысловатую штуковину, позволявшую мне выдвигать любую картину, нужную в данный момент. Я продолжал рисовать, но постепенно я охладел к этому увлечению. Только в Лондоне, когда я жил у Наташи, мой интерес к живописи вновь пробудился; сказалось влияние полотен Модильяни и Руо. Огромное влияние на меня оказал и Пикассо. Занятия живописью мне пришлось оставить, когда я был зачислен на службу в британские военно-воздушные силы в октябре 1941 года.

Ещё в Берлине я составил завещание; весьма наивный поступок. Главным пунктом в нём значилось моё желание быть погребённым с репродукцией «Моны Лизы» на груди. Гроб должен был быть покрыт российским флагом, а во время церемонии должен был звучать шубертовский квартет «Tod und das Maedchen» («Смерть и девушка»).

И теперь, спустя полвека, музыка Шуберта остаётся одной из самых любимых. Пусть не звучит она на моих похоронах, но, пожалуйста, помните, что я с самого детства люблю её. Неоднозначно отношение моё к российскому флагу. Думаю, не стоит уходить в вечность таким образом, ведь после смерти теряет всякий смысл национальность человека. Да и Мона Лиза мне там ни к чему.

Благодаря нашему благожелателю (Густав Густавович Кульман), я смог получить стипендию от «Фонда по спасению детей» и визу в Англию. 27 октября 1937 года я оставил Берлин. Мне было 17 лет, 15 из которых я провёл в Берлине.

Вадим Кумаков

Рассказы рыболова

Вряд ли найдётся на Волге мальчишка, который не брал бы в руки удочек. А если рядом отец — страстный любитель охоты, рыбалки и вообще природы, то и сыну не миновать стать таким же. Мои школьные годы прошли в довоенном Сталинграде, а студенческие и аспирантские в послевоенном Саратове. По окончании учёбы мы с женой уехали по направлению на работу в Белоруссию, где была очень дешёвая и благополучная жизнь и красивая природа. Но Волга, как мощный магнит, притягивает тех, кто на ней вырос, и в начале шестидесятых мы вернулись в Саратов, теперь уже навсегда, и застали здесь «море», обзавелись лодкой и за четверть века избороздили водохранилище от Саратова до Воскресенска вдоль и поперёк.

Но годы берут своё, стали подводить глаза. Я переписал нашу гулянку с мотором Л-12 на старшего сына, младший купил ещё катер с двумя «Вихрями», а сам я вместо рыбалок стал в свободные часы перебирать свои записки, скопившиеся за долгие годы охотничьих, грибных, а больше всего рыбацких походов и поездок. Так родились «Рассказы рыболова». Мне особенно дороги те из них, которые посвящены довоенным и первым послевоенным временам. Дороги прежде тем, что в них описываются места, теперь неузнаваемо изменившиеся или вообще исчезнувшие под водами рукотворных морей.

Пройдёт десяток-другой лет, и не останется уже в живых свидетелей той поры и тех мест, где природа была несравненно меньше, чем сегодня, тронута человеком.

Некоторые из этих рассказов и предлагаются читателю.

Максимкино

Отец мой не был опытным рыболовом. Он был заядлым ружейным охотником, отлично стрелял, и пока работал в «глубинке», на столе у нас в охотничьи сезоны не переводились утки, кроншнепы, вальдшнепы и прочая дичь, которую мать мастерски готовила, получая комплименты от всех гостей. Но вот переехали в Сталинград. Отец стал ревизором одного из краевых учреждений и двести дней в году бывал в командировках. В сезоны охоты он брал с собой ружьишко и, если выдавалось время, постреливал и привозил домой дичь, а если не удавалось, то покупал домашних уток или гуся, которые в деревнях были намного дешевле, чем в городе.

Изменить своему увлечению заставили его, по-видимому, два обстоятельства. Мать, бывшая до середины тридцатых годов домохозяйкой, устроилась на работу, и, когда отец уезжал, я целыми днями был предоставлен самому себе. К счастью, в дурные компании я не попал, зимой увлекался шахматами, чтением, бегал на лыжах по садику Карла Маркса, но летом больше, конечно, торчал во дворе с мальчишками.

Второе же состояло в том, что отец вспомнил о своём детском, ещё дореволюционном увлечении коллекционированием бабочек и решил приобщить к этому делу и меня. Смастерил сачок, расправилки, достал через «Букинист» прекрасные красочные атласы бабочек, изданные в начале века, накупил энтомологических булавок, заказал столяру-немцу аккуратные застеклённые ящики,

покрыл их дно торфяными пластинами (пенопласта, разумеется, тогда не было), оклеил сверху бумагой, заготовил этикетки, которыми должна снабжаться каждая бабочка. И дело пошло!

Ездили чаще всего на Разгуляевку, где недалеко от силикатного завода была сосновая роща, а с другой стороны от конечной трамвайной остановки — широкая живописная балка, по склонам и на дне которой рос дикий терновник, другие кустарники, великое множество разных трав. Защищённые от ветра бабочки там буквально кишели, и мы всегда возвращались с богатым уловом. Отец стал брать меня с собой и в командировки. Мы объехали много прекрасных мест, главным образом по Хопру и Медведице. Всюду у отца уже были знакомые хозяйки, у которых останавливались на постой, чаще всего с харчами, пили парное молоко, лакомились каймаком и иной деревенской снедью. Я знакомился с местными ребятами, купался, ловил бабочек и жуков, а вечерами мы с отцом расправляли их.

В первые сталинградские годы отец с матерью предпочитали отдыхать на пароходах, путешествуя на «Чичерине» до Горького и на «Иване Кабакове» до Перми. Брали, конечно, и меня. Помню матроса, стоявшего на носу парохода с длинным шестом, раскрашенным в белый и чёрный цвета, и зычно выкрикивавшего глубины на перекатах. Случались посадки на мель, а «Кабаков» даже столкнулся с другим пароходом, правда, без серьёзных последствий, но с большой обоюдной руганью. Теперь же, в конце тридцатых годов, мы стали ежегодно ездить в отпуск в Урюпинск, где было отличное купание, грибные места, уйма бабочек, дешёвый базар и уютный ресторанчик прямо в лесу на берегу Хопра, освобождавший мать от возни с обедами.

Частенько отец выезжал в Камышин, Саратов и Астрахань, входившие в состав края. Командировки были более длительные, и туда меня отец не брал. И я присоединился к дворовой компании мальчишек, частенько ходил с ними на рыбалку, сначала в пределах города, а потом и с выездом с ночёвками. Может быть, понимая, что одними бабочками подрастающего парня не займёшь, и не желая отдаляться от меня, отец тоже решил приобщиться к рыбалке. Рыболовный опыт у меня был больше, чем у отца, но мы с ребятами ловили только на коренной Волге и никогда не ходили на озёра и протоки. Отец, правда, рассказывал, что, живя в Дергачах, он рыбачил на Алтатинских прудах, где якобы водились щуки, которые хватили плавающих на пруду уток, а попав на крючок, таскали за собой лодки-плоскодонки тамошних рыбаков.

Так вот, за год до войны мы впервые отправились на Тумак вдвоём с отцом, наслышавшись о здешних необыкновенных рыбных озёрах и ериках. Разумеется, оба мы не имели понятия, где, что, когда и на что нужно ловить, и неудивительно, что в первых походах нас преследовали неудачи — мы не могли хорошо поймать даже там, где рыба кипела, как в садке. Перелом наступил, когда отец, которому надоело мотаться по командировкам, перешёл в другое учреждение и познакомился там с замечательным рыбаком и компаньоном Петром Николаевичем Воскобойниковым. Но о нём позже, сначала — о наших первых, во многом смешных неудачах.

В тот первый раз мы поехали на рыбалку, когда весенний подъём воды только начинался. Сойдя с пристани, мы последовали за одной из групп рыбаков. Шли по проторённой тропе, местами в ложбинках под травой бежали тоненькие ручейки. Наконец тропа упёрлась в довольно широкую протоку, расходясь по её берегу вправо и влево, и шагавшие впереди нас рыбаки тоже разошлись в разные стороны. Мы свернули вправо и через сотню метров решили остановиться. Судя по голосам, кто-то из рыбаков остановился недалеко от нас. Берег протоки был не высок и не низок, крутоват и удобен для ужения. Вечерело, но ещё можно было немного половить. Увы, клёва не было, перебираться же дальше по незнакомым местам было неразумно, и мы устроились на ночлег, уповая на утро и полагая, что рыбаки, видимо, здесь уже бывали и знали места. Палатки, как у всех довоенных рыбаков, у нас, конечно, не имелось. Старенькое пальтишко или ватник, вытертое одеяльце и рюкзаки под головой устраивали вполне.

Утром и разыгрался спектакль, который после вспоминался со смехом, а тогда изрядно потрепал наши, особенно отцовские, нервы. Лески на наших удочках были одинаковые, шёлковые, но моё удище покороче, а крючок поменьше — такой, какими мы обычно удил с ребятами чехонь и густеру. Отец мог забрасывать подальше и отпускать леску поглубже, крючок у него был посолиднее. Я начал ловить первым, но клёва не было. Отец, развесив вещички по

кустам для просушки, через несколько минут забросил тоже, и... поплавок, едва коснувшись воды, ушёл вниз. Отец потащил, удилище согнулось, над водой взлетел сазанчик, мы даже не успели рассмотреть, какого он размера, и плюхнулся обратно в воду. Когда отец взялся за крючок, чтобы насадить нового червя, в руках у него оказалась голая цевка, остальная часть крючка была отломана. Чертыхнувшись и привязав точно такой же новый крючок, отец вновь забросил — повторилась та же история, с той только разницей, что сазанчик упал в воду у самого берега, и мы успели прикинуть, что в нём было граммов четыреста-пятьсот. Не мог такой сазанчик сломать нормальный крючок!

Дальше всё шло как в весёлой комедии. Проклиная фабрику, выпустившую эти крючки, и желая её директору провалиться в тартарары, отец с выпученными глазами и трясущимися руками менял крючок за крючком. Когда сломался последний, у отца было всего четыре сазанчика, которых всё-таки удалось вытащить. Я отпустил леску, не оставив никакого сгона и надеясь, что удилище не подведёт, отец привязал такой же маленький крючок, как у меня, и в две руки мы вытащили ещё несколько сазанчиков. Но клёв вдруг разом и начисто прекратился. Мы пытались бросать ещё некоторое время — всё тщетно. Ну что же, для первой рыбалки улов был вполне приличным.

Вскоре сверху по течению протоки подошли два рыбака.

— Что, как ножом отрезало? — спросил один из них и, не дожидаясь ответа, пояснил: — С бреднем залезли, гады! Местные архаровцы. Ну да ладно, надо к пристани двигаться, вода прёт всюю!

Мужики закурили, расспросили о наших успехах, посмеялись над ломкими крючками. Один из них, разбирающийся в металле, заметил, что такое может быть только со ржавой проволокой, которую покрыли лаком и выпустили заведомо негодный товар.

— А всё же жаль уходить, на такой клёв не всякий раз попадёшь, — пробасил тот, который до сих пор больше молчал, — что поделаешь, сазан — не густера, шума не любит. Да они протоку-то почитай всю перехватили.

Мужики ушли. Мы перекусили, собрали вещички и тронулись к Волге. Что вода «прёт», мы убедились воочию. В ложбинах, где вчера было сухо, теперь трава была в воде, где переходили едва засучив брюки, сегодня было по колено, и вода бешено неслась, крутя водовороты вокруг стволов кустарников, неся сухой валежник и прошлогодние сухие листья. Особенно неприятно было идти по широкому затопленному лугу: вода всего по колено или чуть выше, но не знаешь, что ждёт тебя со следующим шагом, тропы уже не видно, и если плохо знаешь местность, то недолго и заблудиться, упереться в какую-нибудь глубокую протоку и отшагать не один лишний километр. С половодьем не шутят! На наше счастье, вода поднялась ещё не очень высоко, и мы благополучно вышли к пристани. Уставшие и разморённые припекавшим солнцем, мы с облегчением плюхнулись на сидения пароходика.

Недели через три-четыре, когда вода вошла в берега, отец, наслышавшись от кого-то о необыкновенно рыбном озере Сазаньем, выкroив дополнительный выходной, отправился со мной туда в пятницу на две ночи. Народу на трамвайчике было совсем мало. В нижнем салоне сидел старик, рядом лежали большой рюкзак и толстая связка удочек. Толстенные комлевые звенья удилиц, громадные поплавки из коры, любовно выкрашенные в два цвета, и полуметрового диаметра сачок, связанный с удилицами, бесспорно выдавали в нём любителя крупной рыбы. Ну а если добавить, что кроме осетровых, которых на удочки не ловят, самая крупная рыба на Волге — старый сазан, то было очевидно, что старик — сазанятник. Я уже видел таких рыбаков на Волге, слышал о ловле пудовых сазанов, но ни разу мне не приходилось наблюдать сам процесс вываживания такой могучей рыбины. Как-то, возвращаясь с ребятами с рыбалки по берегу Волги, мы тихохонько обошли рыбака, сидевшего сгорбившись на рыбацкой скамеечке и, кажется, дремавшего. Перед ним лежали на рогульках два больших удилица. Рыбак встрепенулся, встал, расправляя затекшие члены, и посмотрел на солнце, определяя время.

— Что, хлопцы, двигаемся к дому? Пора!

— А вы, дяденька, поймали что-нибудь? — робко спросил я.

— Взял одного, а один сошёл, оборвал, чертяка!

У самой воды лежало наполовину вросшее в песок бревно, за ним торчал кол, от которого тянулся через бревно в воду толстый шпагат. Мы заглянули за бревно и увидели только хвост и чёрную спину рыбины, стоявшей головой к глубине.

— Тяжёлый, наверное? — спросил я.

— Бывают и побольше, а в этом, думаю, поменьше полпуда.

Сёмка взял в руку натянувшийся шпагат, но не посмел подтягивать его. Мы постояли ещё минуту и, сказав рыбаку, сами не знаем за что, «спасибо», двинулись к пристани.

Наш нынешний попутчик был, без сомнения, из той же породы, и отец принялся расспрашивать его, знает ли он дорогу на озеро Сазанье. Старик скептически посмотрел на наши жидкие удилища, лески и поплавки, потом на нас.

— А вам-то зачем?

— Да хотели посмотреть, интересное, говорят, озеро. Может, и половим чего? — отвечал отец, несомненно, поняв смысл стариковского скепсиса.

— Рыбы там действительно прорва, да взять её редко кому удаётся! Не советую время тратить, шли бы лучше на Максимкино, там теперь линь должен начать брать, а удочки ваши как раз по линю.

— Почему же не удаётся? — допытывался отец.

— А вот если всё-таки пойдёте, сами и увидите. За мной и идите, я ведь туда. Только уговор: до озера доведу, а там за мной не тянитесь, я люблю один посидеть, без наблюдателей. Озеро не малое, всем места хватит.

Несмотря на предупреждения старика, мы всё же отправились за ним — разбирало любопытство, да и в запасе у нас был ещё один день, так что в случае неудачи успели бы порыбачить в другом месте. До озера дошли быстро. Тропинка нырнула в заросли тальника, и через десяток метров мы вышли к воде.

— Ну, устраивайтесь где приглянется, а я пойду на свои места, — обернувшись и поклонившись нам, объявил старик и, ускорив шаг, направился дальше по тропе, огибающей озеро.

Само озеро запомнилось мне в самых общих чертах: длинное, довольно узкое, сплошь окружённое тальником и, по-видимому, глубокое. Осело в памяти другое. Ещё днём беспрестанно слышались всплески крупной рыбы, а ближе к вечеру над озером стоял сплошной шум, как будто по всему озеру кто-то непрерывно шлёпал досками по воде. Заворожённые этим, мы выбрали местечко и попытались ловить, но нас ждало полное разочарование. Поплавки теребила какая-то мелочь. На привязанные нами крупные крючки она не ловилась, а когда я поставил маленький крючок, то стал одну за другой выдёргивать мелкую густерку — «лавушку», на которую и смотреть было тошно. Ради такой добычи не стоило кормить комаров, которые здесь в талых заедали и среди белого дня, а к вечеру стали невыносимы.

Когда солнце скрылось за талами, мы свернули удочки и, пока совсем не стемнело, вернулись на берег Волги, чтобы порыбачить там утром. Что же было делать: никакие наши ухищрения не помогли. Мы удлиняли лески, чтобы забрасывать подальше, смастерили из пробок, которыми были закрыты наши бутылки с водой, крупные поплавки, насаживали на крючки пучки червей или большие катыши хлеба. Такая снасть не реагировала на мелочь, но поклёвок крупной рыбы мы так и не дождались.

Утром, поймав немного приличной густеры и чехони, мы решили не оставаться на вторую ночь и вернуться домой. Ждали трамвайчика, привалившись на берегу, когда к нам подошёл наш вчерашний спутник.

— Вы куда пропали? Что-то я вашего костра не видел! — приветствовал нас старик, ставя на землю корзину и сбрасывая с плеч рюкзак. — Как дела-то?

— Ну я же вам говорил! — засмеялся он после того, как отец рассказал о наших бесплодных попытках. — Сам когда-то всё перепробовал, пока дошёл до истины. А теперь могу и похвалиться!

Старик пододвинул корзину, снял прикрывавшую рыбу траву, и мы увидели крупных, по

полтора— два килограмма, сазанов. Я даже попробовал корзину на вес. В ней было наверняка больше десяти килограммов.

— Удочки у нас не те, — проямил я, не скрывая зависти.

— Удочки — это одно, — отвечал старик, — но тут и ещё секрет есть. — Он хитро прищурился, подняв вверх указательный палец. — Ладно, если ещё встретимся — расскажу, — добавил он, оглядываясь на подошедших к пристани новых рыбаков, с любопытством заглядывавших в его корзину.

— Силён, папаша! — заметил кто-то из них.

Однако встретиться со стариком нам больше не довелось: увлеклись рыбалкой в новых местах и были и без сазанов довольны своими успехами. Но в жизни бывают удивительные совпадения. Эвакуируясь из Сталинграда в сорок втором году, мы на одном из привалов в заволжских займищах разговорились с пожилым попутчиком и между прочим рассказали ему о нашем походе на озеро Сазанье.

— Ба! Да это же Иван Филиппович! — воскликнул мужчина, когда я подробнее описал внешность старика, проводившего нас на это озеро. — Его же все сазанятники знают! А мы-то с ним на Даргоре через два дома живём, вернее жили. Сгорели наши домишки, сгорели... Иван Филиппович разную рыбу ловил, — продолжал наш попутчик, раскурив самокрутку, — но больше всего увлекается сазанами. Так он что делает: если беспокоит мелочь, как на Сазаньем, — это он мне сам рассказывал, — он большой катыш теста обваливает перед забросом манкой или толчёными сухарями. Пока насадка идёт на дно, вода смывает крупинки и на них набрасывается мелочь, оставляя в покое тесто. А сазан-то тут как тут! И места, конечно, знает — это он от отца ещё перенял, знаменитый был рыбак, царство ему небесное! А Иван-то Филиппович с женой собирались в Гурьев пробираться. У них там сноха — солдатка. Может, бредут где-то, как и мы.

Испробовать рецепт Ивана Филипповича мне так и не пришлось. Когда после войны у меня опять появилась возможность заняться рыбалкой, сазаны на Волге, по крайней мере в районе Саратова, почти перевелись по вине «экологии». Говорят, правда, что в последние годы они снова стали попадаться, но мне ловить их не приходилось. Но вот как-то в газете «Сельская жизнь», в «Советах рыболову», я вычитал точно такой же совет по части отвлечения мелочи при ловле крупной рыбы.

Но вернёмся в тот тысяча девятьсот сороковой год. Перелом в наши озёрные рыбалки внёс уже упомянутый Пётр Николаевич Воскобойников, или просто Пётр, как звал его отец, а я — дядей Петей. Личность была очень примечательная. Среднего роста, с крупным, как говорят, «лошадиным», зимой и летом кирпично-красным лицом, очень подвижный и острый на язык, он привлекал к себе внимание в любой компании. Жизнь, видимо, крепко потрепала его, как и многих из тех, чья юность прошла в годы революции, гражданской войны и разрухи. Он говорил по-татарски, хотя не был татарин, знал азбуку глухонемых, хотя таковых в семье не было, умел с поразительной быстротой плести рыболовные сети и бредни, чинить и даже шить обувь и многое другое. Предшествующая биография Петра мне незнакома, а с сорокового года он работал финансовым инспектором, кажется, в отделе госдоходов, и, как говорил отец, на работе его ценили, несмотря на один его недостаток: приходя на работу совершенно трезвым, он к концу дня становился «тёпленьким», хотя никогда не был сильно пьян. Как я убедился самолично, очень мало он пил и на рыбалке. Отец утверждал, что Пётр приносит на работу «чекушку» в боковом кармане и, выходя в туалет, отпивает из неё понемногу, растягивая удовольствие на весь день.

Мне Пётр запомнился прежде всего как рыбак. Здесь он был виртуозом. Кроме умения выбрать место и время лова восхищали его мгновенная реакция на поклёвки и особенно замечательные руки. И дело было не только в его тонких ловких пальцах. Во всяком рукоделии он находил какой-то свой наиболее рациональный способ и последовательность движений. Я это заметил, ещё когда он учил меня плести сети. Дело вроде нехитрое: зацепляешь челноком очередную ячейку, подтягиваешь к лещотке, широко взмахиваешь челноком, чтобы образовать петлю, продеваешь через неё челнок и затягиваешь узел. Так вот, Пётр, во-первых, выполнял все движения быстрее, а главное, не клал широкую петлю, а делал короткий взмах и как-то ловко

сочетал его с последующим движением челнока сквозь петлю. Столь же виртуозно быстро он снимал с крючка рыбу и насаживал нового червя. К рыбному садку у него, разумеется, был подшит обрезанный снизу женский чулок с проволочным кольцом на верхнем конце, которое крепилось на длинной палке поближе к рыбаку. В итоге Пётр только при самом бешеном клёве переходил на одну удочку, чаще же ловил на две-три, которые мелькали в его руках, как у фокусника, а в его садке всегда оказывалось больше рыбы, чем у нас двоих вместе взятых. Кто знает: если бы были другие обстоятельства молодости, из него вышел бы первоклассный хирург или музыкант (он отлично играл на баяне). Но и в нынешнем своём качестве с его неполным средним образованием он становился мастером всякого дела, за которое брался.

Пётр был остр на язык и за словом в карман не лез. Если ругался, то не бездарно и бессмысленно, как большинство любителей матерщины (которым он, кстати, не был, по крайней мере, в моём присутствии), а остроумно и хлётко, вызывая смех и одобрение слушателей.

Его острословие однажды чуть не довело нас до беды. Было это потом в Саратове, куда Пётр с семьёй эвакуировался, как и мы. Отправились мы на рыбалку в займища ниже города, и к месту вели тропы вблизи охранной зоны железнодорожного моста через Волгу. В темноте мы, видимо, сбились с пути..

— Стой! Кто идёт? — раздался вдруг грозный окрик.

— Чёрт попа несёт! — отвечал Пётр, продолжая шагать дальше впереди нас.

— Стой, так вашу! Стрелять буду! — Мы услышали клацанье затвора. Остановились. Раздался свисток — очевидно, часовой вызывал разводящего.

— И долго я так стоять буду, как новобранец перед сержантом? — не унимался Пётр.

— Если надо, то и полежишь, сколько потребуется, — отвечал тот же бас уже более примирительным тоном.

Минуты через три-четыре подошли двое, один с винтовкой, другой, с пистолетом у пояса, светя мощным железнодорожным фонарём, потребовал документы. Документы в военное время мужчины всегда носили с собой, так что дело ограничилось лёгкой руганью, перешедшей потом в мирный разговор.

— Проводи их, Пётр, до развилки, — приказал тот, что с наганом, своему спутнику.

— Значит, тёзки мы, — заметил наш Пётр, шагая следом за солдатом. — А этот-то ваш басовитый мог бы и прихлопнуть меня, а?

— Да нет, он сначала в воздух бы выстрелил, а уж потом...

Что было бы потом, осталось неясным, поскольку мы как раз добрались до развилки, у которой сбились с пути, и, отсыпав тёзке Пётра табачку, распрощались с ним.

Так вот, в первую же совместную рыбалку Пётр повёл нас на озеро Максимкино. Собственно Максимкиных было два. Большое Максимкино с низкими, постепенно уходящими в воду и заросшими травой берегами было неудобно для ужения. Местами в широкой полосе прибрежной травы и камыша зияли бреши — явные следы набегов любителей бредня. По словам Петра, Большое Максимкино, богатое карасями, спасали от оскудения изрядная ширина озера и тинистое дно, не позволявшее вычерпать всех карасей. Малое Максимкино, напротив, было словно самим Богом предназначено для любителей поплавочных удочек. Крутоватые, но не очень высокие берега, узкая полоса куги у берегов, плоское дно с глубинами полтора-два метра и расположенная рядом дубовая роща — всё это создавало ощущение райского уголка для рыбаков. В озере водилась и плотва, и мелкие щуки, и окуни, но главным его богатством были лини. Рыбаков на озере было всегда немного, может быть, потому, что линь не всем нравится и не всегда клюёт, а ходьбы до Максимкина от пристани восемь вёрст. Были рыбные озёра и поближе.

Пётр привёл нас сюда потому, что как раз начинался клёв линя. Здесь я впервые и увидел этот клёв. Представьте себе тёплый июньский вечер и зеркальную гладь озера, то тут, то там нарушаемую тихими всплесками рыбы. Линь не выскакивает из воды, а, поднявшись к поверхности, виляет хвостом и уходит вглубь. Изредка у границы травы выпрыгивает окунишка или щурёнок, и опять тишина.

Поплавки стоят неподвижно. Но вот один из них поплыл медленно, с остановками. Он не

ложится горизонтально, как при клёве леща, а плывёт почти не наклоняясь, потом наклоняется чуть сильнее и медленно уходит в воду. Подсечка, и трёхсот-четырёхсотграммовый линь — именно такие преобладали в Максимкине — у вас на крючке. Пётр учил меня подсекать и при движении поплавка до его погружения, но для этого нужны мгновенная реакция и опыт, и подсекать нужно не вверх, а вбок в направлении, противоположном движению поплавка. У меня это плохо получалось.

В ту первую рыбалку мы с отцом поймали штук по семь-восемь почти одинаковых калибром линей, Пётр — гораздо больше, но крупных линей и у него не было.

Кроме нас на озере сидел поодаль ещё один рыбак, он подошёл уже в темноте к нашему костру.

— Не прогоните?

— Подсаживайся, — отвечал Пётр, — дыма не жалко! Ну что, клюёт линёк-то?

— Клюёт! Но крупный только один попался. Красавец! Килограмма на полтора.

Посмотреть «красавца» мне тогда так и не удалось, и мы, и тот рыбак оставили садки в воде в уверенности, что водяных крыс в озере нет: домой мы попадём почти через сутки, а линь — не карась, в такой духоте он, даже обложенный травой, может испортиться. Мужик оказался словоохотливым сталеваром с «Красного Октября». Через четверть часа мы уже знали всё о его работе, семье и домашнем хозяйстве.

— Мне везёт, — рассказывал он, — и было неясно, употребляет он это слово в положительном или ироническом смысле, — сын в кадровой армии и зять тоже. Сын-то лейтенант, танкист, уже отвоевал на Халхин-Голе, теперь стоят где-то на Амуре, а зять уже капитан, лётчик, увёз дочку на западную границу в Белоруссию. Как, по-вашему, война будет?

— Война уже идёт, хотя пока и без нас, — заметил Пётр, — Адольф-то глотает страны, как удав кроликов. Ну мы вроде на кролика не похожи, может, побоится подавиться. Лишь бы не стакнул нас с другими акулами.

— Да-а, — согласился мужик, — пока у нас с ним дружба. Пишет дочка, эшелоны в Германию так и прут, а насчёт того, как в обратную сторону, ничего не пишет. Может, не положено про это писать или наши идут днём, а ихние ночью? А у меня ещё младший подрастает, на будущий год тоже шинель оденет. Но в кадры идти не хочет, отслужу, говорит, срок и приду к тебе на завод. Специальность наша трудная, но почётная, и платят нормально.

— А правда, — включился в разговор я, — что у вас, сталеваров, руки обгорают так, что кипятки на ладонь можете лить — и ничего?

— Это верно, — засмеялся мужик, — не только кипятки, но и уголёк нипочём. — Он вытащил из костра маленькую головёшку, положил на одну ладонь, перекинул на другую, подкинул вверх, поймал и бросил обратно в костёр.

— Как же ты червей-то насаживаешь такими лапами? — спросил Пётр.

— С червями управляюсь, а вот с мотылём на зимней рыбалке беда. Слышал, что кто-то из наших инженеров привозил из Швеции крючки расщеплённые вдоль, с ними, говорят, удобнее, но я сам не видел, больше на мормышки ловлю, сам их и делаю. Приходите, адрес дам, могу поделиться.

— Да нет, спасибо, конечно, но мы зимой не рыбачим. Я-то зимой сапожным делом подрабатываю, сетки плету, чтобы уж летом отвести душу. Вон ведь какая благодать. — Пётр закинул голову, глядя в усыпанное звёздами небо. — А Максимкино? Душа отдыхает, и не надо никаких курортов.

— Что верно — то верно! Предлагали мне путёвочку в Сочи, отказался. Лечиться пока не от чего, а так — что я там буду делать? С бабами крутить вроде не к лицу, в домино дуться и здесь можно, а уж про рыбалку нашу и не говорю! Какие там Сочи!

Разговор затих, я начал клевать носом, и, заметив это, отец предложил укладываться спать.

Утром клёв был похуже, чем вечером, но всё же мы поймали по несколько линей, попались плотвички, а я даже вытащил щурёнка граммов на триста. Он схватил попавшуюся на крючок плотвичку и выпустил свою добычу из зубов слишком поздно, плюхнувшись уже не в воду, а на

траву, где я успел накрыть его ладонями.

В следующую субботу меня затряс приступ малярии, и, оставив меня с матерью глотать акрихин, отец с Петром отправились на Максимкино одни. Они попали на кульминацию клева линия. Когда отец вернулся, мы с матерью едва узнали его. Лицо, искусанное комарами, было похоже на красную маску в пупырышках, в таком же состоянии были шея и тыльная сторона ладоней, веки припухли, и даже увеличенные очками глаза смотрели на нас узкими щёлочками.

— Хоро-ош! — рассмеялась мать. — Как же на работу завтра пойдёшь, твои налогоплательщики решат, что ты с перепоя! И куда столько рыбы-то, дело уж к вечеру, — продолжала она, заглядывая в корзинку.

— Ничего, часть пожарим сейчас, соседей вон угости, а остальное я посолю, Пётр посоветовал, как с линиями управляться.

Линей было килограммов десять, не меньше, и сверху лежал очень крупный, весь, кроме тёмной спинки, золотистый в отличие от своих более мелких и тёмных собратьев.

— Как поросёнок! — воскликнул я.

— Да уж хорош! — Отец приподнял линия за голову и повертел туда-сюда, любуясь рыбной. — А знаешь, — заметил он, кладя линия обратно, — я ведь его тоже поросёнком обозвал, когда из воды вытащил. Значит, действительно похож!

Вскоре клёв линия кончился. В начале августа Пётр заявил, что поведёт нас на новое место, на Репинские ямки ловить, как он выразился, на уху-ассорти. Мы дошли до озера Максимкино, где ещё недавно успешно ловили линией, и хотели остановиться попробовать.

— Нечего, нечего! Всё! Амба! — возразил Пётр, рисуя свободной рукой символический крест в воздухе. — И, вообще, надоело в слизи руки марать, и половина моя линией уже видеть не хочет. Пошли, пошли! Вы ещё не видели, что такое рыба, когда её прорва!

Откровенно говоря, мы уже видели «прорву» рыбы на озере Сазаньем, но знали, что рыба в воде не обязательно будет на крючке. Об этом печальном опыте мы уже рассказывали Петру и потому, промолчав, покорно пошли за ним.

Вскоре подошли к ерику, в узкой части которого были перекинута два узких бревна, ходившие ходуном под ногами.

— Сделать как следует не могут, — ворчал Пётр, — деревня!

За ериком берег круто поднимался метра на три, параллельно ерику тянулась дубовая грива, по краю её шла тропа. Пётр свернул влево и, не пройдя и сотни метров, остановился.

— Прибыли! — констатировал он, сбрасывая рюкзак и валясь на траву. — Передохнём немного, всё же десяток вёрст отмерили.

Отец тоже прилёг, а я направился было к воде посмотреть, удобно ли будет ловить.

— Постой, постой, — остановил меня Пётр, — вот посидите немного и понаблюдайте.

Мы притихли, уставившись на воду. Нужно заметить, что Репинские ямки вполне оправдывали своё название. Ерик с самолёта, наверное, должен был казаться ожерельем: нить его — узкие места ерика, а жемчужины — повторявшиеся расширения или ямки. Ямка, возле которой мы расположились, была шириной не более десяти метров и длиной метров двадцать-двадцать пять. Вскоре мы поняли, что имел в виду Пётр, говоря о «прорве» рыбы. Несмотря на полный штиль — от ветра ямку защищала дубовая грива — вода в ямке не оставалась спокойной. Непрерывные круги, всплески рыбы, шевеления куги у обращённого к нам берега и камыша у противоположного более низменного — всё это создавало впечатление живорыбного садка.

— Мелочь, наверное? — предположил отец, обращаясь к Петру.

— Не скажи, Петрович, — возразил Пётр, — верно, крупной рыбы здесь нет, но если тебя устраивает плотва и краснопёрка от полфунта и больше, язёчки и голавли ещё покрупнее, иногда и сазанчики попадают, то ловлей будешь доволен. А клевать будет, почитай, целый день. Есть здесь и линь, и карась, но их сейчас только сеткой можно взять.

Мы посидели ещё немного, наблюдая за жизнью ямки. Да, именно жизнь бурлила в ней и над ней, десятки стрекоз и коромысел вились в воздухе или сидели на верхушках куги, на луговом берегу порхали бабочки, зимородок сидел на ветке одинокого вязочка, свесившейся

над водой, высоко в небе носились неугомонные золотистые щурки.

— Пожалуй, стоит сразу перекусить, а потом уж ловить до вечера, — предложил Пётр. — Кстати, метров через пятьдесят ещё одна большая ямка, так что можно разделить, а можно и здесь всем вместе, как хотите.

В справедливости прогнозов Петра мы убедились сразу. Клёв хотя и не был бешеным, но больших пауз никогда не возникало, и рыбка шла та самая, о которой он говорил. Забрасываешь и не знаешь, какая рыбка сейчас клюёт. Я старался предугадывать рыбу по характеру клёва. Вот кто-то теребит наживку, а потом или бросает, или топит поплавок прямо вниз — плотва! Вот поплавок резко наклонился и быстро пошёл в сторону, а потом под тем же острым углом уходит в воду — краснопёрка! А вот поплавок без всяких предупредительных движений исчез под водой, и кто-то отчаянно сопротивляется, сгибая удилище, — голавль! Попадался мне и сазанчик, и несколько окуней, не побрезговавших червями. Весёлая ловля! Когда солнце склонилось к горизонту, подошёл Пётр.

— Может, хватит на сегодня? Соорудим тройную уху, отдохнём, а для дома утром наловим.

Рыбы было больше ведра, и, когда мы в три ножа очистили её, Пётр начал священнодействовать, распределяя по видам и размерам на три кучки, и извлёк из рюкзака большой котелок с сетчатой вставкой, которого раньше мы не видели. Уха действительно получилась на славу, крепкая, душистая и сытная.

— Ну как? — спросил Пётр, когда мы наконец отвалились, поглаживая животы и тяжко вздыхая.

— Да-а, — протянул отец, — этот бы еричек ближе к пристани!

— Был бы ближе, рыбаков было бы больше, чем рыбы, — возразил Пётр, — здесь же любой мальчишка может наловить сколько хочет, только десять вёрст не всем охота киселя хлебать. Вы заварите-ка чайку, — добавил он, поднимаясь, — а я пойду сеточку на ночь поставлю.

— На черта сетка, когда и так наловим — не унести? — удивился отец.

— Наловим, если погода не испортится, но хорошо бы к этому набору ещё пару линёчков, да карасиков, да молоденьких щурят, а на удочки мы их вряд ли поймаем. — И Пётр, вынув из рюкзака сеточку, быстро зашагал к соседней ямке.

Он очень скоро вернулся, чертыхаясь и отмахиваясь от комаров.

— Заели, дьяволы, пока гольшом лазил. Вода-то ещё тёплая, а на воздухе что-то сегодня свежевато. — С этими словами Пётр достал из корзины четвертушку, отлил немного в кружку, выпил, заменяя кивком головы в нашу сторону традиционное «будьте здоровы», и закусил куском оставшейся в его плошке рыбы. — Ну теперь можно и чайку, — добавил он, приваливаясь рядом с нами у костра.

Разлили чай. Я поделился с Пётром своими наблюдениями за характером клёва разной рыбы и получил похвалу за наблюдательность.

— Слушай, Пётр, — вклинился в наш разговор отец, — и когда это ты успел все эти рыбные места разведать, определить, когда, где и что ловить?

— Здорово живёшь! Когда успел! Да я же здесь десятый год шатаюсь, все тропки и озёра и протоки знаю. Бывало, и без рыбы возвращался, но теперь мне разве только очень мерзкая погода помешать может. А потом, знаешь, я ведь не тот рыбак, что пришёл, закинул удочки и сидит. Клёва нет, а он сидит, ждёт, чего ждёт. — сам не знает. Нет! Я рыбу ищу, вернее искал, а теперь обычно иду уж наверняка туда, где именно сегодня поймать есть шансы. И то, знаешь, — продолжал Пётр с улыбкой после очередной кружки чая, — половина-то моя уже знает, конечно, что я рыбак не последний, и иногда нарочно начинает подначивать: «Мне, — говорит, — что-то надоели и лини, и окуни, и сазанчики, принёс бы хороших щучек, заливное сделаю.» А где я ей возьму щучек в разгаре лета — дело случая. Вот я и держу про запас лёгенькую фильдекосовую сеточку с тонюсеньким урезом, крохотными балберками и без грузил. Если ночью щук не попало, я днём раскину сеточку вдоль камыша, а потом захожу со стороны берега и шугаю, потом дальше вдоль камыша сеточку переставлю, непременно найду щучку-то. Впрочем, хвалить-ся этим грешно — таким способом сплошь и рядом в деревнях промышляют. Иногда у края

травы вся глубина-то полметра! Ничего, щука и на этой глубине свою добычу промышляет, иногда и очень крупная. Был случай — пробила насквозь сетку. А в общем, секрет прост: всё надо запоминать и примечать. Я одно время с термометром на рыбалку ходил — купил в аптеке спиртовой термометр в деревянной оправе, что для купания детей используют. Теперь уж так — ладошкой определяю, больше, чем на градус, вряд ли ошибусь. Век живи, век учишься.

Мы рыбачили на Максимкине и в Репинских ямках с переменным успехом ещё два сезона. Предпоследний раз — в июле сорок второго. Поймали много и были довольны, поскольку рыбалка стала уже и подспорьем к оскудевшему военному столу. В начале августа мы всё-таки опять побывали на Тумаке, на Репинских ямках. Возвращаясь мимо Максимкина, устроили привал у дубовой рощи, где провели не одну ночь. Постояли на берегу озера. Ветер гнал вдоль него небольшую волну, по небу плыли высоченные, как горы, тёмно-сизые кучевые облака, ближе к горизонту чернела грозозная туча, и уже не ощущалось прежней благодати.

Это было наше последнее свидание с Максимкиным. Мы поспешили домой, в город, к которому подступали немцы.

Минуло пятьдесят лет, но мне и теперь иногда снится Максимкино и поплавок, тихо скользящий по зеркальной воде. И мне почему-то кажется, что люди будущего, перестав уродовать природу, оборудуют множество хороших прудов, восстановят богатства оскудевших озёр и часть из них отведут специально для линий, для тихой, немного сентиментальной рыбалки, которую дарит людям эта симпатичная рыба.

Волчья кровь

Весна тысяча девятьсот сорок шестого года выдалась на редкость ранней, а в наших местах ранняя весна — это почти всегда засуха и неурожай. Так оно и случилось, из-за чего отмена хлебных карточек задержалась на год — до конца сорок седьмого. Когда же их отменили, ребята в университетском общежитии отметили это событие своеобразной объедаловкой: купили по буханке свежего, тёплого хлеба и по полкило сахарного песка на каждого, высыпали сахар на газету и макали в него хлеб, запивая ещё и сладким чаем.

Но это было потом, а в ту сверхраннюю весну сорок шестого, в солнечное воскресное утро, как сейчас помню, семнадцатого марта, я отправился прогуляться в займища, прилегавшие вплотную к северной окраине города, посмотреть, не появились ли хохлатки, и просто размяться после зимнего сидения за конспектами и учебниками. Наш сосед по коммуналке, которого все звали Володей, какой-то дальний родственник отца, предложил мне взять с собой его собаку — гончую Жалейку. Я частенько заглядывал к Володе, жившему вдвоём с матерью в большой, на два окна, комнате, слушал его рассказы об охоте или воспоминания его матери о дореволюционных временах, и для Жалейки я, видимо, был просто членом семьи.

— Там у лесника завелись два кобеля из овчарок, — напутствовал меня Володя, — могут кидаться, так ты не бойся, с Жалейкой бояться нечего.

Мы пошли. Солнце припекало всё жарче, я снял плащ, потом пиджак, а потом и рубашку. Жалейкин хвост демонстрировал её игривое настроение, а я наслаждался чистейшим весенним воздухом и картинками природы. С береговой полосы снег уже стаял, но держался в ложбинках, в тени деревьев и кустарников.

Показался домик лесника, на лавочке сидел мальчонка в возрасте первоклассника, около него лежали два здоровенных серых пса. Завидев нас, они приподнялись на передних лапах и разом понеслись в нашу сторону. Я успел подумать, что нужно выставить вперёд левую руку, через которую была перекинута снятая мною одежда. Но обороняться мне не пришлось. Жалейка бросилась навстречу псам, и через секунду один из них уже лежал сверху лапами, а Жалейка с рычанием трепала его за горло, второй же, поджав хвост, убежал к дому. Я подскочил к Жалейке и с трудом заставил её отпустить «добычу». В калитке показался хозяин, что-то сказал мальчонке, дал ему подзатыльник и подошёл ко мне. Зная его Жалейка уже добро-

душно виляла хвостом, а псы ретировались к воротам, пристроившись возле мальчишки. Лесник подал мне руку.

— Ты на нас не сердись, не уследишь за пацаном, он за ворота — и псы за ним, а им во дворе сидеть положено. Они, конечно, молодые, и злобы настоящей в них ещё нет, да ведь могут и напугать кого-нибудь до смерти. Ну и поделом Жалейка их потрепала, отцовская кровь! — Эта реплика относилась к отцу Жалейки Разбою. — Володе передай привет, — продолжал лесник. — Подожди-ка, я гостинец махонький передам. — С этими словами он направился к дому и скоро вынес тройку нанизанных на бечёвку крупных лещей холодного копчения.

Я поблагодарил, и мы с Жалейкой двинулись дальше. Меня не удивило, что псы так быстро ретировались: во-первых, молодые, во-вторых, кобели могут серьёзно подраться с сукой разве только из-за большого куска сырого мяса, обычно же уступают ей поле брани. Но мне понравилась сноровка, с какой Жалейка опрокинула пса гораздо более крупного, чем она.

Мы прошли около озера Щучьего, покрытого серым, уже губчатым льдом. Высокий — метров за сто — берег спускался здесь к займищу террасами, образовавшимися в результате оползней. Мы забрались на нижнюю террасу, где было теплее: берег, обращённый к юго-востоку, хорошо прогрелся, и на нём уже вовсю пробивалась зелень.

Когда мы вернулись домой и я рассказал Володе о Жалейкиной победе над псами, он заулыбался.

— Ну что я говорил! Не собака, а клад! Верна была моя идея, верна!

Я уже знал, что за этим последует длинная лекция из области кинологии и охотоведения, но не буду пересказывать её, а объясню, что кроется за словами лесника о Жалейкиной отцовской крови и за дифирамбами Володи по адресу своей собаки. Для этого мне придётся рассказать и о самом Володе, поскольку соль дела именно в его примечательной личности.

Володя родился в девятьсот пятом году в семье петербургского чиновника. Кажется, отец Володи был поверенным в делах графа Шувалова, управлял его петербургскими домами и принимал какое-то участие в воспитании детей графа. Во всяком случае, мать Володи показывала мне старые фотографии, где её покойный муж снят с молодыми Шуваловыми — братом и сестрой. У Володи были брат на четыре года старше и сестра тремя годами моложе. Однако отец их умер вскоре после рождения дочери. Оставшись с тремя детьми, мать Володи Лидия Александровна приняла энергичные меры: выхлопотала пенсию за мужа, а затем переехала в Саратов, где её отец Александр Львович Морозов был нотариусом и имел и возможности, и желание участвовать в содержании и воспитании внуков. Для этого он снял новую шестикомнатную квартиру недалеко от своей нотариальной конторы. Теперь это была та самая коммунальная квартира, в которой жили Володя с матерью и ещё пять соседей. Сама Лидия Александровна устроилась по петербургским рекомендациям и при содействии отца классной дамой в Мариинское училище. Дети росли, и сначала старший брат Андрей, а потом и Володя поступили в реальное училище, славившееся хорошим подбором педагогов и более демократичными по сравнению с гимназиями порядками. Сестрёнка Оля готовилась к поступлению в гимназию. В общем, жили не в роскоши, но и не в бедности.

Начавшаяся Первая мировая война мало что изменила в жизни семьи, в которой не было мужчин призывного возраста, только Лидия Александровна, придя из училища, наскоро перекусив и переодевшись, уходила в госпиталь как добровольная сестра милосердия.

Но вот грянул семнадцатый год — и началась для них другая жизнь, приходилось думать не о благополучии, а о выживании. Царская пенсия, естественно, исчезла, Мариинское училище закрылось, а в новой школе бывшей классной даме не нашлось места и удалось устроиться лишь на мизерную зарплату библиотекаршей. Отец её не потерял работу, но контора стала государственной, и доходы его резко уменьшились. Кое-как всё же сводили концы с концами. Володя и Ольга учились, Андрей кончил школу и ещё не похоронил мечту об университете, но пока нужно было помогать матери дотянуть до окончания школы младших детей. Он устроился сначала матросом на пароход, а зимой с помощью деда, знавшего весь город, пошёл счетоводом в какую-то новоиспечённую организацию. Дом, где Морозовы снимали квартиру, национализи-

рвали и набили битком новыми жильцами, оставив Морозовым хоть не одну, а две комнаты на семью из шести человек.

При НЭПе вроде появилась надежда на хорошие доходы от нотариального дела. Но — не повезло: Александр Львович подхватил дизентерию, а в больнице — ещё и воспаление лёгких, и в несколько дней умер. Пришлось и Володе, заканчивавшему последний класс, подрабатывать: овдовевшую бабушку Веру оформили дворником в соседнем квартале, а работу выполнял за неё Володя. Сама же баба Вера, знавшая языки, стала наниматься репетитором в семьи набиравших силу непманов. Положение семьи упрочилось. Андрей так и не поступил в университет, освоил бухгалтерское дело и получил приглашение потребсоюза на работу в одном из районов. Ещё ранее он женился, обзавёлся сыном и окончательно вылетел из материнского гнезда. Володя три года выполнял разные работы, пока Ольга не закончила учёбу, а потом всё-таки поступил в зооветеринарный институт.

Но беда приходит из-за угла. Сначала у Андрея, затем у Ольги обнаружился туберкулёз лёгких. В свои неполные тридцать лет Андрей умирал, кровь выходила чуть ли не стаканами. Врачи опустили руки. Спасение явилось неожиданно. Жил в Саратове старичок, вроде знахаря, правда с фельдшерским образованием. Он хорошо знал покойного нотариуса Александра Львовича, был чем-то ему обязан. Прослышав о бедственном положении Андрея, он тотчас отправился в Сердобск, где Андрей тогда жил, и предложил ему лечение по принципу «пан или пропал» — сулемой в сочетании с какими-то жирами и мёдом. Риск смертельный, но без лечения смерть была неизбежной и скорой, а предложение старичка давало хоть какие-то шансы. Условие было одно: лечение держать в строжайшей тайне, чтобы в случае худшего исхода не ставить старичка в положение преступника. Андрей согласился и... поднялся! Палочки Коха у него больше никогда не обнаруживались, и, прожив ещё шестьдесят лет, он никогда уже не болел ни бронхитами, ни пневмонией и вообще отличался отменным здоровьем.

Кстати сказать, туберкулёз Андрей подхватил в тюрьме, где просидел несколько месяцев. Проворовавшиеся дельцы из местного райпотребсоюза сделали нового бухгалтера козлом отпущения и многое свалили на него. Но дело распутали, выяснилось, что «утечки» средств и товаров произошли ещё до приезда Андрея в Сердобск. И если бы не старичок-лекарь, то пребывание в переполненной камере в соседстве с туберкулёзниками оказалось бы для Андрея равносильным смертному приговору. Увы! Ничего не изменилось в российских тюрьмах за последующие шестьдесят лет!

Вскоре открытая форма туберкулёза обнаружилась и у Ольги. Мать кинулась к спасителю-старичку, но он отказался лечить Ольгу по своей методе. Отказ объяснил разницей в конституции Ольги и Андрея. Действительно, Андрей с детства был крепким, атлетического сложения, в реальном училище занимался гимнастикой, ещё юношей работал матросом, грузчиком, Ольга же росла худенькой с впалой грудью и не имела никакой физической закалки. В этом ли крылась истинная причина отказа или у старичка были иные соображения, но кончилось тем, что Ольга умерла от чахотки, когда ей не было и тридцати лет.

Ещё раньше, но не чахоткой, заболел Володя.

В детстве и юности он не отличался от сверстников. Правда, очень любил спорить, при этом злился, начинал заикаться, но ни за что не уступал, даже если был заведомо не прав. Это, как говорила его мать, «ослиное упрямство» парадоксально сочеталось в нём с податливостью, уступчивостью в быту и нерешительностью, раздвоенностью при принятии важных решений.

Излюбленными темами споров уже взрослого Володи были политика и собаководство. Сам он слыл опытным охотником по зверю, отличным лыжником и стрелком, был завсегдаем охотсоюза и собачьих выставок. По поводу какой-нибудь неправильно оценённой собаки он мог спорить часами, и переубедить его было нельзя, будь его оппонентом хоть московское светило кинологии.

Так вот, во время одного из таких споров, разгоревшегося, к счастью, дома, Володя начал особенно сильно заикаться, захлёбываться слюной и вдруг упал и забился в конвульсиях. Эпилепсия! В дальнейшем припадки повторялись регулярно, хотя и не часто — два-три раза в год.

После припадка Володя всегда впадал в глубокий сон, и мать его сначала боялась, как бы он не замёрз, если припадок случится где-нибудь на зимней охоте. Однако припадки на природе с Володей никогда не случались — только на людях, часто — при возвращении с охоты в вагоне пригородного поезда или на корме парохода. Затевался разговор, инициатором которого обычно сам он и выступал, возникал спор, Володя кипятился, что и становилось толчком к припадку. Попутчики попадались разные, и бывало, что, очнувшись, он уже не обнаруживал около себя ни ружья, ни рюкзака.

После первого шока и мать, и сам Володя — люди образованные, но жизнью не избалованные — смирились с положением. В конце концов, рассуждала Лидия Александровна, мало ли замечательных людей страдали падучей, но это не мешало им создавать шедевры литературы, музыки, двигать науку.

Мать по-новому взглянула и на те странности в поведении Володи, которые замечала и раньше, но не придавала им большого значения. Действительно, некоторые суждения Володи сильно расходились с реальностью, но переубедить его не было никакой возможности. Суждения эти вращались, как правило, вокруг двух излюбленных Володиных «пунктиков» — политики и кинологии, не затрагивали быт и в сущности не мешали жить. И всё же Лидия Александровна сочла нужным поделиться своими подозрениями с профессором-психиатром, лечившим Володю: Столь высокий ранг лечащего врача объяснялся просто: профессор был товарищем родного брата Лидии Александровны, известного в городе детского врача. Заключение профессора было вполне определённым: одна из форм шизофрении.

— Вы не очень расстраивайтесь, — успокаивал профессор Лидию Александровну, — мы, психиатры, не всегда можем отличить, где кончается норма и начинается психическое расстройство. Володина болезнь развивается так, что с нею можно век жить, работать и не очень выделяться среди людей. Однако, учитывая ещё и эпилепсию, я посоветовал бы ему избрать работу, полезную для поддержания физической формы, лучше всего на открытом воздухе, но не связанную с постоянными контактами со многими людьми, возможными конфликтами, словом, с нервными перегрузками.

Володя воспринял совет вполне спокойно, и даже с видимым удовольствием. Он сразу же бросил институт, чтобы стать профессиональным охотником. Имеющийся опыт позволял рассчитывать, что в материальном отношении охота как-нибудь обеспечит их с матерью. В институте встретили его намерение с удивлением, поскольку о припадках там ничего не знали, а «странности» в рассуждениях принесли ему лишь репутацию фанатика-собаководы, и казалось естественным, что он станет ветеринаром, специализирующимся на собачьих болезнях. Мать же догадывалась, что столь быстрое и лёгкое решение Володи связано с главной «идеей», которой «болел» тогда Володя. Видимо, он полагал, что, освободившись от всяких официальных обязанностей, он быстрее претворит её в жизнь. И мать одобрила решение сына.

Зарабатывал Володя хорошо. Приобретя сотню капканов, он летом промышлял за Волгой сусликов в короткий период от их весеннего пробуждения до новой спячки, а зимой охотился с собаками на зайцев и лис, по договору с охотсоюзом травил стрихнином волков, в охотничье межсезонье собирал на продажу грибы и лесные ягоды, иногда подрабатывал как сторож на общественных огородах. Сдаваемая пушнина и лесные дары приносили деньги, суслиный жир на рынке брали большие чахоткой. И на своём столе постоянно было мясо — от суслиатины до молодой лисятины, не говоря уже о зайцах. Специалистом по водоплавающей дичи и вообще по птице Володя себя не считал и стрелял её исключительно для собственного стола — в августе и сентябре, когда кончалась суслиная страда, но ещё нельзя было стрелять зверя. Особенно хорошо Володя зарабатывал во время войны. За отсутствием охотников зверя расплодилось много, а сдаваемую пушнину отоваривали продуктами. Володя брал для дома муку, а водку, которую сам никогда не пил даже по праздникам, обменивал на базаре на другие продукты или вещи.

Но вернёмся в конце двадцатых годов. Главная идея, с которой носился тогда Володя, заключалась в выведении особой породы гончих собак с использованием волчьей крови. Хотя идея буквально горела в его мозгу, к её осуществлению Володя подступал не спеша и обдуманно.

Во-первых, нужно было завести хорошую не только по экстерьеру, но и особенно по рабочим качествам выжловку (сука гончей породы на жаргоне охотников-собаководов). На это ушло три или четыре года. Не знаю всех перипетий поисков, смены собак, но в конце концов выбор пал на чепрачно-рыжую русскую гончую Флейту, отличавшуюся неумолимостью, способностью крепко держать след и красивым голосом. Теперь предстояло добыть волчонка и вырастить его хотя бы до годовалого возраста, когда он может стать производителем. Володя объездил знакомых лесников и егерей, знавших волчьи логова, и с помощью одного из них взял выводок волчат. Себе оставил двух кобельков, назвав их вполне оправдавшимися потом кличками: Пират и Разбой.

Привезя волчат в город, Володя сначала держал их в комнате, выводя по очереди на прогулки, потом стал уводить на ночь в дровяной сарай. Волчата росли и зимой стали крупными зверями, наводившими ужас на соседей. Когда Володя вёл волка на короткой крепкой цепи к себе в комнату и в полутьме длинного коридора коммуналки сверкали глаза и белели страшные зубы, мамы и бабушки опрометью прятались по своим комнатам и из-за дверей неслись не радующие Володин слух реплики. Попытка надевать на Пирата и Разбоя намордники ни к чему не привела. Эту операцию поначалу не очень любят и дрессированные собаки, волки же сопротивлялись яростно, руки у Володи были искусаны, стало очевидно, что проделывать эту операцию ежедневно да ещё с двумя зверями — нереально.

Правду говорят, как волка ни корми — он всё в лес смотрит. Волки начали выть по ночам в сарае, от соседей посыпались жалобы управдому и участковому милиционеру. Какими уж словами и посулами уламывал Володя соседей, не знаю, но как-то он преуспел в этом. Мать Володи по секрету рассказывала, что якобы он пообещал домоуправше после вязки отравить волков, а их выделанные шкуры подарить ей — отличные прикроватные коврики.

Флейта, рядом с которой росли волчата, к ним пообвыкла, и в очередную весеннюю течку вязка удалась по очереди с обоими кобелями. Оставшаяся одна и усиленно питаемая Флейта разрешилась девятью щенками. Одни сразу были похожи на волков, у других ушки встали позже (у гончих уши отвислые), и в конце концов Володя оставил двоих, похожих на гончих — суку и кобелька. Назвал их в честь почивших родителей Пираткой и Разбоем. Конечно, как сетовал в разговорах со мной Володя, хорошо было бы оставить и других волкоподобных щенков для повторных скрещиваний, но условия коммунальной квартиры этого не позволяли.

Для Володи ценнее была Пиратка, так как для неё не составило бы труда найти в дальнейшем кобеля для вязки, тогда как вязать свою суку с Разбоем неизвестно какой породы не даст ни один порядочный хозяин. Но тут Володе не повезло. Как-то случилось, что Пиратку сильно придавили массивной дубовой дверью, ведущей из холодных сеней в кухню. Были повреждены тазовые кости, собака осталась хромой, и не было уверенности, что она сможет нормально выносить и родить щенков. После таких травм собаки часто становятся трусливыми и ни на что не годными. Однако Пиратка росла злобной и опасной. Володя не хотел окончательно терять её на тот случай, если с вязкой Разбоя ничего не выйдет, и отвёз её знакомому леснику для караульной службы.

Тем временем Разбой вырос совершенно уникальным псом. Ростом — намного выше породистой русской гончей, мастью же и всеми остальными статьями — в мать, больше того, он унаследовал способность гнать зверя с голосом, причём голос у него был красивый, трубный, и он вполне заслужил бы кличку Трубоч. Однако и кличку Разбой он тоже вполне оправдывал, поскольку своим отношением к разным живым тварям решительно отличался от гончей. Гончая не реагирует на птицу и проходит мимо курицы, даже не повернув головы. Другая домашняя живность, вроде коз, телят и поросят, её также не волнует. Разбой же из всего живого признавал только авторитет человека и хозяина слушался, как хорошая овчарка, а всё остальное — от цыплёнка до телёнка — он полагал заслуживающим преследования и пригодным для съедения. Пара котов, привыкших к мирному сосуществованию с дворовыми псами или считавших, что выгнутая спина и шипение достаточны для обороны, поплатились жизнью за свою доверчивость. Собак, знакомых ему со щенячьего возраста, Разбой не трогал, но горе было любой пришедшей

собаке, если она не успевала шмыгнуть в подворотню, куда Разбой не мог пролезть: зубы его не знали пощады. Разумеется, владельцы котов и собак начали роптать, и пришлось перевести Разбой на привязное содержание, что для гончей совсем не желательно.

В первую же прогулку в поле Разбой обнаружил своё равнодушие к домашней скотине. По городу Володя вёл его на поводке, но немного не доходя до окраины, за которой начинались обширные займища, отпустил с поводка. Разбой побежал вперёд, свернул в какой-то переулочек и вдруг подал голос. Володя подумал, не лисичка ли забрела в посёлок в поисках курятины — такое бывает, но тут гон оборвался. и послышались хрип и рычание Разбоя. Добежав до переулка, Володя увидел смешную, но отнюдь не радостную для него картину: разъярённый Разбой, пригнувшись и рыча, явно готовился к решающему прыжку на козла, который выставил внушительные рога. «Хорошо, что не ярка или козлёнок», — подумал Володя, унимая Разбоя и снова беря на поводок.

Как я уже говорил, главенство человека Разбой признавал, и даже дети играли с ним без опаски, у местных мам не было повода для претензий. И всё же полуволчий нрав приносил неприятности Володе, а потом погубил и самого Разбоя...

Первая крупная неприятность случилась на очередной охоте. Большинство лесников Володе были знакомы, и обычно к вечеру он выходил к очередному кордону и, поболтав с хозяевами, устраивался на сеновале, а зимой — и в горнице. Так было и на этот раз. Хозяин имел двух отличных борзых, кобеля и суку, которые, конечно, встретили Разбоя недружелюбно, а его самого Володя с трудом удержал от драки. Во избежание недоразумений хозяин на ночь посадил своих псов на цепи, «даму» — у крыльца, кобеля — у дровяного сарая. Володя же взял Разбоя с собой на сеновал, посадил на ременный поводок, прикрыл массивную дверь и, полагая, что этого достаточно, не задвинул засов. Подвыпивший за ужином хозяин, видимо, спал крепко, а Володя хотя и не пил, но после пройденных за день трёх десятков вёрст тоже проснулся не сразу, когда со двора послышались лай, рычание и хрипение дерущихся собак. Наконец он, а за ним и разбуженный жёной хозяин выскочили во двор, и им предстала такая картина. Сука, захлабываясь лаем, рвалась с цепи, у крыльца Разбой, уже разобравшийся, что перед ним не подлежащая драке особа женского пола, лежал на недосыгаемом для неё расстоянии, похлопывая по земле хвостом, а увидев хозяина, поджал оный и ретировался обратно на сеновал; на его шее болтался обрывок перегрызенного ремня. У дровяного же сарая лежал кобель, и на его белоснежной шерсти атели пятна крови. На плече и на голове были с мясом выдраны куски шкуры. Конечно, цепь помешала бедному псу сражаться. Хозяин бросился к собаке — она была мертва. Потом уже Володя обнаружил, что у Разбоя был основательно располосован нос, порвано ухо, глубоко прокусана ляжка левой ноги.

— Что же теперь делать? — только и мог выговорить лесник, бывший на Володино счастье, не вспыльчивым и не злым.

А делать было нечего: пришлось Володе платить за собаку и крепко задуматься, что дальше делать с Разбоем. Держать всё время на цепи — это не для гончей, а оставлять свободным — недолго и до несчастья, худшего, чем гибель борзой. Расстаться с псом ещё можно было бы, но как расстаться с идеей?! Оставался один выход — получить как можно быстрее потомство от Разбоя. Но где взять приличную суку: не вязать же Разбоя с матерью — Флейтой. Наконец удалось договориться с одним гончатником — использовать его суку Арфу, а Флейту повязать с нормальным кобелём с тем, чтобы её щенков взял хозяин Арфы, которому это было выгодно: Флейта на всех выставках проходила выше Арфы.

Арфу с Разбоем повязали осенью. Вязка удалась, и в ожидании помёта Володя отправился в северный лесистый район области поохотиться по чернотропу. Там и завершилась домашняя история Разбоя. В один из выходов Разбой взял след. По голосу чуть более хриплому и злобному, чем обычно, Володя понял, что пёс бежит по следу не зайца и не лисы, а, видимо, волка. Володя попытался остановить, отозвать Разбоя, но тщетно. Гон всё удалялся и удалялся и вскоре не был слышен. До самого вечера ждал Володя на опушке, с которой ушёл Разбой, но пёс не вернулся. Осталось только гадать о его участи. Может быть, подбадривал себя надеждой

Володя, если попалась молодая волчица, то заведут они с Разбоем семью, но скорее всего волки разорвут пса. Впрочем, стаями в это время волки ещё не ходят, а одинокий волк, даже матерый, может и не одолеть Разбоя, но едва ли искусанный и истекающий кровью пёс дойдёт до хозяйина и тем более до кордона лесника, где ночевал Володя. В общем Разбой пропал и теперь все надежды были на его потомство.

Не знаю дальнейших селекционных усилий Володи. Но когда в январе сорок третьего года мы появились в Саратове, у Володи было две собаки — дочь Разбоя Жалейка и её сын Стонало. Как признался сам Володя, Жалейка была по рабочим качествам лучшей из всех когда-либо бывших у него собак. Кобелёк Стонало летом того же сорок третьего года — ему не исполнился и год — был ранен в ногу из боевой винтовки стоявшими под Саратовом зенитчиками, то ли принявшими его в сумерках за волка — так они оправдывались перед Володей, то ли просто ради забавы. Володя лечил его и кому-то отдал без особого сожаления, поскольку по статьям он был совсем неважный, а после ранения стал ещё и трусливым, боясь выстрелов.

Жалейка же действительно была замечательной и своеобразной собакой. По экстерьеру — типичная русская гончая, и на выставках она завоевывала чаще «бронзу», а иногда и «серебро», а на полевых испытаниях и просто на охоте отличалась исключительной выносливостью и приятным тембром голоса при гоне.

Четверть волчьей крови всё же сказывалась на её характере и повадках. Если кто-нибудь замахивался на неё палкой, она не отскакивала, поджав хвост, как это делают трусливые псы, и не начинала лаять и кружить вокруг «противника», как поступают псы не трусливые и злобные, Жалейка становилась к «противнику» полукоком, внимательно следя за ним и как бы спрашивая: «Ну что, разойдёмся или будем драться?» При этом в глазах её загоралось что-то дикое, злое, совсем не располагающее к дальнейшей ссоре с ней. Короче, при любых обстоятельствах она была полностью лишена пугливости. Черта вроде бы и не волчья: волк не труслив, но чрезвычайно осторожен и скорее предпочитает избегать опасности, чем идти ей навстречу. Впрочем, бояться людей у Жалейки не было причин, поскольку Володя её никогда не бил и обходился при случае нажатием на болевые точки. Что же касается других четвероногих, то бишь собак, то она их не боялась, как бы грозно они не выглядели. Первая никогда не задиралась, но если случалась драка, то расправа была мгновенной и решительной: Жалейка сбивала противника своей могучей грудью и тут же хватала за горло.

К людям она не была ласкова, но и не проявляла никакой агрессивности: можно было наступить ей на хвост — Жалейка слегка взвизгивала, вскакивала и тут же ложилась вновь, уступая дорогу идущему. Вообще, во всем проявлялась её «самостоятельность» и чувство собственного достоинства. Она была равнодушна к ласкам и не играла с детьми, а если Володя за что-то выговаривал ей, она молча отходила на пару шагов, сворачивалась клубком и не выказывала знаков признания своей вины, как это присуще большинству собак. Мой нынешний пёс из немецких овчарок, если сильно провинится, подходит к хозяину на полусогнутых, ложится у ног, прижимает уши и смотрит таким виноватым взглядом, что уже не поднимается рука его наказывать.

Зимой сорок первого— сорок второго годов по замёрзшей Волге гнали эвакуированный скот — его выгружали из эшелонов на ближайшей станции и потом распределяли по хозяйствам. В основном, как я слышал, он доставался беженцам с Украины, поселившимся в опустевших деревнях выселенных немцев Поволжья. Падёж скота, конечно, был большой, Жалейка вместе со своей ещё живой бабушкой Флейтой стали куда-то пропадать по ночам и утром возвращались с отвисшими чуть не до земли животами. Володя и другие владельцы собак быстро поняли ситуацию, и Володя стал запирает собак на ночь, опасаясь, что возле павших туш возникнут собачьи драки, а то и стычки с волками, среди которых могут оказаться и бешеные звери, и будет беда.

Однако походы на Волгу сослужили псам и добрую службу. В ту же зиму Володя охотился за Волгой и в конце охоты вышел к ближайшей от железнодорожного моста станции. Не обратив внимания на часового с винтовкой, ходившего вдоль стоявшего на станции товарного состава, Володя с собаками забрался на тормозную площадку одного из вагонов. Вскоре подо-

шёл часовой и довольно вежливо попросил Володю сойти, объяснив, что, во-первых, состав воинский, а во-вторых, и на гражданских составах ехать на открытой площадке через мост не разрешается. В военное время это было понятно, впрочем, и до войны в годы шпиономании и «врагов народа» на пассажирских судах при подходе к мостам пассажиров загоняли в каюты, и порядок этот был отменён только после войны. Володя всё это, конечно, хорошо знал и обычно летом дожидался пригородного поезда, а зимой, случалось, и переходил через Волгу, намного выше моста. Но в этот раз что-то сильно подустал и понадеялся на авось: сойдя с площадки, он обошёл состав с хвоста и забрался на другую площадку. Часовой заметил манёвр и, видимо, опасаясь нахлобучки, если охранники на мосту заметят непрошенных гостей, дал свисток. Прибежал разводящий с ещё одним солдатом и предложил Володе пройти за ними. Документы у Володи были в порядке, но начальник караула оказался человеком вредным да ещё, по-видимому, и корыстным: как убеждён был Володя, приглянулись ему и Володины трофеи, и собаки. Так или иначе, но был оформлен протокол, и с этой бумагой Володю отправили куда следует — он оказался на тридцать суток в саратовской тюрьме, откуда каждый день его вместе с другими «коллегами» по несчастью водили на разгрузку эшелонов. Володю не пугали эти тридцать дней, но он буквально плакал при мысли о собаках. О них он знал одно: прежде чем отправить Володю под арест, начальник караула попросил его привязать собак и приказать им сидеть якобы для того, чтобы собаки не бежали за составом, с которым отправляли Володю.

— Иначе перед мостом их обязательно застрелят охранники, — объяснил начальник, — а здесь мы их уж как-нибудь сохраним, и когда освободишься, сможешь их забрать.

Володю увезли, а собаки следующим утром... явились домой, дорогу с замерзшей Волги они знали! Должно быть, псы были удивлены, не найдя дома хозяина, но каково было состояние Володиной матери, когда псы пришли без него. Каких только мыслей не передумала она, но то, что Володя может оказаться в каталажке, не приходило ей в голову. Мир, однако, не без добрых людей: один из конвоиров, сопровождавших арестантов на работы, оказался местным, да ещё и жил недалеко от Володи. Он отпросился у начальства в увольнительную на несколько часов и по дороге домой забежал к Володиной матери. Облегчённо вздохнув и прослезившись, та попросила солдата:

— Передай Володе, что собаки дома, а я, слава Богу, здорова, как-нибудь переберёмся.

Когда Володя вернулся домой, мать сообщила ему интересную подробность: верёвки, обрывки которых болтались на ошейниках Жалейки и Флейты, были не развязаны или перегрызены, а ровненько обрезаны очень острым ножом. Загадка эта так и осталась неразгаданной. Может быть, какой-то сердобольный солдат, сам охотник или собачник, в пику своему вредному начальнику отпустил собак на все четыре стороны, а коли был охотник, то был уверен, что собаки сами придут домой. Вернули Володе и ружьё, и рюкзак, изъятые при задержании, так что в чистом убытке оказались только пара добытых на той охоте зайцев, потерянное время и много килограммов собственного веса, истраченного за время полугодного существования в тюрьме.

Летом сорок второго Жалейка ждала приплод после вязки с очень хорошим кобелём с богатой родословной. Володя надеялся взять из этого приплода кобелька, который был бы уже внуком Разбоя-пса и правнуком Разбоя-волка. Кобелька он отобрал, но, как потом выяснилось — неудачно (это и был тот самый Стонало, который упоминался выше). Содержать трёх собак было сложно, и Володя отдал Флейту в хорошие руки за так, оговорив только право отобрать из её будущего приплода в случае надобности любого щенка. Правом этим он так и не воспользовался: новая собака ему действительно понадобилась, Флейта была уже стара. А нужда возникла в том сорок шестом году, с которого я начал своё повествование. После очередной выставки охотничьих собак какой-то незнакомый Володе человек упорно уговаривал его продать Жалейку и сулил хорошие по тем временам деньги. Володя мог бы при большой нужде в деньгах продать, скажем, Флейту, но о продаже Жалейки — продолжательницы волчьей крови — не могло быть и речи. Один знакомый из охотсоюза, зная о домогательствах незнакомо-го покупателя, посоветовал по крайней мере в ближайшие дни брать собаку на ночь в квартиру. Пару дней Володя так и делал, но потом снова стал оставлять Жалейку в сарае, ограничиваясь

засовом без замка. В одно, увы, не прекрасное утро собака исчезла. Ни лая, ни каких-то шумов никто не слышал — видно, вор был опытен в общении с собаками. Порода была утеряна, но я вскоре заметил, что после неудачи с отбором из Жалейкиного потомства Володя поостыл к своей идее.

— Понимаешь, — говорил он как-то моему отцу в моём присутствии, — я не знал, по каким признакам отбирать свою, «волчью» линию. Я отлично знаю требования стандарта и судей к экстерьеру породистой гончей, а скажи-ка, чем отличалась от них Жалейка? Нравом? Но ведь по нраву не отберёшь, а если бы и можно было отобрать, то уже из взрослых, сложившихся собак. Тогда это нужно содержать целый питомник!

Утешившись, Володя завёл новую собаку из числа внучек Флейты. До конца своих дней Володя держал гончих и умер ранним утром недалеко от дома во время прогулки со своей очередной любимицей: инфаркт — первый и сразу последний в его жизни.

Добавлю, в возрасте пятидесяти пяти лет Володя вдруг задумал впервые жениться, но несколько месяцев его всё мучил вопрос: жена или собаки? Но когда на девяностом году жизни умерла его мать, сомнения отпали. Послевоенные вдовы не были капризны. Его избранница была немного моложе его, она иногда ворчала на собак, но терпела их.

Его последнюю собаку жена отдала другу-охотнику. На этом и закончилась история собачьего фанатика Владимира Петровича Куликова, или попросту Володи, как звали его все охотники и собаководы.

В займищах, которых давно нет...

Первые послевоенные годы прошли у меня в Саратове. Прекрасная пора студенчества, влюблённости, ухаживания и женитьбы. У нас с женой не было ни жилья, ни имущества, денег хватало только на еду и дешёвенькую одежду. Всё, что имели мои родители, сгорело в Сталинграде, а её отец был в те годы обитателем Гулага. Мы скитались по частным квартирам. Самым дальним местом летних поездок был славный городок Хвалынский, родина жены, туда ездили ежегодно навестить её мать. Всё остальное свободное летнее время — выходные и каникулы — проводили в окрестностях Саратова, где, слава Богу, были места и для первой — ружейной, и для второй — рыбной, и для третьей — грибной охоты.

Хотя отец родился и вырос в Саратове, он уехал отсюда ещё в голодном двадцать первом году, да и прежде хорошо знал только нагорные окрестности города от Монастырки, как назывался тогда район Первой дачной, до Разбойщины, ныне Жасминки. Как заядлые грибники мы, конечно, сразу же освоили эти места. Грибников было мало, и не было нужды забираться далеко. Но постепенно грибников становилось всё больше, а грибов — меньше.

Признаюсь, последний раз я был с сыном на Кумыске в невероятно урожайном на грибы семидесятом году. Хотя казалось, что грибников больше, чем деревьев в березняке, мы набрали штук по двести подберезовиков на каждого. Потом уже, поздней осенью, пошёл один — услышал, что вроде высыпали вновь подосиновики. Подосиновиков не набрал, а встретив мужика с большой корзиной валуёв, спросил:

— На черта ты эту дрянь собираешь?

— Дрянь!? Да ты что! Мы с другом в прошлом году под эти грибы два литра выпили!

Этот аргумент сразил меня, и, вернувшись домой, я даже покопался в грибной литературе: может, зря не беру такую закуску? Но ничего хорошего я о валуях не вычитал.

Ну а в те, сороковые годы обычно не оставались без хороших грибов, и мать всю зиму раз-два в неделю варила отличные грибные супы.

Но грибы грибами, а рыбка рыбкой, да и пострелять не мешало бы. В конце лета сорок пятого забралась со студенческой компанией на Чечоры — обширные и чистейшие пески, занимавшие всю излучину Волги ниже села Пристанного. Была с нами и моя будущая жена Люда. Кто-то из ребят достал двадцатиметровый бредень — ночью на песках ловить стерлядок.

Люду оставили одну при костре около вещей, а сами ушли далеко, за полкилометра, чтобы двигаться забродами к лагерю. Немного погодя при свете луны метрах в ста от палатки Люда увидела силуэт огромной собаки или волка. Она знала, что волк к огню не подойдёт, хуже, если это бездомная собака, не боящаяся человека. Струхнув основательно, она все же не стала звать нас на помощь, а решила выждать, что будет дальше. Но пока она подбрасывала палки в костёр, зверь растворился в темноте.

Уха из мелких стерлядок и всякой «бели» получилась превосходной, но вечер был подпорчен: выслушав Людин рассказ про волка, кто-то неуклюже сосстрил насчёт «собаки Баскервиллей», Люда обиделась и разговаривала с нами холодно, а утром повела двух «свидетелей» туда, где виделся ей волк. Сухой песок плохо держит следы, но ямки от них остались, и когда мы дошли по ним до ложбинки, где песок переходил в иловатый грунт, поросший редкой травой, мы с Федей ясно увидели впечатляющего размера следы. Мы почесали в затылках, а Люда язвительно посмотрела на нас:

— Ну что, следопыты? Хоть бы спасибо сказали, что не заорала и не испортила вам рыбалку.

Дома я рассказал о происшествии на нашей коммунальной кухне, и сосед Володя, профессиональный охотник, уверенно заключил: это был волк. Летом волки бродят в одиночку, а бездомные собаки — стаями. Только старый больной кобель может бродить один, но что ему делать так далеко от жилья, да ещё на острове?

Той же осенью предприняли мы и разведку на Тяньзинь. Так называлась пристань, переименованная потом в «Ударник» по названию обосновавшегося здесь дома отдыха, а после того как дом отдыха перекочевал в Шумейку, пристань называли Сазанкой. Так что у нас теперь три Сазанки: речка, точнее протока, пристань около её истока и железнодорожная станция вблизи её устья.

Тяньзинь нам не понравился. Людное место, хорошее для воскресных семейных поездок и молодёжных пикников, но не для рыбалки. Перелом в наши не очень успешные поиски мест внёс тот же сосед-охотник Володя, знавший не только окрестности города, но и районы области.

— Вот что, мужики, — сказал он, когда мы утром умывались в кухне, — если хотите привезти рыбы и на уху, и на жарёху, и на сушку, то поехали завтра со мной. Только придётся нам потрудиться вместо лошади или трактора.

Он пояснил, что встретил на базаре знакомого лесника Васю, кордон которого стоит на речке Песчанке, что ниже Саратова, и тот пригласил Володю потрудиться с волокушей, а если найдутся ещё крепкие ребята, то звать с собой. Володя уже имел опыт такой рыбалки и знал, что хозяин волокуши щедро наделит рыбой.

— Заодно и места вам кое-какие покажу, — добавил Володя. — По части ловли на удочку я не мастер, а вот где можно пострелять чирков и кряковых — увидите. Ружьишки-то прихватите, для этого и поедем загодя — завтра же. Денёк походим, постреляем, а на другой день выйдем к Песчанке напротив дяди Васиного кордона.

Так началось наше знакомство с этими местами.

Каждый саратовец знает Увекский мыс. Он вдаётся в приречную долину Волги, словно стремясь соединиться с левым берегом, и восточная оконечность его на несколько километров удалена от основной линии гор Приволжской возвышенности, образуя две большие дуги. В окружённой горами котловине севернее Увека лежит Саратов. Идеальное место нашли наши предки для города.

Южнее же Увекского мыса горы образуют гигантскую дугу, обрамляя обширную пойму, ныне полузатопленную. В ту пору здесь были богатейшие займища. Это было своеобразное, может быть, единственное в своем роде место на Волге. Защищённое от северных и северо-западных ветров полукольцом гор, оно восхищало разнообразием ландшафтов, различных по форме и размеру озёр, проток и богатейшей растительностью. Здесь были дубовые гривы, вытянувшиеся вдоль бывших стариц, превратившихся в длинные узкие озёра, тополевые леса и одиноко стоящие могучие тополя, разнотравные луга, заросли вереска и целые плантации шиповника, здесь была живописная река — а правильное сказать, протока, воложка — Песчанка и зарос-

ли тальника около неё, в которых прятались маленькие озера, почти лужи, где присаживались спугнутые с больших озёр чирки и утки. Конечно, мы освоили лишь небольшую часть этих займищ, но то, что узнали, влекло сюда потом снова и снова.

Собственно, первый раз мы побывали в ближайшей к железной дороге части займищ ещё до приглашения соседа Володи. Как-то отец встретил на улице Петра Воскобойникова, того самого, который показал нам под Сталинградом озеро Максимкино и Репинские ямки. После короткого разговора он сразу пригласил отца на рыбалку «на Нефтянку». Однако тот поход оказался неудачным, а сам Пётр вскоре исчез — говорили, что вернулся обратно в Сталинград. Больше мы его никогда не видели.

Володя повёл нас дорогой мимо озёр Малый и Большой Баклань и дальше к Песчанке. Показал заросли талов, в большом массиве которых были пробиты просеки и на их пересечении стояли столбики, как полагается в лесничестве. Здесь он показал и озерцо, или, как он выразился, ямку, длиной метров пятьдесят-семьдесят и шириной не более десяти. Когда впереди между талами заблестела вода, Володя приложил палец к губам, снял с плеча ружьё и тихо пошёл дальше, дав нам знак оставаться на месте. Через два десятка шагов он остановился, медленно, без резких движений приложил ружьё к плечу и выстрелил дуплетом. Когда мы приблизились к нему, на воде лежала тройка подстреленных чирков.

— Сейчас вы увидите, какая это чудесная ямка, — тихо сказал Володя и, взяв меня за плечо, поставил на своё место, а сам отодвинулся на пару шагов назад. — Теперь постоим немного тихо. Приготовь ружьё, — добавил он, и мы притихли.

Не прошло и четверти часа, как послышалось характерное фр-фр-фр с примесью как бы тихого посвиста и на воду села стайка чирков, которых нисколько не смутил вид своих погибших сородичей, а может быть, и братьев. Я выстрелил из своей одноствольной «Ижевки», и ещё пара чирков осталась на воде.

— Хватит, ребята, к вечерней зорьке вернёмся на Баклань, там и постреляем. Достанешь? — спросил Володя меня, кивая на уронивших головы в воду чирков. — Здесь мелко, по пояс примерно.

— Конечно! Вот только как ноги от тины отмывать?

— Соберёшь чирков и выйдешь не здесь, а вон там — увидишь: охотники соорудили вроде гати из нарубленных талов. А мы берегом пройдем с твоей обувкой.

Когда я оделся и обулся, Володя вывел нас из талов, показав по пути ещё одну ямку, и предложил возвращаться.

— Песчанкой завтра полюбуетесь, а теперь пора бы передохнуть и перекусить.

Мы той же дорогой дошли обратно почти до Баклани и остановились на берегу маленького и странного озерца. Во-первых, оно было правильной прямоугольной формы, то есть явно искусственного происхождения. Во-вторых, уже в метре-двух от берега глубина была мне в полный рост, а в середине озера я дна не достал, Володя же уверял, что до четырёх метров, хотя озеро было всего тридцать на сорок или пятьдесят метров. Ну и в-третьих, вода была очень чистой и холодной. Попытавшись достать дно, я вынырнул как ошпаренный — на дне явно сочились родники. Увы, мы так и не узнали происхождения странного озера.

Развели костёр, согрели чай, перекусили и привалились на травке, блаженно вытянув ноги.

— Вы ничего не заметили? — спросил Володя, поворачиваясь в нашу сторону.

— А что?

— Припомните-ка, сколько человек мы встретили по пути от Баклани до ямки с чирками и обратно?

— Да, кажется, ни одного, — ответил я, ещё не поняв цели вопроса.

— Вот то-то и оно! В этом — одна из прелестей этих мест! Правда, под открытие охоты на Малом Баклане бывает такая альба — ай-ай-ай, но в будние дни — сами видите — никого.

Шесть лет мы посещали это займище вплоть до нашего отъезда в Белоруссию, бывал я здесь и один, и с отцом, и с товарищем, а последние пару лет — с женой, и всегда почти не встречалось людей. Дважды мы видели здесь среди бела дня волка — верный признак малолю-

дья. Как-то в сорок девятом году мы приехали сюда с женой и прошли на Песчанку на знакомое уже местечко с песчаным берегом и чистым дном. Был июль. Солнце, казалось, заполнило своими лучами всю вселенную. За рекой где-то далеко, скрытый высокой травой, щёлкал бичом пастух, золотистые щурки, непрерывно пересвистываясь, носились над водой и лугом, высоко-высоко парила пара коршунов, и их переключка напоминала ржание жеребёнка. Зеркальная гладь воды нарушалась кое-где только маленькими водоворотиками, выдававшими быстрое течение. Справа от нашего пляжика начинались заросли прибрежных талов, уходившие вдале до самого поворота реки. В двух сотнях метров от нас у края нависших над водой талов стояла цапля, чуть дальше вторая, третья...

Мы купались, загорали, снова купались и снова валялись на песке. В очередной раз подойдя к воде, мы посмотрели друг на друга, засмеялись и, не произнеся ни слова, сбросили с себя остатки одежды. Упоение полной раскованностью, свободой, ощущением мира, в котором, казалось, нет никого, кроме нас и почти первозданной природы, захватило и опьянило нас.

А в первый поход с отцом и Володей мы постреляли на Малом Баклане вечернюю и утреннюю зори. Володя в этих «упражнениях», как он их называл, не участвовал, во-первых, чтобы не мешать нам «побаловаться», а во-вторых, у него как у специалиста по зверю и тулка-то была два цилиндра. Впрочем, отец, знавший Володю давно, говорил мне, что стреляет Володя отлично и по птице влёт, но — только «по нужде, для пропитания». Я, собственно, только осваивал это искусство и в тот раз не преуспел, а отец сшиб одну кряковую. Озеро нам понравилось, было где удобно встать лицом к воде и глядя на запад вечером, и глядя на восток утром, но всё же я потом редко приходил сюда: в будни трудно было вырваться с работы, а в выходные здесь былолюдно, и иная утёнка, ошалевшая от канонады, уже еле виднелась на фоне неба, а в неё всё продолжали палить не в меру возбуждённые стрелки.

В шестидесятые годы, купив лодку, мы начали ездить в разные места и не раз наблюдали, как рыбаки из рыбколхоза заводили и вытаскивали невод на Калоковке. Глубинный конец невода заводили и тащили моторкой с мотором от двадцать первой «Волги», а береговой конец — трактором.

У лесника на Песчанке, к которому мы пришли после пальбы на Баклане, была волокуша метров — боюсь соврать — на семьдесят-восемьдесят. Впрочем, на воде расстояния обманчивы, может, в ней было и больше. Наружный конец хозяин с женой тоже заводили лодкой, а роль трактора выполняли мы с отцом и Володей. Волокли не по самой Песчанке, а по ответвлявшемуся от неё затону. Вся операция заняла, наверное, с полчаса, но берег был тинистый, и под конец мы были в мыле, как загнанные лошади. Мы вытащили за раз, как определил хозяин, центнера полтора. Попалась всяческая рыба — несколько красавцев линей, сомьята, но больше всего, конечно, густеры, подлещиков. День был очень жаркий, и хозяева заторопились к кордону. Мы понимали, что не довезём до дома другую рыбу, кроме карасей, которых попало немного, но хозяева помогли нам выбрать всю. Я не мог догадаться, куда хозяевам столько рыбы, но мы поняли это, когда дома сварили щи из куска свинины, подаренной нам за труды в дополнение к карасям: есть щи было невозможно, они воняли рыбой.

Эти места — Баклань, квадратное озерцо с холодной чистой водой, Песчанка, ямки в зарослях талов — посещали мы во все последующие годы, но только в сезон охоты на водоплавающую дичь. Рыбачить мы здесь не пытались. Как-то в сорок седьмом году отправились разведать те займища, но ближе к горам. Места тоже оказались симпатичными. В дубовой гриве попали как раз на раннюю июльскую высыпку настоящих белых грибов и набрали ведра два. На удочки в длинном красивом озере с кувшинками не ловилось. Мы поставили на ночь небольшую сеточку и занялись жареньем более старых грибов, отобрав молодые и крепкие на сушку. Утром я проснулся рано и пошёл к берегу посмотреть сетку. Поплавков не видно! Неужели столько рыбы ввалилось? Я разделся и полез в воду. Но сетки нигде не было. Вот тебе и безлюдье! Впрочем, воры в России всегда найдутся! Да ничего удивительного в происшествии и не было: это место находилось гораздо ближе к горам, а значит, и к посёлкам.

Охота — дело сезонное, а с рыбалкой, во всяком случае с ловлей на удочки, у нас что-то не

клеилось. Но не оставаться же на рыбалке без ухи, и мы, грешным делом, обзавелись сеточками. Одну — метров на восемь — я сплёл сам ещё в Сталинграде из фильдекосовых ниток, клубок которых лежал в сундучке у матери со времён НЭПа. Но её, увы, украли на Нефтянке, и тогда мы купили на толкучке два новых из суровых ниток, оказавшихся очень добротными. С этим вооружением мы повадились ходить на озеро Щучье — самое ближайшее к городу, что позволяло обходиться без транспорта. Рыба же там оказалась отменной и доступной. Собственно, всего озера мы не знали и рыбачили только в его самой юго-западной части, вплотную примыкавшей к гористому берегу и проложенной вдоль него тропе к селу Пристанное. Воскресными утрами по этой тропе двухжильные русские женщины вышагивали двенадцать километров от Пристанного до Саратова, неся на коромыслах по два ведра с творогом, сметаной или молоком, а, продав всё это, к вечеру возвращались обратно и отмеряли те же километры, но уже налегке, а может быть, и не налегке, неся из города булки, баранки и что-то ещё, чего не купишь в своём скудном сельмаге.

А познакомились мы с озером Щучье тоже благодаря соседу Володе. Прослышав, что мы хотим пойти на разведку в сторону гусельских займищ, он усомнился, что мы хоть что-нибудь поймем на удочки, но когда я шепнул про две наши сеточки, Володя переменял тон:

— Ну тогда на Щучьем без рыбы не останетесь. И никуда дальше и не ходите. — И он рассказал, что как раз в части озера, примыкающей к гористому берегу, дно чрезвычайно илистое, нога проваливается по колено, и в этой-то тине копаются отменные лини и караси. Принеся на кухню, где мы разговаривали, огрызок карандаша и старый конверт, Володя на обороте его набросал мне даже схему, где примерно нужно воткнуть сеточки. — А там уж поточнее сами нащупаете, где лучше. Первый карась мой, — улыбнулся в заключение Володя, а у меня возник настоящий зуд пойти на Щучье!

Я почти всегда имел возможность выкроить день-другой, поработав взамен в воскресенье. Зуд был велик, и я решил не ждать выходного и отправиться на Щучье завтра же, а поскольку у отца отпуск ещё не начался, я пригласил в компаньоны соседа Валеру, который присутствовал при нашем с Володей разговоре на кухне. У Валеры были каникулы, и он не только не заставил себя уговаривать, но внёс предложение:

— А чего завтра? Пошли сегодня, сетки на ночь поставим, а завтра видно будет.

— Что же не пойти! Давай собираться!

Мы отправились налегке, взяв с собой, кроме минимума провизии и сеток, пару плащ-палаток и пузырёк с керосином. Тогда, кроме комаров, была ещё одна напасть, «сменяющая» комаров в дневные часы — мошкара. Она набивалась в глаза, в нос, в уши, а то и в рот. Моя учебная практика была связана с работой в поле, приходилось поверх фуражки набрасывать сетку, спускающуюся на лицо и шею, и мы напоминали пчеловодов, работающих на пасеке. Для сетки использовали любой подручный материал — женские вуали, редкую кисею, канву для вышивания. Сетки и тыльную сторону ладоней смазывали керосином, сама работа превращалась в пытку, с том, чтобы на жаре снять рубашку и брюки, нечего было и думать. Недалеко от моих опытов аспирант нашей кафедры Саша изучал корни пшеницы. У него была открыта траншея глубиной метра два, где он и просиживал по несколько часов в день. В траншее даже в ветреную погоду, когда мы наверху могли свободно вздохнуть, откинуть сетки и вытереть застилающий глаза пот, всегда кружилось облако мошкары, и, несмотря на все защитные ухищрения, лицо и руки Саши сплошь покрывались пупырышками от укусов, а когда мы подходили к краю траншеи, он смотрел на нас зверскими глазами, угрожающе двигал вправо-влево нижней челюстью, и впрямь похожий на сказочного вурдалака. В конце сороковых годов мошкара исчезла, и вот уже почти полвека нет этой напасти.

Наш с Валерой первый поход на Щучье выдался исключительно удачным, и во все последующие годы мы ни разу за один день не добывали там столько рыбы. Всё получилось так, как описал нам Володя. Мы поставили вечером сетки и занялись костром и ужином, а потом завалились спать прямо на открытом месте, кое-как укрывшись от комаров. Проснулись рано, со стороны озера дул сильный ветер, была изрядная волна, и с берега мы даже не могли толком рассмотреть, что там с сетками. А улов превзошёл самые оптимистические прогнозы. Валера,

любивший всё считать и переводить в конкретные единицы мер, определил, что вышло по полкилограмма на каждый метр наших сеток. Сняв сетки и вытащив из них улов, мы присели. Время было ещё очень раннее.

— Слушай, — предложил я, — давай поспим ещё часок-другой, смотри — на этом ветру ни комаров, ни мошек. А сеточки воткнём пока обратно в тину.

— Насчёт поспать — идёт, насчёт сеток — тоже не возражаю, — ответил Валера, и мы полезли в воду.

Когда, поставив сетки и с трудом выдирая ноги из тины, мы направились к берегу, Валера оглянулся.

— Смотри-ка, уже попало что-то!

— Ладно, чёрт с ним, куда не денется, потом вынем, — отвечал я и тут сразу понял, в чём причина шального успеха: ветер!

Ветер поднял страшную муть, погрузил ладони в воду на пятнадцать-двадцать сантиметров — уже нельзя рассмотреть, сколько пальцев на руке. В мутной воде растревоженные лини и караси лезли в сетки весь день! Мы убедились в этом, проверяя сетки каждые два-три часа.

Около полудня, когда мы, собрав новую порцию хвороста, вернулись к костру, неожиданно увидели, что около него сидел мой отец.

— Ты чего это? — удивился я. — Сегодня же не воскресенье!

— Да дело такое, Валерий, — ответил отец, обращаясь к моему спутнику, — Сергею Ивановичу стало нехорошо, отвезли ночью в больницу.

Сергей Иванович, отец Валеры, болел туберкулёзом.

Валерий начал лихорадочно собираться, а я вытащил из воды садок, быстро, не разбирая, нарвал прибрежной травы, сложил в авоську большую часть нашего улова.

— Не, не, не возьму я, — замахал руками Валера, видя мои приготовления, — сетки ваши, и вообще...

— При чём тут сетки, — разозлился я, — мы что жлобы, что ли? Рыба пригодится, отцу в больницу отнесёте.

Когда Валерий размашистым шагом ушёл уже далеко, отец негромко пояснил:

— На сей раз не в туберкулёзе дело, похоже, с сердцем что-то у Сергея, вот я и заспешил.

Опасения отца оказались не напрасными: в ночь на следующий день Сергей Иванович умер...

Отправив Валерия, мы полезли проверять сетки. В них опять было полно рыбы. Я высказал отцу свои соображения о роли ветра, он согласился и предложил:

— Так бы рыбы нам больше и не надо, но интересно, что же она — так и будет весь день ловиться? Давай ещё раз поставим.

Рыба, хотя и похуже, продолжала ловиться, и, когда часов в пять мы последний раз вынули сетки, набралось столько карасей и линей, что мы не были уверены, донесём ли их. Линией крупнее полкилограмма почти не попадалось, а караси встречались и до килограмма.

Больше нам не доводилось попасть сюда при ветре такой же силы и направления, как в тот раз, и днём рыба не ловилась, а ночные уловы тоже оказывались скромные. И всё же Щучье осталось нашим любимым местом рыбалки. Привлекательность его усиливалась ещё и тем, что оно находилось рядом с городом, час ходьбы — не расстояние. На образованных давними оползнями террасах гористой части берега рос разнообразный лес, красивые лужайки, вдосталь было дров для костра. С рыбалки, особенно с грузом рыбы, шли обычно низом, через Затон, а туда — всегда через Соколовую гору. Эта дорога стала особенно нравиться мне, когда к нашим походам на Щучье присоединилась моя будущая жена. Как хорош вид, открывающийся с Соколовой горы и на Волгу, и на город до самого Увекского мыса, знает каждый, кто побывал здесь.

Сорок лет уже нет озера Щучьего, на Соколовой горе разбит парк Победы, а пугавшие опасностью новых оползней гребни её северо-восточной части скрыты. Но по-прежнему радуют глаз виды и разлившаяся Волга, и разросшегося и похорошевшего города. Приходите сюда, полюбуйте на окружающий мир, и, может быть, отсюда с горы он покажется вам даже лучше, чем есть на самом деле.

Александр Суконик

Что-то вроде предисловия

У нас в доме жила эмигрантская семья, из интеллигентов. Муж, жена, подросток-дочка и породистая собака, всё как полагается, прямо из Москвы. Помню, когда приехали, лет двадцать назад, ещё свеженькие. Муж сразу вызвал во мне неприязненное чувство. Бегающий взгляд, многозначительные фразы, обрывающиеся посредине... черты человека, который печёнкой знает, что ему крышка, и потому ещё решительней прорицает, ещё суетливей хорохорится. Он был одновременно надменен и заискивающе улыбочат. Когда я спросил, чем он занимается, он пожал небрежно плечами (я сразу ощутил, что этот жест повторялся им много раз) и сказал, иронически ухмыляясь в собственный адрес (ухмылка тоже выглядела отретпетированной), что он «так называемый писатель», что это слово ничего на самом деле не значит, что писательство такая же болезнь, как наркомания, и об этом даже не стоит говорить. Тем не менее он тут же упомянул известный эмигрантский журнал, в котором была недавно напечатана его вещь, и, как выяснилось, не без некоторого скандала. И опять же этот скандал не следовало принимать всерьёз, как и всё, что происходит в эмиграции, потому что эмиграция кукольна, её страсти, как буря в стакане воды, хотя, не правда ли, его колоритно обозвали? вот вам наши люди, да нет, конечно же всё это несерьёзно, хотя он даже горд... ну и так далее.

Из окна я наблюдал, как иногда вся семья выходит на прогулку, — он, жена, дочка и собака. Потом жена и дочка исчезли, остался он с собакой, потом и собака исчезла, остался он сам по себе. Потом он тоже исчез. Честно говоря, я не очень интересовался причинами исчезновений. С самого начала я пресёк с холодной вежливостью попытки установить соседские взаимоотношения, потому что не желал никаких отношений с братьями-эмигрантами. Кому охота иметь дело с нелепыми и гротескными осколками прошлого? Кому охота глядеться в зеркало на самого себя, внезапно постаревшего, небритого, с всклокоченными волосами и блуждающим взглядом? С другой стороны, я не испытывал ни малейших чувств и к американцам, кроме, может быть, зависти, что они у себя дома, а я нет. Таким образом, устанавливалось новое жизненное испытание, и я мог часами простаивать у окна, машинально наблюдая человеческие фигурки, которые то спешили куда-то, то прогуливались неспешно, то брели, обследуя одну за другой мусорные корзины, то, наоборот, брели, разглядывая витрины магазинов. Окно я держал закрытым, чтобы насколько возможно преградить доступ уличным звукам, и моё зрелище напоминало театр мимов или документальную плёнку начала века. Постепенно я даже разучился отличать наших, которыми был полон этот район, от американцев. Поначалу, правда, приходилось сильно прищуриваться, знаете, когда стараешься по возможности избавиться от деталей картины. Так что, можно сказать, что я не разучился отличать, а научился не отличать, что вполне соответствует идее эмиграции, которая в любом случае есть интеллектуальный эксперимент, не правда ли? Так вот, не желая ничего знать личного, психологического, конкретного о семейной истории моих соседей, я наблюдал отрешенную и холодную картину их постепенного исчезновения. Когда же никого больше не осталось, я посчитал себя свободным при встрече с пуэрториканцем-супером спросить, куда девались жильцы из квартиры 6-К. Пуэрториканские суперы ведь какой

Но, именно потому, что я не был из молодых, разложенные передо мной листки вызвали ностальгическое чувство, — именно «малостью» их автора, доходящей иногда до потешности. Именно тем, что он больше не был «здесь», и потому чётко очерчивался, как отлетающий вдаль телеграфный столб из окна вагона. Впрочем, приведённое сравнение неверно, потому что столб довольно быстро улечучивается из поля зрения и памяти, всё уменьшаясь и уменьшаясь, между тем как в области искусства это происходит иначе: в тот момент, когда произведение искусства перестаёт нести в себе элемент новизны или даже шока, которые суть неотъемлемые составные незавершённости настоящего, оно становится, как я называл выше, свидетельством времён, и именно в этом качестве продолжает наливаться и зреть смыслом для нас — если стоит того. Именно потому, что мы не можем больше дотронуться до него, как разрагивается кистью художник до незаконченного полотна, — именно потому, что мы не можем протянуть руку назад и дотронуться до чего-нибудь в прошлом в попытке изменить его. Если сравнить настоящее с дождевой каплей, что повисла на подоконнике и на мгновение вдруг отразила окружающий мир, прошлое — это застылая капля янтаря, внутри которой спрессован доисторический жучок. Есть ли связь между одной и другой каплями? Никакой, кроме нашего к ним обоим интереса, точнее, двух интересов, которые живут в нас, связанные между собой тем фактом, что они живут в нас.

Так я думал, разбирая доставшиеся мне рукописи, а между тем во мне происходило изменение. Мне всё больше и больше становилось обидно, что автор не дописал своё произведение и что ему суждено оставаться неизвестным. Во-первых, мы были почти ровесники, и выходило, что перед лицом следующих поколений должны стоять плечом к плечу. Во-вторых, я со смешанными чувствами смотрел на то, что делается сегодня в России. Сначала мне всё ужасно нравилось, — и то, как мгновенно возникал свободный залихватский тон в прессе, и то, как на ровном месте, начиная с нуля, появлялись писатели, способные дать фору самым-самым неформалам с Запада. И это после семидесяти лет борьбы с малейшим проявлением индивидуальности под жульнически-смирненным лозунгом «я — это последняя буква в алфавите»! Вот это была Россия, которая всегда умела мгновенно схватывать последнее западное новшество и идти вперёд — о да, тут налицо выявлялся талант нации, и я гордился им издалека... Но постепенно и против воли я начинал замечать другое, и теперь, увы, мне казалось, что всё происходящее напоминает не столько здоровый румянец на возрождающемся молодом лице, сколько искусственный румянец на лицах персонажей «Пира во время чумы»... То есть не в том даже было дело, что я действительно полагал происходящее в России внезапным и коротким всплеском света на фоне безнадежной тьмы, о нет, всякого рода «пророческое» мышление мне неприятно, но с тревожным под ложечкой чувством я распознавал под внешним блеском и разнообразием теперешней артистической жизни России (и, значит, вообще её жизни) приём без опоры на субстанцию, на изначальную человеческую аутентичность. Что же, разве не так должно было произойти после тех самых семидесяти лет царствования могучей, до сих пор тайной по своей силе системы, именуемой Советской властью? Между тем как Запад в это время, несмотря на все его переоценки ценностей, всё равно жил, опираясь на чёрно-белый моральный стандарт и гуманный сентимент...

...Но то Запад, а то мы...

...Но что было взять с Запада, который уже много-много сотен лет планомерно и эволюционно вращается по своей планетарной орбите, между тем как мы то исчезаем в неведомой тьме, то являемся честному миру кометой угрозы и волшебства?..

...О да, для нас всё, всё, всё, что отвердевало на Западе в стандарт, продолжало очаровательным и опасным образом оставаться на уровне «импровизации на тему», о да, для нас каждый шаг истории был ставкой на пан или пропал...

...Но если про прежние импровизации я знал из книг, то современная разворачивалась прямо передо мной, и теперь я понимал, с какой неприятной черты она начинается: с холодного легкомыслия ума и наждачного взгляда глаз. Между тем, наверное, потому что я, повторыю, немолод, я не могу отрешиться от мысли, что примитивный камень чёрно-белого упора питает душу не холодом, а горячностью, и что человек не может без него, как и без некоторых

других вещей, — а между тем, когда он с равной горячностью объявляет той самой чёрно-белости войну, тогда только и поднимается на высоту трагического. Но многие, и самые шумные новые русские поэты, писатели и художники совсем не объявляли ничему и никому войну, они жили в столь замечательно созданном ими эстетском постсоветском стиле мультипликаций, в котором (и только в котором) рисованная лужа крови вызывает у людей примерно столько же эмоций, сколько пятно помады на губах рисованной же красотки, — и я с неохотой снимал шапку перед закономерностью их появления, то есть закономерностью их правоты.

Но, может быть, тут была не очередная с нашей стороны импровизация, а *всемирное изменение человеческой природы*? Я знал, что эстетику мультипликации у нас нарекают вслед за западной терминологией постмодернизмом, и знал, что такого рода писатели на Западе куда более маргинальны, — но, может быть, тут с нашей стороны было не «следование за», а автономно новаторское указание на *всемирное изменение эстетики*? Какая странность! Какое в таком случае ощущение, будто ты отжил своё время и пора уходить... Тут была ещё одна характерная черта. За последние годы я несколько раз побывал в России — и когда там в конце восьмидесятых «всё ещё только начиналось», и совсем недавно. Не стану говорить о скоропалительных рационалистических надеждах, которые в первые годы пресловутой «перестройки» испытывали многие люди, по крайней мере среди интеллигенции: что в каком-то обозримом времени Россия кардинально изменится к лучшему, установится демократия, выборные люди будут служить, как положено выборным людям, будет введена законность, и что вообще мы станем как (или на первых порах почти как) «цивилизованные нации». Должен признаться, и я до поры до времени тоже разделял эти надежды, жил на приподнятых чувствах, пока не... вас это, наверное, рассмешит: пока не увидел, как в Думе повесили над головами президиума двуглавого орла (мог бы найти более веские причины, не правда ли). Тогда, вначале, помню, меня всякий раз охватывало негодование, когда *цинический и безвольный русский народ* (шофера такси, в основном) бормотал мне, цинически и безвольно откинувшись на спинку сидения и безвольно-цинически одной рукой крутя баранку: «Э-э, да чего... мне говорил один знающий человек. Если идти к Станкевичу, неси рубли, а уж когда к самому Попову — то только доллары».

«Вот-вот! — думал я, аж прямо замирая сердцем и чувствуя, что меня прямо сейчас хватит кондрашка — Как же... ах ты такой-сякой... и откуда такие подлые наветы, вот ведь как извращённо и по-рабски работает психика, заведомо всё обосрано, ничего святого!» ...

И что же теперь, спустя десяток лет? Как мне признать, что «цинический и безвольный русский народ» был прав, а я, оторванный от жизни и способности реалистически мыслить интеллигент, совершенно ничего не соображал? И что — о да, теперь, задним числом единственное, что я могу, это объяснить (и куда красивей, чем это сделает народ, жалкая утеха интеллектуала) — почему как бы и нельзя было ничего другого ожидать от бывших советских деятелей, которые, потеряв мундирчик искусственной советской морали и не имея никакого другого, должны были превратиться в то, во что превратились...

Впрочем, я хотел о другом, — о том, что связываю со странной по сути дела фразой Пушкина: «мы ленивы и нелюбопытны». Странность фразы состоит для меня вот в чём: насчёт лени — ладно, но почему нелюбопытны? А где же тот самый русский «завидующий глазок»? Где русская «всемирная отзывчивость», которую прославлял Достоевский, указывая в равной степени как на Пушкина, так и на русский народ? Действительно, где знаменитая русская всегдашняя заинтересованность Западом, которой мы всегда гордились и полагали, что понимаем Запад, в то время как Запад, занятый исключительно собой, не понимает нас? Наконец, где русская способность мгновенно схватывать западные идеи и самостоятельно развивать их чёрт знает до какого предела? Вот что всегда смущало меня, и только недавно мне начало брезжить какое-то понимание пушкинского замечания.

Сейчас поясню. Приехав в Москву в первый раз, я бродил по улицам, представляясь встречному и поперечному русским эмигрантом, живущим в США. Я делал это, желая вызвать у людей то самое любопытство, — и стопроцентно вызывал его. Это любопытство было крайне доброжелательным и кружило мне голову (потому что помнил, как шестнадцать лет назад те самые лица, которые теперь улыбались мне, надувались враждебной хмуростью и нарекали то ли «сионистом», то ли «врагом народа»). Теперь улыбки говорили мне:

«В Америке живёшь? Умный человек!», и я млея под их ласковым светом. Опять же, когда американцы опрашивают новоприезжего, то интересуются сравнительными деталями жизни, как будто через детали можно передать ощущение целого, между тем как мои российские собеседники вовсе не интересовались деталями и пускались в родные моему сердцу глобальные философствования. Тут, правда, я начинал ощущать неловкость, потому что они как будто не столько пытались угадать общий облик, сколько *рассказывали* мне, какова по их мнению Америка, а, рассказав, подмигивали: что, правильно? Ловко мы угадали? Имеем как-никак представление? Начиная с самоуничижения, они немедленно переходили к рассуждениям, что «по справедливости» теперь Америка должна помочь России (то есть, по сути дела, какую цену должна заплатить в благодарность за это самоуничижение). Помню, как в переходе между одним лихорадочный молодой человек особенно наседали на меня, упрямившись чуть ли не со слезами вернуться в Америку и «пожалуйста объяснить им там», какая не только справедливость будет в такой помощи, но и какая прямая выгода американцам (чтобы уничтожить угрозу возвращения к власти коммунистов). Я вежливо отнекивался, пытаюсь объяснить ему, что, увы, не бывает так, чтобы правительства государств действовали с точки зрения идеалов всеобщего блага, что, увы, каждый действует с точки зрения своих эгоистических и ограниченных интересов и что чрезвычайно опасно так нереалистически мыслить — но он совершенно не понимал меня. Эта встреча заохлодела мне душу тревогой за будущее — и, как показало время, не без основания.

С тех пор прошли те же десять лет, что со встречи с шофёром, и если в первом случае следует говорить не об изменении России, а скорей меня самого, то во втором, увы, об изменении России. О том самом легко предсказуемом и по сути дела как бы запрограммированном «изменении», которое закольцованной плёнкой должно было пробежать свой путь, чтобы возвратиться восвояси к прежней точке отсчёта, которая в варианте меланхолического еврейского анекдота звучит примерно так: «Мы уже пьём, мы уже дерёмся, а всё равно нас никто не любит»... простите, я имел в виду привести цитату: «Тут именно, именно причиной какая-то западно-европейская гадливость ко всему, что носит имя славянства... Нет ли тут именно какого-нибудь инстинкта, предчувствия, что все эти славянские восточные племена, освободясь, займут когда-нибудь огромную роль в новом грядущем человечестве, вместо сбившейся с правого пути старой цивилизации, и станут на её место?» (Достоевский, «Дневник писателя» за 1877 год, ноябрь, глава 2-я).

Понимает ли читатель, что я имею в виду? Я сам себя не очень понимаю, хотя, с другой стороны, твёрдо знаю, что хочу сказать. Неужели я так примитивен или заангажирован политически, что берусь утверждать, будто Россией овладевает националистическая паранойя? Вовсе нет, но — овладевают старые, старые поверхностность и бездушие, которые в варианте Пушкина как раз и именуются ленью и нелюбопытством.

Что касается националистов, верней, что касается способности мыслить политически, то тут признаюсь, что не судья, потому что по слабости и эгоизму боюсь столкновения со всем, что находится в области негативного. Не то, чтобы даже боюсь, а просто такая овладевает опустошённость, что хоть удавись с тоски. Наверное поэтому мне интересней мыслить выкрутасами, пуская чёрное и белое по рулеточному колесу круговой поруки (вдруг под белым откроется чёрное и наоборот). Побывав недавно в Москве, я слушал передачи «Народного радио», и именно с таким подходом. Какое тайно-положительное человеческое содержание кроется за заявлениями типа: «конечно же миром правит организация сионистов», «конечно же в американской прессе ведётся бешеная антирусская кампания»? Стоило бы мне соскользнуть на политический образ мышления, и значение таких заявлений стало бы однозначным и одновременно плоским, как газетный лист. Но я мгновенно представлял себе, как эти лозунги произносит тот самый молодой человек, который агитировал меня десять лет назад рассказать американцам, что нужно делать, чтобы в мире восторжествовали всеобщая гармония и справедливость — и... и что же? А то, что симпатия, которую испытал к нему, не покидала меня, даже если я мысленно отстранялся от молодого человека, корчил ему нарочито неодобрительную рожу, морщил в преувеличенном недоумении лоб: мол, не могу поверить, до чего вы докатились, как вам не стыдно, опомнитесь, и прочее в таком роде. (Да, да, я был почти убеждён, что именно он и произносит эти откровения.)

Как человек, с детства слышавший время от времени фразу: «Э-э, что говорить, все они антисемиты», я выучил себя со временем различать нюансы в этом мизеральном и пессимистическом заявлении в зависимости от того, кто, каким тоном и в какой момент произносит его. И даже не нюансы, но временное расстояние, которое здесь кроется, — расстояние от первоначального разочарования в труднодостижимости всеобщей гармонии до окончательного отвердения в нём. И даже не буквальное временное расстояние «от» и «до» вдоль так называемого «течения времени», но именно его направление: действительно ли идет «от» и к «до» или напротив от «до» и к «от». Иными словами: произносилась эта фраза как следствие разочарования с искренним огорчением, или была заготовлена заранее и только ждала удобного случая, чтобы проявиться. В соответствии с этим я и оценивал теперь людей, стараясь отделить первых и вторых с нацеленностью раскопать, насколько в числе вторых на самом деле содержится число первых... Впрочем, быть может, на самом-то деле *все первые*? Вот мысль. Вот мысль, которая несомненно несет в себе тайный экстремизм психологии самоубийцы и которая, с другой стороны (в рамках нашей цивилизации), принимается за психологию свободного человека и всепрощенца! Но я ещё не способен полностью на такую свободу и потому знаю, что есть люди, сквозь толщу кабаньего спокойствия которых мне не провикнуть. Эти люди спокойны в своей замкнутости таким же манером, каким спокоен опытный стрелок, глядящий сквозь разрез прицела, и перед которыми моё беспокойство ничего не стоит. Да, да, их спокойствие сильнее моего беспокойства, перед их спокойствием я дрожу, как беспомощный осиновый лист, и тут мне снова приходит в голову пушкинское «мы ленивы и нелюбопытны», и я с вызовом бросаю его им в лицо. И хотя назвать их ленивыми нельзя, но нелюбопытными — можно, можно, можно!..

...Теперь читатель, быть может, поймёт, почему я с нарастающим вниманием вчитывался в странички моего исчезнувшего соседа, «так называемого писателя», как он когда-то отрекомендовался. Теперь уже я сам себя заключал в капсулу прошлого, очерчивая вокруг себя круг и подводя итоги. Рукописи, так случайно попавшие ко мне, оказывались к месту: я мог глядеться в них, как в зеркало, соображая ограниченность человеческой судьбы.

Тогда-то я постепенно начал приводить разрозненные листки и обрывки текстов в последовательный по смыслу и даже хронологии (где это было возможно) порядок. Занятие это было для меня совершенно незнакомо, но я так увлекся, что стал ходить за консультациями к знакомым, которые знали толк в редакторском деле. Ещё недавно я относился к людям, называющим себя писателями, с недоверчивой настороженностью, теперь же как бы влезал в шкуру одного из них. Я делал это скорее всего не для того, чтобы отбелить рукопись и представить её на суд читателя, но куда скорее для того, чтобы утвердить и прояснить себя в прошлом. Чтобы держать в узде свои иллюзии и подавлять в зародыше непоследовательность неутихающих всё-таки надежд. Это было занятие, с одной стороны, довольно обескураживающее, а с другой — придающее тебе силу иного сорта. Которую я назвал бы просветляющей бессильной силой, вспоминая лермонтовские, ставшие романсными, строчки: «Я б желал навеки так заснуть, чтоб в груди дремали жизни силы, чтоб, дыша, вздымалась тихо грудь». Именно такое состояние охватывало меня, хотя конечно же не навеки, увы, не навеки. Но я, честно говоря, не испытывал больше особенного беспокойства по поводу, что не навеки: сил на это не было. Да и кроме того, я знал, что занимаясь рукописями, я обманываю время, проживая его дважды и забегая вперёд, чтобы поставить точку там, где мне это явно не удастся сделать в нормальном процессе жизни.

Среди записок я нашёл одну, быть может, наиболее неуклюжую, наивную и смешную, но тем не менее отражающую настроение того момента конца восьмидесятых годов, когда у нас возникали радужные надежды на скорые свершения в России. Приведу её хотя бы для того, чтобы как-то начать знакомство с анонимным автором:

“Уважаемый господин.....!»

(В этом месте в письме следует многоочие, явно указывающее, что автор не знает или не запомнил фамилии человека, к которому обращается. Любопытно, что, судя по всему, это Ельцин. Любопытно также, что в 1989 году наш автор называет его господином, что по тем

временам провокация, и это несмотря на восторженно-льстивый тон письма.)

...Увидев Вас по телевизору, я впервые поверил в серьёзность происходящего в России. Вот какая картина развернулась передо мной. Сперва Вы отвечали на какой-то конкретный вопрос корреспондента Би-Би-Си о каком-то Вашем заявлении (я не умею запоминать нюансы политической каждодневности), и вы явно защищались, отрицая и надевая на лицо типичную маску советского функционера. Но потом случилось что-то другое, что так подействовало на меня. Вам задали вопрос о будущем России, и тогда внезапно Ваше лицо преобразилось, — совсем другое лицо! — Вы стали отвечать, явно вдумываясь в каждое слово, что ещё много времени должно пройти, пока советский человек изменится на пути нравственного развития к человеку цивилизованного общества. Это подействовало на меня настолько, что решаюсь написать Вам письмо отсюда, из эмиграции, в которой нахожусь уже более десятка лет. Вы знаете, что меня вдохновляет: кроме всего прочего, мы с Вами однолетки и, может быть, ходили во время войны в одну и ту же школу в Свердловске (где я провёл годы эвакуации). Теперь эмиграция это вторая эвакуация, явление ещё менее желаемое, чем первое, уверяю Вас, но нечего ворошить прошлое. Прежде всего я хочу сказать, что, хотя я так называемый интеллигент (враг народа?), и к тому же еврей (дважды враг?), у меня нет особой привязанности ни к тем, ни к другим, и потому сказанное Вами, именно народным человеком и к тому же недавним верноподанным партии, особенно вдохновляет, тут я чувствую особенную близость и надежду. Да, да, надежду на возрождение России, никак не меньше. Поэтому я спешу сказать Вам, то есть уверить Вас, что не нужно бояться хаоса, который как будто охватывает Россию, потому что у нас всё начинается не с дела (экономики), как в Китае, а со слов (внезапных свобод в этой области). Однажды я присутствовал на одном собрании, где выступал знаменитый индийский гуру, а в зале собрались многие не менее знаменитые нью-йоркские профессора-гуманитарии. И вот один профессор встал и прочитал из «Потерянного рая» Мильтона место, где говорится об основных понятиях, на которых основывается наша цивилизация, о добре и зле и так далее. А гуру выслушал, усмехаясь, и сказал, указывая на голову: «Но ведь это всё только здесь!». Тогда меня сильно проясло, потому что в подобном столкновении заключалась самая суть, по крайней мере моей собственной жизни... Но нет, в высочайшей степени жизни России! Поэтому я говорю Вам сегодня: у нас не могло произойти иначе, чем произошло, потому что слово у нас имеет объективное, а не субъективное значение, как на Востоке. Для нас слово, быть может, ещё важнее чем для европейцев, хотя это, может быть, указывает не на силу, а скорей, на слабость, а всё равно, какая Россия есть, такая есть...»

На этих словах письмо обрывается. По-видимому, автор понял практическую нелепость своей эпистолярной и не стал продолжать. Но крик был испущен, птичка выпорхнула, чтобы оставить свидетельство момента — не только прошлого, точнее, прошедшего момента, но и свидетельство определённой психологии, структуры мышления. Я имею того рода психологию, в которой порывы к Высокому и Абстрактному (народу и России) уживаются с предательством своего и конкретного (в данном случае интеллигентов и евреев), а также, как указал выше, со скрытой одновременно провокацией этих самых высокоостей. Мне кажется, нынешнее поколение ни на что подобное не способно — ни на выпренный восторженный вскрик, ни на наслаждение нарочитым самоунижением. Всё это атрибуты прошлого, у которого не было, увы, доступа ни к деньгам, ни к сексу, и потому ему оставалось только сублимировать. Но сегодня — другое дело, и под предводительством процесса, именуемого «первоначальным накоплением», а также разных эротических листов насколько же успешно современные молодые люди срывают с глаз фатаморганную повязку прошлого! И если они погрузятся в свои «низы» примерно так же, как мы взлетали в свои «верхи», — что поделаешь, тут русская судьба...

АНДРЕЙ НЕМЗЕР. Литературное сегодня. О русской прозе. 90-е. — М.: Новое литературное обозрение, 1998.

Андрей Немзер был известен и до 92-го года, когда на страницах «Независимой газеты» стали регулярно появляться его обзоры текущей словесности. Но слава, насколько приложимо это блистающее словечко к литературному критику, пришла к нему с 93 года. Читатель новой газеты «Сегодня» быстро привык к колонке Андрея Немзера, обычно в правом верхнем углу полосы. Чаще всего, но не всегда, он писал о новинках русской прозы. «Сегодня» приложило немало стараний для создания образа respectable газеты. Это удалось во многом благодаря полосе «Искусство», а украшением полосы стала колонка Андрея Немзера. Его растущее влияние подтверждалось и всё более частым «накатом» коллег: одно время некоторые критики ни единой статьи не выпускали, чтобы не лягнуть Немзера.

А «Волга» всегда любила Андрея Семёновича, и он отвечал журналу взаимностью. Из 96 рецензий книги «Литературное сегодня» 14 отданы «волжским» публикациям. Немалая часть книги посвящена текстам авторов, в разное время печатавшимся в нашем журнале.

«Литературное сегодня» — уникальный литературно-критический дневник. Обстоятельства удачно сошлись для его появления. А. Немзер вспоминает в предисловии: «Газетной работы поперву я боялся почти панически». Филолог, знаток русского романтизма, человек, привыкший по-кабинетному не спеша обдумывать слово, попадает в прокурорские коридоры, адский полусвет компьютеров, бодряще-угнетающие негизетного человека возгласы: привет, старик! Немзер, где материал? номер сдаём! Резкая разница температур мраморной классической филологии и громокипящей газетной критики оказалась благотворной. Немзер обрёл (создал) неповторимый личный стиль. Его голос стал слышен в, прямо скажем, не безмолвном критическом пространстве 90-х годов.

Был достойный контекст. Авторы газеты выработывали то новое критическое слово, которому суждено, думаю, остаться знаком недавно прошедшего времени. Вспомним, как в начале дарованных свобод критики кидались от тухлого имлийского слога в дикую развязность, как слож-

но стало примирить знание и доступность, личные убеждения и довольно определённые платформы изданий, запрос читателя и диктат общественного мнения.

Чтобы так писать, надо было писать ежедневно. Не говорю непрерывно и очень много, но ежедневно, почти без возможности выбора и тем более каприза. Писать по внешнему велению, по редакторскому хотению, по писательскому явлению. В результате разновекторные усилия и напруги привели к довольно стройной модели русской прозы 90-х годов глазами Андрея Семёновича Немзера.

Перечислять все тексты, «обозреть» им, невозможно, а любое усеменение исказит литературный пейзаж и смысл книги.

Напряжение сборника явлено не в заметных усилиях автора (он пишет на редкость раскованно, на свободном дыхании), но в неубывающем градусе его личного отношения к каждому тексту.

Под удачно сошедшимися обстоятельствами, кроме союза филолога и газетчика, имену ввиду и время действия: 1993 — 1997 гг. Раньше двумя-тремя, позже двумя-тремя годами, и — такого венка имён уже не сплести. Последнее же слагаемое предполагаемого успеха книги «Литературное сегодня» — время её выхода. Случись он раньше — реакция была бы более вялой: мы ещё сыто икали после публикационно-либерально-освободительного пира. А выйди она не сейчас, а спустя несколько лет, боюсь, многое унесёт река времён, засыплет песком, затянет тиюну... если вообще будет кому читать критику.

С. БОРОВИКОВ

Начнём издаека.

Вскоре после 91-го года среди господ сочинителей, пребывавших в наименее продуктивном возрасте от сорока до шестидесяти, вдруг заклубилось нечто вроде ностальгии по канувшей поро — эпохе, когда за любую чепушинку, вроде по дурочке или по пьяни брякнутую вразрез генеральной линии, усердно волокли на цуггундер. И ладно бы эта болезненная «обратная тяга» овладела маститыми зубрами пера, некогда причисленными к

сон литературных генералов с хорошим пайком и лицензией на убийство, а в новую эру низведенными до звания литпрапорщиков (с соответствующим урезанием прав, жалования и пищевого довольствия). Так нет же! Среди литераторов, нервно забухтевших о светлом вчера, экс-генералов было — раз-два и обчёлся. Костяк сегодняшней армии ностальгистов образовывала «чёрная косточка» — литературные капитаны Тушины и Тимохины, которые всю жизнь честно тянули свою ляжку от звонка до звонка и внезапно обнаружили себя обманутыми вкладчиками АО «Российская словесность». Старое начальство ушло огородами, новое не объявилось за ненадобностью. Литература перестала быть «частью общепролетарского дела», однако и буржуазия досадливо отмахнулась от нахлебницы: ступай, мол, я же тебя не бью.

Госпожа Свобода показала зубы. Критики старой школы, привыкшие быть автоматчиками партии, вынужденно отступили глубоко в тень; новые критики, молоденькие и злые, мухами вляпались в шоу-бизнес, быстро привыкнув к сладкому запаху заказных-оплаченных рецензий. Яркие глянцево-лотки вчистую выиграли состязание с печальными библиотеками. Литпроцесс раздробился на части, серой книжной пылью осел в немноготиражных изданиях и уже пропадал втуне, вовсе никем не обозначенный. Десятки романов, повестей и рассказов (хороших и разных) были обречены на непрочтение уже в момент публикации в толстых и полутолстых журналах. Будущее выглядело вполне беспросветно. Холодный свинцовый туман впереди сильно способствовал трагическому выверту шей и тоскливому взгляду назад. Конечно же, не по Ерилову и не по Феликсу Феодосьевичу Кузнецову конкретно затосковали мастера художественного слова. Болезненную тягу в прошлое обусловило неналичие хоть какого-нибудь интереса к их литературному творчеству со стороны окружающего мира — пусть враждебного интереса, пусть гбзэшного, пусть даже с далеко идущими последствиями, согласны... Но чёрта с два! Раньше у самого-рассамого отверженного писателя существовал, по крайней мере, один пристальный читатель — персонафицированный Большой Брат. Неусыпный взгляд парадоксальным образом укреплял веру пишущего в самоценность его труда. Теперь же единственной альтернативой вчерашней слежке становилось космическое равнодушие сфер. И чудилось, будто третьего не дано и теперь уже не будет дано никогда...

К счастью, дурную альтернативу (либо бдительный прищур Большого Брата, либо безглазая равнодушная пустота) всё-таки удалось нарушить. Уже к середине 90-х ситуацию перепомнил человек, чьи талант и работоспособность, помноженные на мощь офсетного типографского станка, сделали почти невозможное. Благодаря старани-

ям этого человека на контурной карте нашего времени стали всё отчётливее прорисовываться ручейки сегодняшней словесности. На наших глазах ручейки впадали в полноводные реки, эти реки текли по пересохшим руслам. Карта оживала. Поводов для тёмной писательской ностальгии значительно поуменьшалось. Всем вдруг стало видно: страна вновь обретает нормальную современную литературу.

Сейчас не время и не место подробно обсуждать феномен газетной критики в России конца XX века, а вот о «феномене Немзера» сказать стоит. Благо есть почтенный повод — вышедшая книга.

Солідно изданный сборник Андрея Немзера «Литературное сегодня. О русской прозе. 90-е», подводящий пятилетние итоги работы критика, взгляды на полке добротнейшим атласом — незаменимым пособием для знатоков и любителей, чем-то вроде литературного Брокгауза-Ефрона или Вебстеровского словаря. Однако при всей тщательности художника издательства «НЛО» (воспроизведены фактура газетных заголовков и даже стилизован характерный рисунок боковых разделительных отбивок) книга всё-таки не может передать главного: впаивающих в каждую секунду быстрого газетного времени ежедневных литературных открытий, больших и малых. За пять лет непрерывного труда (сначала в «Независимой», а затем — и главным образом! — в «Сегодня») Андрей Немзер проявил себя опытейшим картографом литературы.

В жизни оставаюсь по-человечески пристрастным и по-хорошему субъективным, критик в своей повседневной газетной практике постарался уйти от сугубо оценочных, «положительных» или «отрицательных», рецензий. Куда важнее было актуализовать явление литературы (будь то романы любимого Славовского или нелюбимого Пелевина) как явление природы, закрепить его место на общем ландшафте. Дело оказалось важнее пристрастий. В конце концов, личные вкусы рисовальщика карт не должны были влиять — и не повлияли — на соразмерность масштабов обозначенных объектов.

Андрей Семёнович Немзер, вовемя спустившийся с заоблачных высот академического литературоведения на грешную землю газетной критики, подарил надежду «среднему классу» современной отечественной литературы и спас от забвения российский литпроцесс в целом: вдумчиво обозначил его зримые контуры, с профессиональной дотошностью наполнил его реальным содержанием.

Здесь нет никакого преувеличения — именно спас. Бывают времена, когда СЛОВО оказывается наиважнейшим ДЕЛОМ, а верное ОТРАЖЕНИЕ конгениально самому ОТРАЖАЕМОМУ явлению.

Иногда назвать — значит вырвать из небытия и поселить в реальности. Так в пору Великих географических открытий всякий честный путешественник, нанося на карту новый остров или горный хребет, становился их сотворцом — ни больше и ни меньше.

Точно также и у восьмидесяти с лишним писателей, отныне припиленных к вечности, есть полноправный соавтор.

Имя его вам известно.

РОМАН АРБИТМАН

* * *

Писать рецензию на книгу рецензий — всё равно что наблюдать за человеком, наблюдающим за соитием. Я ещё не пробовал.

Солидный энзалошный кирпич Немзера завис в междужанрии — это и журналистская проза, и что-то вроде энциклопедии новейшей русской прозы — компендиума, до каких традиционно столь охочи земляне на рубеже веков. Хочется, конечно, полноты информации, хочется сторонней компетенции, что и говорить. И, поскольку достигнуть её невозможно, то совершается акт магический — люди платят деньги за энциклопедии, покупая то самое вождеденное знание.

Честно говоря, на эту книгу так и просится волшебный курсив, нежно любимый издателями и авторами: «Рекомендовано... в качестве учебного пособия... для студентов высших учебных...». Будь изложение предмета чуть более академическим — прошло бы на раз.

Но Немзер предполагает читателя, который немного «внутри», которого не нужно информировать насчёт росто-весовых показателей мастерства и стилистической ориентации автора. Наверное, интереснее всего читать рецензии Немзера после того, как ознакомишься с рецензируемым текстом — ведь книга Немзера демонстративно авторская и могла бы называться «Моя проза 90-х».

«Моих Пушкиных», как известно, пруд пруди. Вопрос в том, интересно ли читателю мнение того или иного субъекта относительно того или иного объекта. В случае с Немзером такой проблемы не возникает. Во-первых, интересно, во-вторых, сравнивать пока не с чем — изданий подобного рода я не припоминаю, а склероз ещё мне не улыбался.

Собственно, «мои пушкины» не предполагают обсуждения плюсов и минусов, раз подход заявлен сразу — критика приходится судить по законам, им самим над собой поставленным.

Хотя, конечно, кое-какие соображения на ум приходят. Количество статей не может не впечатлять. Но число литературных журналов в окоёме Немзера замыкается на магической восьмёрке

(«Новый мир», «Знамя», Дружба народов», «Волга», «Звезда», «Урал», «Октябрь», «Нева»; один раз, правда, просвистел НЛО). Символ бесконечности тут выглядит для меня не очень убедительно. Есть ведь ещё «Митин журнал», «Urbi», «PS», «Вестник новой литературы». Впрочем, с таким же успехом какой-нибудь другой читатель заявит, что есть ещё «Наш современник». Что же, Немзеру и эту продукцию рецензировать?

Я устыдился и умолкаю. Мне ли упрекать? Ведь из обзорённых Немзером книг на 23.09.98 я прочёл... мало. Меня захлёстывает что-то родное-советское и хочется сказать: господин Немзер добился своего. Ведь что должно хотеться критику больше всего на свете? Чтобы после его рецензии читатель пошёл и прочёл. Так и сделаю.

Есть ещё один пласт этой книги, который кажется мне наиболее любопытным. На самом деле «Литературное сегодня» предполагает двойное прочтение.

Первое — предельно радикально. Не существует на самом деле ни упоминаемых журналов, ни многочисленных авторов, ни рецензируемых Немзером книг. Скажете, чересчур? А когда вы в последний раз видели в Саратове хоть один из этих журналов в киосках? Толстые журналы сейчас попадают в руки читателя, который немощно не «внутри», с той же регулярностью, как эмигрантская периодика в советские времена. А насчёт авторов — по совести ведь, если ты не прочитал книгу, то она для тебя как бы не существует. Текст Немзера в таком случае представляет из себя постмодернистское повествование — рецензии на несуществующие произведения.

Но этот приём уже навяз в зубах. Мне по душе другое толкование «Литературного сегодня».

Это роман. Герой его, заявленный в авторском предисловии, — исследователь классической русской литературы, который меняет специализацию, интригуя читателя обоснованием такого поступка с первых же строк — «в результате сценирования многообразных событий, о которых, может быть, и стоило бы рассказать, но явно не сейчас». Далее во вступлении пунктиром намечается роман воспитания («поперву я боялся почти панически. Всё было чужим и странным»). А основной корпус — все девяносто пять глав вкупе с «кот автора» и двумя послесловиями — единый текст, калейдоскоп персонажей и фабул, сюжетов и характеров, море повествования, волны которого рассекает автор в продолжительном заплыве.

ОЛЕГ РОГОВ

* * *

Прежде всего хотелось бы выразить признательность редакции «Волги» за предложенный круг

улыбка. Сигареты, воскурящие фимиам незамутнённой тайне русского авторства.

Естественно, при таком пафосе возврата русской прозе автора проект Немзера не может оставаться чисто критическим. Это литературное произведение со своими законами, канонами и границами. Для кого-то эти границы непроходимы. Даже контрабандного появления некоторых имён, в статусе мимолётного отсыла Немзер не допускает. Нет в книге Галковского, Гандлевского, Лимонова, Яркевича... Немзер субъективен и не скрывает этого. Какому-нибудь прозаику его имени может быть уделено до трёх статей, кто-то для критика просто не существует. Впрочем, объективной критики мне ещё встречать не доводилось. Скучнейшая, наверное, вещь.

А. КОЛОБРОДОВ

Андрей Немзер — человек театральный. И не только потому, что читает в РАТИ (Российская академия театрального искусства) курс русской литературы, а молодые совсем и не очень театроведы, внимавшие его урокам, утверждают, что интереснее занятий за все пять «академических» лет не было. И даже не потому, что короткое время, но увлечённо писал о театральных постановках. Просто Андрей Семёнович, как верный последователь системы Константина Сергеевича, воспринимает вновь вышедший роман (повесть, рассказ), как актёр новую роль: погружается в него до опасных глубин или заносится в гибельные выси; немислимым, только ему известным способом успевая пройти всеми внутренними ходами его героев, добраться до самой их сути. Кажется, это он сам мертвеет, пока мелкие бесы забавляются с героем Валерия Володина и треплется на холодном ветру истории тихая душа Паши Залепухина. Или мечется вместе с Петром Салабоновым из «Первого второго пришествия» Алексея Славовского, рвётся прочь от судьбы, от собственной сути. И никакой тебе школы представления с её осторожным отчуждением и вежливой дистанцией. В подходах Немзера правит бесстрашие проживания. Он вживается в предлагаемый образ с безоглядностью трагика возлюбленного им XIX века, а «выписывает» роль с учётом театрального опыта века XX. То есть направляя и простраивая её, ясно представляя себе контекст. Иными словами, общий замысел спектакля.

Андрей Немзер, как настоящий актёр-личность, незаметно для зрителя (читателя) ещё и режиссирует каждую свою роль, то есть соотносит её отдельное звучание с общим хором голосов, всяк им поименован и внятен. Возможно, поэтому собранная хроника литературного процес-

са не рассыпается по листочкам, как выданный актёру распечатанный текст пьесы, а образует целое, закон которого всегда остро ощутим, но ускользающе, неблагодарно невербален. Андрей Семёнович скрепляет в разные годы прожитые романы-роли старинным, практически забытым способом — он относится к ним, как к фактам своей личной биографии. Так случается, когда роль уже практически неотделима от актёра: но она не приросла к лицу застывшей маской, а, заставив забыть о себе любимом, дала художнику возможность обрести новое, но по-прежнему лёгкое дыхание.

И ещё одна особенность актёрского дара литератора Немзера. Он не знает «четвёртой стены». Его обращение всегда — в зал, в публику, к людям. Он хочет понять других. И что понял сам. Он лишён высокомерия так же, как и желания заигрывать со зрителем (читателем). Но рассчитывает на его сочувствие. И не напрасно. Его талант уязвим. Поскольку сердечен. И обречён на отклик. По той же причине.

Нам остаётся только горевать о том, что Андрей Немзер не пишет о театре. Подобных талантов и тружеников созидательного критического пера ленивая и непопулярная наша Мельпомена нынче просто не знает.

ОЛЬГА ХАРИТОНОВА

Вовсе не с целью узнать что-то новое о современной литературе стала читать я книгу Немзера. И не с целью дать какое-либо определение критическому феномену Андрея Семёновича. Подвижки к прочтению были иными. Во-первых: глубокое чувство благодарности, уж позвольте так вот формально выразиться (думаю, А. С. меня простит, поскольку сам не чужд иногда некоего общеупотребительного пафоса). Однако надо пояснить, за что, собственно, благодарность. Так вот, ещё несколько лет назад так называемый «диалог» «Волги» с читателем наводил на меня ужас почти мистический. Готовишь, например, очередную публикацию в очередной номер и думаешь: а что подумает о том или об этом наш многоуважаемый читатель? Он ведь большой, его не одна сотня, многоликий (безликий), и зачем-то мы нужны ему. Читатель слушает и молчит. Письма, как правило, приходят от фигур или заинтересованных, или странных. Читатель, по громадной родине разбросанный, кто ты, отзовись, ау! И только колебания тиража как-то походили на молчаливый ответ.

И тут появился Немзер и стал говорить много и увлечённо, тем самым нарушив это безмолвие. Нужно, чтобы иногда просто говорили.

Может быть, отсюда, из понимания того, что нужно просто говорить, артикулировать какие-то вещи, и происходит нелюбовь А. С. к заумному, недомолвкам и проч.: «Дискутировать с людьми, у которых всякое слово готово менять значение по пяти раз на странице, взнуть в «плюрализмах», «постмодернизмах» и «экуменизмах», объяснять, что таблицы умножения покамест ещё никто не отменял? Увольте». Природу своего интеллекта он, собственно, прекрасно характеризует сам: «Мы слишком любим свой дом, чтобы жить в музее. Мы слишком любим волю, чтобы своевольничать. Мы слишком любим историю, чтобы брезговать современностью. Мы слишком гуманны, чтобы интеллектуальничать. Мы слишком самостоятельны, чтобы отворачиваться от своих родителей и любимых учителей».

Он — критик литературной повседневности, если угодно, литературного быта, прекрасно отдающий себе отчёт в своей нужности нам в сем.

Во-вторых: за чтением книги хотелось «подглядеть» за «домашним» Немзером. Получилось. «Покурил на балконе, пнул пачку журналов и снова задумался: Интересно было бы знать заранее, кто меня пуще станет ругать? «Волга», «Знамя» или «Литгазета»? И никакого спасения нету. Подписаться разве на «Крок Адила»? Только не спрячешь собственное рыло. Сорваны все и всяческие маски. Преданы потаённые псевдонимы огласке. Затейников поставили на место сурово Быков, Басинский и Наталья Иванова. Окоротили снобов-бандитов. Таковы справедливые законы литературного быта, взаимодействующего с литературной эволюцией, которая рождает тяжёлые эмоции».

И ещё о А. С. Страстность, которая искупает всё, — к примеру, нападки на безобидную Горланову. Вяло рефлексировать некогда. Всё нужно «Сегодня» (было), сегодня.

АННА САФРОНОВА

Представьте: вот книга, в ней собрание рецензий. А вы — один из отрецензированных, да ещё трижды, писателей и, к тому же, автора книги Андрея Немзера — друг. (Хорошо ещё, что отношения критик — писатель развились в дружеские, а не наоборот!).

Представьте теперь, что вы при этом всё-таки ещё и читатель книги, и не только тех мест, где о вас.

И наконец, представьте, что вам хочется о ней написать — не из чувства благодарности (которое само собой разумеется), а по именно хотению, написать не как другу и объекту, а как литератору тоже.

Тут трудно удержаться от соблазна придум-

ать какой-нибудь ход. Например. Прикинуться рассерженным и разбранить критика, но так, чтоб сквозила в этой брани грубая лесть. Или. Взять псевдоним — и безмерно и неприкрыто (по стилю) расхвалять критика. Или. Найти шутейный тон и написать о том, к примеру, что в книге видно явное засилье саратовских авторов, что совершенно понятно, учитывая, сколько раз Немзер в Саратов приезжал, да ещё и с женою, как его тут кормили, поили фирменной саратовской водкой «Что делать?», на лодочке катали и вообще ублажали...

Много хитростей можно придумать; для постмодерниста, каковым меня Андрей Немзер не считает (что мне в обиду, но уж умолчу!), это — не проблема!

Но самое трудное — попытаться сказать о книге всерьёз. Хотя, возможно, это окажется смешнее всего, чего от меня можно ждать в данной ситуации.

А кто, собственно, ждёт?

Вот в этом-то и суть всего. Всей этой книги, по крайней мере.

Не сравнивая с другими критиками, не называя имён, выделю главную особенность Немзера-критика помимо его методов, художественных достоинств его текстов, умения быть кратким и точным и т.п. Он ждёт, вот что главное. В то время, когда один уже похоронил современную русскую прозу, а другой роет ямы для последних адептов её, а третий ваяет надгробные памятники, он — в постоянном, напряжённом и даже нервическом ожидании, и это чуть ли не в каждой рецензии заметно. Почти каждую книгу, роман, повесть Андрей Немзер рассматривает прежде всего с этим заветным своим главным вопросом: сбылось или нет? Что именно — тут уж от каждого автора в отдельности зависит. Иногда я чувствую совершенно явственно, что он, будучи субъективным, как любой нормальный человек, от автора Н. ждёт, увы, очередного мыльного пузыря. И удовлетворённо ехидствует над радужно-переливчатой пустой округлостью, явленной на суд мира и его, немзеровское, поношение. Но даже и в этих случаях он не рядится в перья оскорблённой добродетели, он не переходит на личности; видно, что ему обидно за ту державу, которая зовётся Словесностью. А поскольку я и сам отношусь к российской словесности — патриархально — как к какому-то делу общему, но меня во всех своих проявлениях касающемуся, то, стественно, не уважать этого я не могу. И вспоминаю слова, которых в книге нет, потому что они были потом сказаны её автором — устно, с горделивостью работника и соучастника, с потрясанием свежезданным томом: «И пусть они теперь скажут, что нет современной литературы!». Кажется, что уж такого оригинального в этой позиции? Да ничего, кроме того, что у многих прочих её — нет. Мно-

гие прочие — не ждут. Ждать как-то и неприлично стало, и немодно. И даже хвала своих авторов, которые у всякого критика есть, если он не патологический злобливец, эти многие прочие относятся к любимцам, как к кочкам на гнилом болоте, — в лучшем случае.

И если Андрей Немзер в слишком очевидную благодать приходит или в слишком очевидное раздражение, которое иных сильно злит, то это всё от того же — от чувства ожидания: подтверждённого (дай, Бог, если так!) или обманутого...

Писателя, умного не только книгами, но и личным бытовым умом (к каким я себя беспардонно причисляю), похвалой испортить трудно. Трудно его, умного, и руганью сшибить. Быть ругаемым, конечно, очень грустно (знаю по себе, испытывал неоднократно), но и хвалимым не так сладко, как может показаться. Всё по тому же по самому: чувство ожидания, как сейчас выражаются, напрягает. Это не значит, упаси Господь, что пишешь и думаешь: а что, дескать, по поводу написанного Немзер скажет? Нет, не стоит он над плечом, незримый. Но некое чувство (и не он один, за что благодарен судьбе) — создаёт. Чувство ответственности, типун мне, постмодернисту, на язык. Которое ничуть творческой свободе не мешает.

Самое ведь страшное, когда от тебя никто

ничего не ждёт. Один из прозаиков, живущий за рубежом, узнав от меня, что о его повести рецензийка появилась в местной нашей саратовской газете, аж закричал в телефон сквозь тысячи километров: «Пришлите, ради Бога! Ведь не пишут, сволочи, никто ничего не пишет!».

И русская литература, как и всегда, плохая, хорошая, всякая — тоже ждёт. Ждёт — чтобы от неё ждали. Чтобы писали. В журнале, в газете петитом — хоть районной даже. Хоть сколько, хоть как. «Ври, да говори!» — это не сержантский юмор, это то, без чего словесности существовать невозможно.

Вот почему я рад появлению книги Андрея Немзера не только и не столько как один из довольно положительных её персонажей, но и как читатель, литератор, филолог, наконец, воспринявший её в виде гимна Её Величеству Рецензии.

А о постмодернизме моём Немзер всё-таки мог бы хоть где-нибудь, хоть разочек упомянуть! Пусть даже ругательно. И ещё о некоторых моих интересных способностях. Ничего, я ему лично намекну. О недостатках же, которые я сам вижу, а он по субъективизму своему не рассмотрел, упоминать не буду. Впрочем, мне и умолчания его не меньше слов говорят, так что ещё вопрос: ой ли? не рассмотрел ли?

АЛЕКСЕЙ СЛАПОВСКИЙ

Кумаков Вадим Андреевич родился в 1925 году в городе Кузнецке Пензенской области. Окончил биологический факультет Саратовского государственного университета. Доктор биологических наук, профессор. Заведует лабораторией физиологии растений в НИИСХ Юго-Востока. Живёт в Саратове. В «Волге» публикуется впервые.

Кучерская Майя Александровна родилась в 1970 году. Закончила филологический факультет и аспирантуру МГУ. Публиковалась в журналах «Волга», «Postscriptum». Живёт в Москве.

Проскуракова Наталья Васильевна родилась в 1947 году. Публиковалась в альманахе «Вечерний альбом» (М., 1990), в саратовской периодике. Работает корреспондентом в газете «Саратов». В «Волге» публикуется впервые.

Скородумов Виталий Юрьевич родился в 1968 году. С 1988 года — актёр театра АТХ (Академия Театральных Художеств). Публиковался в «Волге» в составе «Академии зауми». Живёт в Саратове.

Суконик Александр Юльевич — прозаик, эссеист. Родился в 1932 году в Одессе. Закончил Одесский гидротехнический институт. Работал проектировщиком, преподавателем, писал сценарии научно-популярных фильмов. Печатался в эмигрантских журналах: «Вестник христианского движения», «Континент», «Новый журнал», «Время и мы», «Двадцать два». В России в 90-х годах вышли две книги: «Одесса — Москва — Нью-Йорк» и «За оградой рая», состоялись публикации в журналах «Волга», «Знамя», «Октябрь». Живёт в Нью-Йорке.

На титульной странице — рисунок Владимира Карабаева

Редакция не рецензирует и не возвращает рукописи,
в переписку по этому поводу не вступает.
При перепечатке материалов ссылка на «Волгу» обязательна.

Свидетельство о регистрации № 61 от 4 сентября 1990 г.
в Министерстве печати и массовой информации РСФСР

Учредитель — трудовой коллектив редакции

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР С. Г. БОРОВИКОВ

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

А. А. ГОЛИЦЫН, А. Н. КИСИНА, В. Н. ПАНОВ, А. Е. САФРОНОВА,

А. И. СЛАПОВСКИЙ, Н. В. ШУЛЬПИНА

Набор и вёрстка выполнены в редакции журнала «Волга»
Вёрстка **А. А. Голицына, Г. И. Ивановой**
Набор **Ю. В. Копыриной, Г. Б. Смольяниновой**
Корректра **Г. Б. Смольяниновой**

Адрес редакции: 410002, Саратов, набережная Космонавтов, 3

Телефоны: гл. редактор — 26-15-35, ответственный секретарь — 26-26-44,
отделов журнала и бухгалтерии — 26-44-92, производственный — 26-07-98
e-mail: volga@garnet.com.ru
электронная версия журнала: <http://www.infoart.ru>

Подписано в печать 08.10.1998 г. Формат 70 х 100 1/16. Усл. печ. л. 16,9. Уч.-изд. л. 17,489.
Тираж 690 экз.

Отпечатано и сброшюровано в редакции журнала «Волга»

В 1-м полугодии 1999 года
журнал «Волга» предполагает напечатать:

Дмитрий Зарубин. НАСЕЛЁННЫЙ ПУНКТ. Повесть. Современная Россия. Глушь. Бывший журналист попадает в содружество странных людей. Кому-то повесть покажется фантастикой, кому-то реальностью.

Владимир Каткевич. ДОМ КОЛОКОТРОНИ ОТКРЫТ ДЛЯ ВСЕХ (Записки нелегала). Судьба наших сограждан, оказавшихся в Греции без права на жительство, без средств.

Эдуард Кондратов. ПОКУШЕНИЕ НА ЗЕРКАЛО. Детективный роман. Место действия — Самара, наши дни. Персонажи: издатели, сыщики, бандиты, бизнесмены, таинственные женщины.

Генри Миллер. МАКС. Рассказ знаменитого американского писателя в переводе **А. Суко-ника**.

Александр Титов. ПОСЛЕДНЯЯ МЕЧТА. Новый цикл рассказов о жизни обитателей маленького райцентра.

Олег Хафизов. КИЖ. Роман. Беловодье, Шамбала, невидимый град Китеж... В средневолжской глубинке появилось подобное местечко — город Киж, возникший на месте расформированной ракетной части.

Владимир Шапко. ДЫРЯВЕНЬКИЙ КИНЕМАТОГРАФ. Повесть в новеллах. Герои — наши неприкаянные современники, которых причудливо свела любовь к музыке.

Клаудиа Эрдхайм. ТЫ ЧТО, С УМА СОШЛА? Роман современной австрийской писательницы о послевоенной Вене. Пер. с немецкого **В. Фадеева**.

Евгений Попов. ПОДЛИННАЯ ИСТОРИЯ ЗЕЛЁНЫХ МУЗЫКАНТОВ. Часть II.

СТИХИ Татьяны Бек, Ивана Васильцова, Юрия Дронова, Светланы Кековой, Евгения Рейна, Олега Рогова, Игоря Сорокина и др.

С. Боровиков. В РУССКОМ ЖАНРЕ. Читая Чехова.

Алексей Колобродов. САША СОКОЛОВ. «МЕЖДУ СОБАКОЙ И ВОЛКОМ» 10 лет спустя

СТАТЬИ, ЭССЕ, РЕЦЕНЗИИ Э. Арбитмана, В. Вахрушева, Е. Водоноса, А. Голицына, К. Кобрина, А. Колобродова, В. Коршункова, А. Курского, О. Лебёдушкиной, А. Немзера, В. Селезнёва, С. Трунёва и др.

